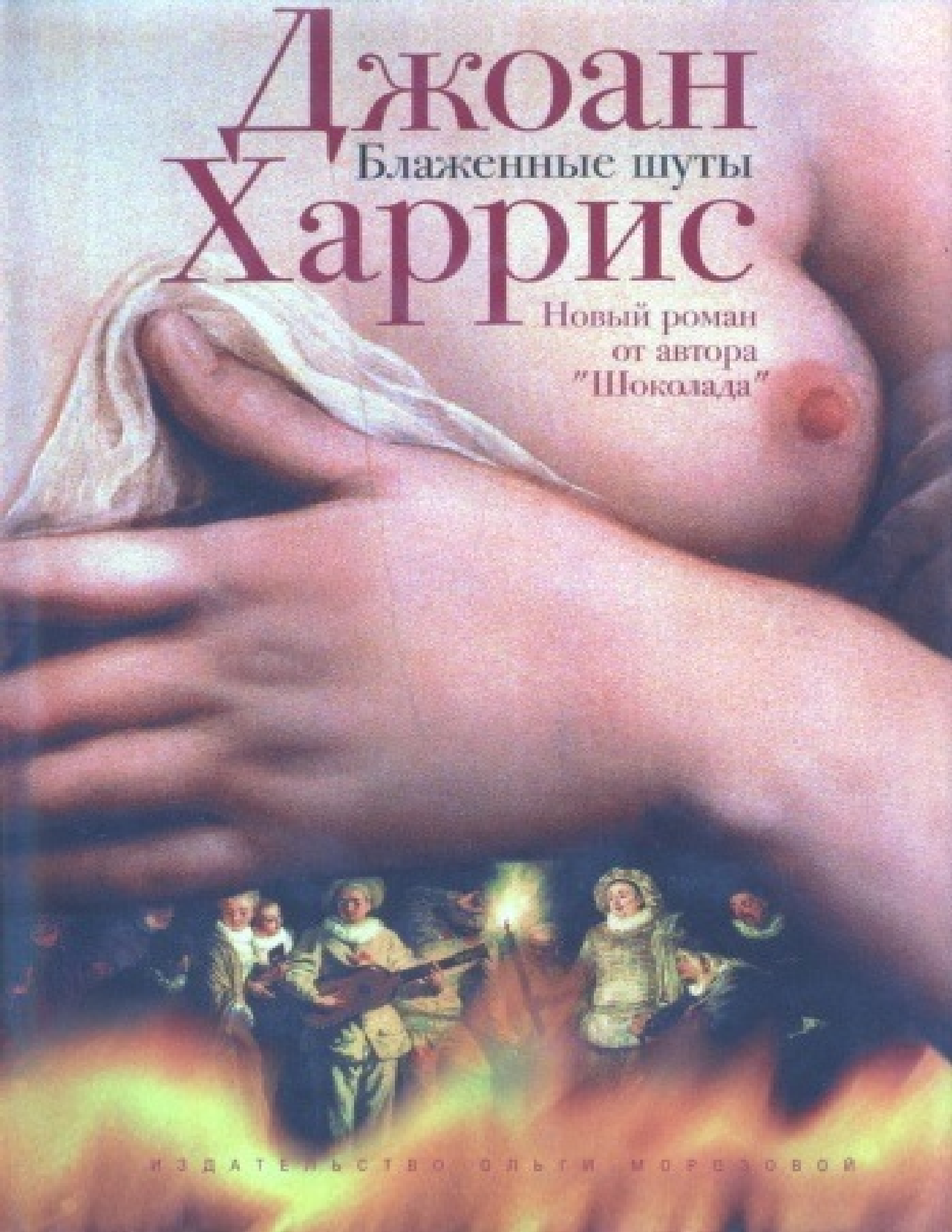


Джоан Харрис

Блаженные шуты

Новый роман
от автора
"Шоколада"



ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЬГИ МОРЕЗОВОЙ

Annotation

Новый роман «Блаженные шуты» англичанки Джоан Харрис поражает читателя неожиданностью сюжета. Теперь события переносятся во Францию XVII века, в смутный период, последовавший за убийством короля Генриха IV Наваррского.

Независимость и покорность, коварство и доверчивость, широта души и зависть вступают в противоборство на страницах этого увлекательного романа, драматическую и неоднозначную развязку которого невозможно предвидеть вплоть до самых последних его страниц.

- [Джоан Харрис](#)
 - [Часть первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
- [Часть третья](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
- [Эпилог](#)
- [Выражение признательности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
-

Джоан Харрис
Блаженные шуты

Посвящается Серафине

Часть первая

Жюльетта



5 июля, 1610

Все началось с бродячих актеров. Их было семеро, шестеро мужчин и девушка. Она — в блестках, в выдавших виды кружевах, они — в шелку и в перьях. Все семеро в масках, в париках, напудренные, насурьмленные, на помаженные: Арлекин и Скарамуш, длинноносый Доктор Чума, скромница Изабелла, распутник Джеронте... Средь дорожной пыли блестят позолотой ногти у них на ногах, белы их намелованные оскалы. Их голоса резко, сладко будоражат слух. Тотчас заняло сердце.

Они явились незванные, в зеленом позолоченном фургоне с истертыми, потрескавшимися боками, где знавший грамоту еще мог разобрать поблекшую надпись:

Всемирно известные лицедеи Лазарильо!
Трагедия и комедия!
Дикие звери и чудеса!

А вокруг надписи — хоровод из нимф и сатиров, тигров и слонов: малиновых, розовых, лиловых. Внизу кривовато выведено позолотой:

Представлявшие пред Королем

Что-то не верится; впрочем, говорят, изысканным вкусом старик Анри не отличался, предпочитал высоким трагедиям представления с диким зверьем или комический балет. Ведь я и сама плясала перед ним в день его венчанья под суровым взглядом его дражайшей Марии. Это был мой звездный час.

Труппа Лазарильо ни в какое сравнение с нашей не шла, и все же этот спектакль всколыхнул во мне что-то, взволновал гораздо сильнее, чем заслуживала игра комедиантов. Может, это было предчувствие. Может, вспомнилось то прежнее время, когда очернители от новой инквизиции еще не принудили нас распроститься с беспечностью. И глядя на пляшущих комедиантов, на весело мелькающие под солнцем их пурпурные, алые, изумрудные костюмы, я будто видела, как шествуют по полю битвы под пламенеющими стягами древние доблестные полки, бросая вызов трусам и

отступникам нынешнего времени.

Обещанных диких зверей и чудес не оказалось, если не считать заурядную мартышку в красном пальтеце да небольшого гималайского медвежонка, зато тут были и куплеты, и представление в масках, а вдобавок еще и пожиратель огня, и жонглеры, и музыканты, и акробаты, и даже танцовщица на проволоке; словом, заполнившие двор зрители пребывали в полном восхищении, а Флер восторженно смеялась, визжала, то и дело хватая меня за руки, прикрытые грубой тканью монашеского балахона.

Танцовщица была темноволосая, курчавая, с золотыми браслетами на щиколотках. Приковав всеобщие взгляды, она скакнула на канат, туго натянутый с одной стороны Джеронте, с другой — Арлекином. По резкому удару тамбурина те подкинули девчонку вверх; она выкрутила сальто и встала на канат так же ловко, как, пожалуй, и я когда-то. Все же не так. То был *Théâtre des Cieux*^[1], а я была *l'Ailée*^[2], Элэ, Крылатая, Небесная Танцовщица, Летающая Гарпия. Когда в расцвете своей славы я появлялась высоко на канате, толпа ахала и замирала: изнеженные дамы, напудренные кавалеры, епископы, слуги, придворные; даже сам Король, бледнея, глаз с меня не сводил. Как сейчас помню его напудренные локоны, его горящий взгляд, и — оглушительный взрыв аплодисментов. Считается, гордыня — грех, хотя, признаться, я никогда не могла понять почему. Иные скажут, из-за гордыни я тут теперь, — с прежних высот, получается, опустилась. Правда, сулят, что в конце концов воспряну высоко. *Soeur*^[3] Маргерита уверяет, когда грядет Судный день, ангелы примут меня в свой хоровод. Но сестра Маргерита — жалкое, придурковатое существо: то бьется в судорогах, то в трясучке и обращает воду в вино, прибегая к бутылке, припрятанной под матрасом. Думаю, я не замечаю. Но в нашем общем дортуаре, где кровати отделены друг от друга лишь тонкой перегородкой, любая тайна скоро откроется. Только не моя.

Монастырь «Сент-Мари-де-ля-Мер» стоит на западной стороне полуострова Нуар-Мустьер^[4]. С деревянными пристройками по бокам и сзади, он неуклюже растянут, образуя внутренний дворик. Вот уже пять лет как этот монастырь стал мне домом; пожалуй, так долго на одном месте я еще никогда не задерживалась. Меня зовут сестра Огюст. Кем я была раньше, никому дела нет; вернее, не было. Пока. Пожалуй, монастырь — единственное убежище, где о прошлом можно не упоминать. Но прошлое — как коварная болезнь. Может нагрянуть с любым ветром; со звуком флейты; с пылью от ног бродячей танцорки. Сейчас я это понимаю; как всегда, слишком поздно. Но иного пути нет, только вперед. Все началось с

бродячих актеров. Чем кончится, кто знает?

Выступление танцовки на канате закончено. Актеры жонглируют под музыку, а руководитель труппы — видно, это и есть Лазарильо, — объявляет финальное представление.

— А теперь, любезные сестры, — прокатывается по монастырскому двору его актерски зычный голос, — «Всемирно известные лицедеи Лазарильо» к вашему удовольствию и в назидание, ради вашего изумления и восхищения счастливы представить вам поучительную и прямо-таки уморительную комедию... — тут он нарочито сделал паузу, и, сорвав с головы треуголку с плюмажем, резко выкрикнул: —...«*Les Amours de l'Hermite!*»^[5]

Ворон, черная птица злосчастья, пронесся прямо надо мной. От взмаха его крыльев щеки обдало холодом, я растопырила два пальца, изобразив знак, отводящий беду. *Кыш-кыш, прочь!*

На ворона, видно, это не подействовало. Он неуклюже взгромоздился на крышу колодца посреди монастырского двора, нагло сверкнув на меня желтым глазом. Прямо под ним труппа Лазарильо как ни в чем не бывало готовилась разыгрывать пьесу. Ворон резко дернул сальной шеей в мою сторону.

Кыш-кыш, прочь! Помню, однажды мать одним этим заветным знаком прогнала рой диких пчел. Но ворон только беззвучно разинул в мою сторону клюв, выставив узкий синий язык. Я едва сдержалась, чтоб не запустить в него камнем.

Да и действие уже началось: святоша-греховодник стремится соблазнить прелестницу. Та укрылась в монастыре, в то время как ее возлюбленный, клоун, переодевшись монахиней, пытается ее спасти. Злодей-воздыхатель засек влюбленных и поклялся, что если не удастся девицу заполучить, та не достанется больше никому. Как вдруг откуда ни возьмись скакнувшая на голову злодею мартышка расстраивает планы негодяя и этим помогает влюбленным благополучно улизнуть.

Представление текло вяло, актеров явно истомила жара. Видно, решила я, не так хороши у них дела, если их занесло к нам сюда. Чего ждать от затерянного на острове монастыря, разве что покормят, пустят на ночлег, а уж если строги монастырские порядки, то вряд ли. Выходит, что-то не заладилось у бродячих актеров на материке. Времена настали суровые для странствующего люда. Между тем Флер явно нравилось представление, она хлопала в ладоши, подзуживала криками визжавшую мартышку. Рядом восторженно подвывала наша юная послушница Перетта,

сама со своей подвижной мордочкой и патлатыми волосенками похожая на мартышку.

Дело шло к концу. Любовники вновь воссоединились. Злой святоша был разоблачен. У меня слегка кружилась голова, должно быть перегрелась на солнце. Как вдруг мне в знойном отупении почудилось, будто за спинами актеров на ярком свете неявно возникло что-то знакомое. Я узнала его; угадала по наклону головы, или, может, по тому, как он стоял, или по длинной тени на белой твердой земле. Узнала, хотя видение длилось лишь долю секунды. Ги Лемерль, моя черная птица, мой и только мой зловещий знак. Был и исчез.

Так все и началось: бродячие актеры, Лемерль и птица злосчастья. «Удача переменчива: прилив — отлив», — любила повторять моя мать. Может, просто настало и нам время сделать новый оборот, ведь, если верить еретикам, вращается и наша земля; туда, где был день, наползает ночь. Может, так, а может, нет. Лицедеи выделявали свои антраша, распевали куплеты, исторгали языки пламени из покрашенных ртов, корчили размалеванные рожи, кувыркались, шумно веселясь, гогоча, топая по пыли под звуки барабана и флейты босыми ногами с позолотой на ногтях. Мне же чудилось, будто на яркий дневной свет наплывает тень, накрывает черным крылом алые в оборках юбки, звенящие тамбурины, визжащую мартышку, шутовские костюмы, маски, Изабеллу со Скарамушем. И посреди полуденного жара, в окружении выбеленных от солнца, звенящих зноем монастырских стен меня пробрал озноб. Неумолимое начало поворота. Неспешный накат наших Последних Дней.

Зачем я верю приметам и предзнаменованиям? Все в прошлом, ушло вместе с *Théâtre des Cieux*. Но откуда здесь, после стольких лет, взяться Лемерлю? Что может это означать? Темная тень исчезла с глаз долой, актеры завершали свой маскарад, кланялись, мокрые от пота, расточая улыбки, осыпая нас лепестками роз.

Около меня хлопала пухлыми ладошками толстуха сестра Антуана, распалившись, вся в красных пятнах. Я резко ощутила, как от нее пахнет потом и как щекочет в ноздрах от пыли. Чья-то рука сжала мне плечо: сестра Маргерита — изможденное лицо озарено болезненным восторгом, полураскрытые губы возбужденно подрагивают. Вонь от чужих тел все нестерпимей. Внезапно из толпы сестер, выстроившихся вдоль потрескавшихся от зноя монастырских стен, взрывается одновременно пронзительное и до странности дикое *А-а-а-а!* — восторженное, высвободившееся, будто под напором жары природные силы прорвались

наружу, доводя до неистовства рукоплескания:

— *A-a-a-! Encore*^[6]! *A-a-a-! Encore!*

И тут ухо уловило один-единственный голос не в лад, едва различимый в буре оваций. *Mère Marie*^[7]. *Матушка-настоятельница...* Сперва он потонул в оголтелом зуде зноя и вое. Но вот опять прорвался, взвился над толпой.

Оглянувшись на голос, я увидела чахоточную монахиню — сестру Альфонсину: с простертыми руками, с побелевшим, тревожным лицом она стояла на самом верху лестницы, ведущей на колокольню. Почти никто из сестер ее не замечал. Труппа Лазарильо раздавала последние поклоны: еще раз актеры метнули в зрителей цветы и конфеты, пожиратель огня напоследок изрыгнул пламя, мартышка крутанула сальто. По щекам Арлекина стекала сальная краска. Перезрелая для своей роли, с выпирающим животом Изабелла уже явно едва держалась на ногах от нестерпимой жары, алая помада на губах растеклась чуть ли не до самых ушей.

Сестра Альфонсина продолжала твердить свое, силясь перекричать рев монашек. С трудом я расслышала слова:

— Господь покарал нас! Страшная кара!

Я заметила на лицах раздражение. Альфонсина была известна своей страстью к покаянному самоистязанию.

— Да что там, Альфонсина, что стряслось?

Она обвела всех нас мученическим взглядом.

— Сестры! — прозвучало без скорби, скорее с укоризной. — Матушка-настоятельница представилась!

Все разом смолкло. Актеры глядели сконфуженно, виновато, как бы осознавая, что вмиг из желанных сделались неудобными. Шут уронил руку с тамбурином; резко звякнуло, затихло.

— Преставилась?! — прозвучало так, будто в такое невозможно поверить здесь, среди палящего зноя, под нещадно жарким небом.

Альфонсина склонила голову; сестра Маргерита рядом со мной уже принялась бормотать: *Miserere nobis, miserere nobis*^[8]...

Флер растерянно взглянула на меня, я порывисто прижала ее к себе.

— Что, уже конец? — спросила она. — Обезьянка больше не спляшет?

Я покачала головой:

— Думаю, нет.

— А почему? Из-за той черной птицы?

Я в изумлении уставилась на дочку: в свои пять лет она все подмечает.

В глазенках, точно в осколках зеркала, отражалось небо: то голубое, а то лилово-серое, как подбрюшье грозовой тучи.

— Птица черная прилетала, — не дождавшись ответа, повторила она. — Ее уже нет.

Я бросила взгляд через плечо. И в самом деле — ворон, принесший свою весть, улетел. И тут я отчетливо поняла, что предчувствие меня не обмануло. Конец солнечным дням. Маскарад окончен.



6 июля, 1610

Мы отослали бродячих актеров обратно в город. Те отбыли обиженные и недовольные, будто их в чем-то обвинили. Но оставлять актеров в монастыре было негоже, к тому же у нас покойница. Из чистой привязанности ко всем без разбора бродячим артистам, я сама отнесла им провиант — сено лошадям, хлеб, козий сыр, обваленный в золе, и бутылъ доброго вина; пожелала счастливого пути.

Перед прощаньем Лазарильо пристально на меня взглянул:

— Лицо твое мне знакомо. Может, где встречались?

— Вряд ли. Я тут с малолетства.

— Столько перевидели городов, — развел он руками, — вот иной человек знакомым и покажется.

Мне ли этого не знать. Но я промолчала.

— Тяжелые пошли времена, *ta soeur*. Помяни нас в своих молитвах.

— Как не помянуть!

Матушка-настоятельница с сомкнутыми веками на своей узкой постели теперь казалась еще меньше и щедеушней, чем при жизни. Сестра Альфонсина уже сняла с нее *quichenotte*^[9], надев накрахмаленный плат, который старая настоятельница при жизни не носила.

— Кишнот уж очень нам помогал, — говаривала она. — Бывало твердим английским солдатам: *kiss not, kiss not*^[10], и этот убор надевали с крахмальными отворотами, чтоб те держались от нам подальше. Кто его знает, — внезапно ее глаза озорно вспыхивали, — может, разбойники англичане по сей день тут где-то хоронятся, как без кишнота свою добродетель уберечь?

Матушка копала в поле картошку, там и рухнула наземь. Так сказала Альфонсина. Мгновенно и дух вон.

Неплохая смерть, подумала я. Ни боли, ни причастия, ни причитаний. Матушка-настоятельница и так неслыханно много прожила, восьмой десяток пошел. Уже была слабовата, когда я пять лет назад пришла в монастырь. Но ведь именно она первой приняла меня в эти стены, она принимала и новорожденную Флер. Снова внезапно накатила тоска,

незванная старая подруга казалась мне вечной. Неотъемлемой частью моего сузившегося мирка. Добрая, простая, шагавшая по полю в переднике, подоткнутым по-деревенски за пояс юбки.

Картошка, выращенная тут, была ее гордостью. Ведь на нашей дрянной почве вообще мало что вырастало. Картошка высоко ценилась на материке, и выручки от ее продажи, как и от продажи природной соли, а также заготовок маринованного солероса, вполне нам хватало, чтобы обеспечить существование.

Если прибавить налог с десятины, жизнь выходила вполне сносная, даже для такой, как я, привыкшей к воле и к дороге; хотя пора бы уже в мои годы распроститься с опасностями и треволнениями. И не стоит забывать, что даже и в актеров *Théâtre des Cieux* чаще летели камни, чем сладкие леденцы, и что голодать приходилось чаще, чем есть вдоволь, и что много было вокруг пьянчуг, и сплетен, и приставал, и развратников... Но теперь у меня есть Флер, я должна о ней заботиться.

Одно из присущих мне богохульств — а их много, очень много, — это мое неприятие греха. Мне, зачатой во грехе, суждено было бы произвести на свет свою дочь в скорби и покаянии и потом бросить ее на произвол судьбы где-нибудь под холмом, как когда-то и наши матери поступали со своим нежеланным чадом. Но Флер, едва лишь явившись на свет, была мне в радость. Ради нее на мне теперь красный монашеский крест бернардинки, ради нее я работаю в поле, а не на натянутом высоко канате, посвящаю дни свои Господу, которого не слишком почитаю, а постигаю и того меньше. Но со мною Флер, и жизнь стала светлее. Монастырь все-таки мое убежище. Тут у меня мой сад. Мои книги. Подруги. Нас шестьдесят пять, и эта семья многочисленней и тесней, чем та, что была у меня до сих пор.

Всем я сказала, что овдовела. Решила, так будет проще. Богатая молодая вдовушка, с ребенком под сердцем, сбежавшая от заимодавцев покойного мужа. Кое-какие ценности, уцелевшие после краха фургона в Эпинале, позволили мне слегка поторговаться. Актерское прошлое сослужило добрую службу. Словом, я сумела расположить к себе простодушную аббатису, которая никогда и нигде, кроме своего захолустья, не бывала. Правда, со временем я поняла, что мои уловки оказались ни к чему. Мало кто из монашек имел призвание к святому служению. Нас объединяло не так много, разве что потребность уединиться, неприязнь к мужчинам, инстинктивная солидарность, но эта малость перевешивала несходства в происхождении и степени набожности. Каждая бежала от чего-то своего, неведомого. Повторю, у всех были свои тайны.

Сестра Маргерита — тощая, как освежеванный кролик, постоянно в нервной дрожи и возбуждении, ходит ко мне за ячменным отваром, чтоб совладать со снами, в которых, по ее словам, ее терзает волосатый мужчина. Варю ей микстуры с ромашкой и валерианой, подслащиваю медом. Она ежедневно очищает себя от грехов соленой водой и касторкой, но по лихорадочному блеску ее глаз видно: сны продолжают ее донимать.

Сестра Антуана: тучная, краснолицая, с руками вечно сальными от кастрюль. В четырнадцать Антуана родила мертвого ребеночка. Одни уверяют, будто она сама его сгубила; другие винят ее отца, который сотворил душегубство, обезумев от стыда и гнева. Надо признать, при всех ее грехах аппетит у Антуаны отменный. Живот выпирает прямо из-под многоярусного, студенистого подбородка; лицо одутловатое, младенчески простодушное, круглое, как луна. Пирожки и булочки она прижимает к необъятной груди с нежностью; в монастырской полутьме может почудиться, будто ребеночка к груди прикладывает.

Сестра Альфонсина: бледная, как полотно, лишь два алых пятна на щеках. Случается — кашляет, а в ладони кровь. Постоянно взбудоражена. От кого-то слыхала, будто слабые здоровьем в отличие от здоровых наделены особым даром. Потому вечно выставляется, будто не от мира сего. То и дело ей мерещится дьявол в облике огромной черной собаки.

И Перетта: для всех — сестра Анна, но для меня по-старому — Перетта. Дичится, не говорит ни слова; ей, должно быть, всего лет тринадцать; в прошлом ноябре ее подобрали голую на берегу. Дня три она ничего не ела, просто сидела неподвижно на полу своей кельи, отвернувшись к стене. Потом впала в ярость, размазывала по стенам экскременты, кидалась едой в ходивших за нею сестер, рычала, точно дикий зверь. Напрочь отказывалась надевать то, что мы ей приносили, носилась голая по холодной келье, то и дело громко мыча — то ли в ярости, то ли от неведомой тоски, то ли ликуя.

Теперь уже Перетта вполне похожа на нормальную девочку. В белом балахоне послушницы она почти хорошенькая, выводит наши гимны тоненько, без слов, но ей куда привольней в саду или в поле — сброшенный плат накинет на ежевичный куст, юбки взвиваются ветром. Она до сих пор не говорит. Иные гадают: может, сроду такая. Зрачок с золотистым ободком, как у птицы: непроницаемый глаз. Белесые, состриженные от вшей волосенки начали отрастать, топорщатся над личиком величиной с кулачок. Перетта любит Флер, часто по-птичьи тоненько воркует ей что-то, мастерит ловкими, быстрыми пальчиками ей куколок из прибрежного тростника и трав. Ко мне тоже отношение особое,

часто ходит со мной в поле, смотрит, как я тружусь, курлычет что-то себе под нос.

Да, пожалуй, я снова обрела семью. Все мы беглянки, каждая на свой лад: Перетта, Антуана, Маргерита, Альфонсина и я; и еще есть — строгая Пиетэ, сплетница Бенедикт, ленивая Томасина; Жермена с соломенными волосами и с изуродованным лицом; вздорная красавица Клемент, делящая с нею постель, и чокнутая Розамонда, лишенная памяти и чувства греховности, но ближе к Богу, чем любая наша разумница.

Жизнь здесь проста — пока. Еда вкусна и ее вдоволь. Утехы наши при нас — у Маргериты ее бутылка и каждодневное самобичевание, у Антуаны — ее булочки. Моя утеха — Флер. Она спит в своей кроватке рядом с моей постелью и ходит вместе со мной на молитву и в поле. Иной скажет: праздная жизнь, словно селянки на отдыхе, а не сестры-монахини, спаянные общим покаянием. Только здесь не материк. На острове своя жизнь. Для нас Ле-Девэн по ту сторону — мир совсем иной. Раз в год на празднование Святого Причащения может заехать какой-нибудь священник; епископ же, как рассказывают, в последний раз навещался сюда лет шестнадцать тому назад, когда короновали старого Генриха. С той поры уж и доброго короля загубили, — именно он провозгласил, что в каждой французской семье каждую неделю на столе должна быть жареная курятина, и мы следовали его завету с усердием, завидным для слуг господних, — наследник же его еще не вырос из коротких штанишек.

Так много перемен. Не доверяю я им; во внешнем мире вскипают приливы, способные разнести все в клочья. Лучше оставаться тут, с Флер, пока вокруг ярится раздор и над головой, точно сгущающиеся тучи, кружат птицы несчастья.

Здесь пока еще тихо.



7 июля, 1610

Монастырь без настоятельницы. Страна без короля. Вот уже двое суток мы, как и вся Франция, в смятении. *Louis Dieudonné*, Людовик Богом Данный, — красивое, мощное имя для ребенка, чье восхождение на трон осенено убийством. Будто имя может развеять проклятие, закрыть глаза людей на продажность Церкви и Двора, на все растущие притязания регентши Марии. Старый король был солдат; правитель, закаленный жизнью. С Генрихом мы твердо стояли на земле. Но маленькому Людовику нет и десяти. И не прошло и двух месяцев после смерти его отца, как уже поползли слухи. На месте советника короля Десюйи теперь оказался фаворит этой Медичи. Вернулись Конде. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы напророчить: нас ждут нелегкие времена. Обычно в нашем Нуар-Мустьере все это не слишком нас заботило. Но вот и мы, как и вся Франция, лишились надежного водительства.

Теперь без Матушки-настоятельницы мы не знаем, как нам быть, и, ожидая ответа на послание, отправленное епископу в Ренн, предоставлены самим себе. Наша беззаботная жизнь омрачена неизвестностью. Тело Матушки по-прежнему покоится в часовне в мерцании свечей, под курящимися кадилами, а лето нынче жаркое, воздух тяжек и смраден. Никаких вестей с материка не приходит, но мы знаем, путь в Ренн долог — дня четыре, не меньше. Словом, мы плывем по течению без руля и без ветрил, а руль нам так необходим: и прежде не слишком скованные порядком, теперь мы разболтались до крайности, до предела. Почти перестали молиться. Обязанности позабыты. Предаемся своим страстям: Антуана — обжорству, Маргерита — бутылке, Альфонсина, согнувшись в три погибели, так истово надраивает каменные полы, что стерла руки в кровь, пришлось ее, не выпускавшую из пальцев щетку, силой оттащить в келью. Иные рыдают без всякой причины. Иные отправились за две мили в деревню на розыски застрявших там бродячих актеров. Возвратились прошлой ночью поздно, слышала в нашем дортуаре их смех, жарко пахло вином и натешившейся плотью.

Внешне мало что поменялось. Я по-прежнему вся в трудах. Пестую свои травы, веду дневник, прогуливаюсь с Флер к причалу, меняю в часовне свечи рядом с нашей бедной усопшей. Нынче утром одна в

молчании я вознесла молитву на свой лад, непозолоченным святым в их нишах. Но тревога во мне с каждым днем нарастает. Не забылось предчувствие, всколыхнувшееся в тот день, когда нас посетили актеры.

Прошлой ночью в тиши своей спальной каморки я раскинула карты. Но никакого утешения в них не нашла. Флер беззаботно спала в своей постельке рядом с моей кроватью, а мне снова и снова выпадало одно и то же. Башня. Отшельник. Смерть. И сны мои были тревожны.



8 июля, 1610

Монастырь Сент-Мари-де-ля-Мер расположен в двух милях от моря на месте бывшего, ныне осушенного болота. Слева тянутся болота, которые подтопляются каждой весной, и солоноватая вода подступает чуть ли не к самым нашим воротам и время от времени просачивается в погреба, где мы храним продовольствие. Справа — дорога, ведущая в город, по которой мимо проезжают повозки и всадники, а каждый вторник длинной вереницей едут купцы с одного рынка на другой, везя с собой всякую одежду, корзины, кожу и провиант. Монастырь старый, двести лет назад его основало братство черных монахов, плативших за аренду единственной признанной Церковью твердой монетой: страхом проклятия.

В те годы индульгенций и разврата некое знатное семейство обеспечило себе доступ в Царство Господне тем, что присвоило монастырю свое имя. Однако с самого начала монахов преследовали несчастья. Через шестьдесят лет после постройки монастыря их выкосила чума, и на целых два поколения монастырь был заброшен, после чего его заняли монахи-бернардинцы^[11]. Должно быть, однако, их было намного больше, чем нас, потому что монастырь может вместить против нашего вдвое больше народу, однако время и стихии не пощадили некогда величавую его архитектуру, и многие помещения уже использовать нельзя.

Должно быть, монастырь и впрямь знавал славные времена, ибо пол в часовне выложен отличным мрамором, а единственный сохранившийся оконный витраж превосходен, но с той поры ветры, гулявшие по равнине, выветрили песчаник и разрушили арочные своды с западного края настолько, что в том крыле теперь мало что из оставшегося пригодно для жилья. В восточном у нас по-прежнему сохранились дортуар, наша монашеская обитель, лечебница и каминная, хотя помещения для послушниц в жалком состоянии, на крыше недостает стольких черепиц, и птицы стали гнездиться под сводами. Также и помещения для рукописей в плачевном состоянии, но туда почти никто не заходит, ведь у нас мало кто умеет читать, да и книг вовсе немного. Вокруг часовни и основного здания в беспорядке рассыпаны малые, в основном деревянные, постройки: пекарня, сыромятня, амбары и коптильня, где мы сушим рыбу. Словом,

вопреки грандиозным замыслам черных монахов наш монастырь теперь больше напоминает обшарпанный поселок.

Миряне выполняют по большей части всякую грубую работу. Товарами и службой они оплачивают оказанное им доверие, как и десятину, мы же со своей стороны молимся за них и отпускаем им грехи. Сент-Мари-де-ля-Мер — изваяние, оно стоит теперь у входа в часовню на пьедестале из неотесанного камня. Ее нашел на болоте около ста лет назад мальчишка, отправившийся на поиски овцы: высотой в три фута почерневшую базальтовую глыбу, изваянную в виде женщины. Грудь обнажена, ноги — книзу конусом — скрыты длинным бесформенным каменным покрывалом. Потому в прежние времена люди прозвали ее Русалкой.

После того как изваяние обнаружили и с превеликими трудами сорок лет назад приволокли на территорию монастыря, некоторым, воззвавшем к деде, явилось чудесное исцеление от хворей, и теперь рыбаки ее почитают и часто возносят молитвы Мари-де-ля-Мер, чтоб защитила от штормов.

По мне, она выглядит старовато. Явно не девственница, старая кляча: устало опущенная голова, согбенные плечи, за почти целое столетие отполированные касаниями верующих. Обвислые груди тоже изрядно блестят. Бесплодные и мечтающие зачать женщины по-прежнему, проходя мимо, поглаживают их на удачу, платя за благословение домашней дичью, бочонком вина или корзиной с рыбой.

Но, при всем благоговейном отношении островных жителей к статуе, Святую Деву она напоминает мало. Прежде всего, по возрасту. Она явно древнее нашего монастыря — базальт с вкраплениями слюды, будто осколками костей, похоже, насчитывает лет тысячу, а то и больше. Да и обнаженные груди, как у древней языческой богини, выглядят как-то странно и непристойно. Иные из местных жителей все еще величают ее прежним русалочьим именем, — хотя явленные ею чудеса уже как будто не оставили сомнений в ее назначении и ее святости. Однако рыбаки — люди суеверные. Мы живем с ними рядом, но мы им чужды, как и те черные монахи ушедших времен, мы — иное племя, которому следует платить, которого надо ублажать дарами.

Монастырь Сент-Мари-де-ля-Мер стал для меня идеальным убежищем. Старый, полуразрушенный, уединенный, он подарил мне неведомый прежде рай и спасение. Здесь, вдали от материка, на острове, где единственный служитель церкви, приходской священник, едва знал латынь, положение мое было странно и даже несколько несуразно. Сперва я была послушницей, и таких нас было всего двенадцать. Но из шестидесяти пяти сестер-монахинь едва лишь половина умела читать; едва

ли десятая часть знала латынь. Вначале я зачитывала молитвы во время капитула^[12]. Потом меня привлекли к участию в богослужении, повседневные обязанности свелись лишь к чтению с аналоя огромной старой Библии. Раз Мать-настоятельница обратилась ко мне как-то неожиданно робко, даже смущенно:

— Понимаешь, наши послушницы... Их у нас двенадцать, лет от тринадцати до восемнадцати. Негоже им — да и всем остальным — совсем не знать грамоты. Если б можно было их подучить — хотя бы немного. В старом хранилище рукописей у нас книги припрятаны, которые мало кто сумеет прочесть. Вот если б можно было им подсказать...

Очень скоро я все поняла. Наша добрая, наша мудрая, многоопытная настоятельница скрывала от всех свою тайну. Скрывала вот уже полсотни лет, а то и больше, выучивала длинные речения Библии наизусть, чтобы никто не догадался о ее невежестве, прикидываясь подслеповатой, чтоб избежать разоблачения. Мать-настоятельница не умела читать по-латыни. Подозреваю, она вообще не умела читать.

Она неизменно надзидала над моими занятиями с послушницами, стоя в глубине трапезной, временно преобразованной в классную комнату, склонив голову набок, будто понимала каждое слово. Ни разу я в разговорах с ней или с сестрами не выдала Матушкиной тайны; справлялась, предварительно просветив, каково ее мнение о том, о сем, и она незаметно, потихоньку выказывала мне свою благодарность.

Через год по ее настоянию я приняла постриг. И мое новое положение позволило мне без ограничений, полноправно участвовать в монастырской жизни.

Мне так не хватает ее. Милая Матушка Мария. Ее вера была проста и чиста, как земля, на которой она трудилась. Она редко наказывала, — правда, особых причин не случалось, — грех считала следствием несчастной судьбы. Стоило кому-нибудь из сестер совершить какую-либо провинность, Матушка заговаривала с нею ласково, своей добротой исцеляя проступок: воровке что-нибудь дарила, лентяйке давала послабление. Ее безграничная щедрость во многих будила чувство стыда. И все же Матушке Марии, как и мне, ересь была не чужда. Ее вера опасно граничила с пантеизмом, против которого меня предостерегал еще мой старый учитель Джордано. Но у Матушки все шло от сердца. Не вникая во все сложности и глубины теософии, свои взгляды она могла бы обозначить единственным словом: любовь. Любовь для Матушки Марии наполняла все сущее.

Любовь редка, но неизбывна. Так говаривала моя мать, и всю мою

жизнь душа моя отзывалась именно на эти слова. До монастыря мне казалось, что я понимаю, что это такое. Любовь к матери; любовь к друзьям; темная и многосложная любовь женщины к мужчине. Но когда родилась Флер, все переменялось. Человек, никогда не видевший океана, возможно, думает, будто представляет его себе; но исходит лишь из того, что он знает, — его воображение рисует множество воды, больше, чем в мельничном пруду, больше, чем в озере. Реальное, однако, превосходит все наши ожидания: запахи, звуки, восторг и радость при виде настоящего океана ни с чем не сравнимо. Так и с Флер. С тринадцати лет не испытывала я подобного мощного пробуждения чувств. Матушка Мария поднесла ее впервые к моей груди, и в тот же миг я поняла: мир стал другим. Раньше я жила сама по себе, только этого не понимала. Я странствовала, боролась, страдала, плясала, блудила, любила, ненавидела, горевала и торжествовала — неизменно одна; проживала день за днем, как дикое животное, ни о чем не заботясь, ни к чему не стремясь, ничего не страшась. И вдруг в одночасье все сделалось иным: в мир явилась Флер. Я стала матерью.

Но этот восторг таит в себе опасность. Да, я знала прежде, что дети часто умирают в раннем возрасте, — столько раз видела во время своих странствий, как они гибнут от болезней, от несчастного случая, от голода, — но раньше при этом я не испытывала ни боли, ни чувства невосполнимой потери. Теперь я боюсь всего. Бесстрашная Элэ, плясавшая на канате и летавшая на трапеции, превратилась в жалкое существо, в кудачущую наседку; и ради чада своего ищет защитный кров, хотя прежде только и жаждала приключений. Лемерль, вечный игрок, презрел бы эту мою слабость. *Не садись играть, если есть что терять.* Но все же, где бы он ни был сейчас, он достоин жалости. Океан не случился в его жизни.

Нынче вторую заутреню отслужили наспех; первую заутреню и хвалы вообще пропустили. Я одна в церкви, брезжит рассвет, молочный свет льется на кафедру сквозь прохудившийся шифер крыши. Сочится мелкий дождик, и капли, вытекая по выщербленному желобу, выбивают трезвучное арпеджио. В тот год, когда строили пекарню, мы продали почти весь свой свинец; разжились дрянным камнем вместо дорогого металла. Хлеб вместо ремонта крыши южного нефа. Утроба превыше святости. Вместо свинца залепили глиной, покрыли известковым раствором. Недолговечная замена.

Сент-Мари-де-ля-Мер смотрит со своей высоты круглыми, пустыми глазами. Прочие ее черты стерты временем. Громадная каменная баба тяжело осела, точно цыганка, изготовившаяся рожать. Через раскрытую дверь слышны накатывающие волны на отмель, крики птиц. Это чайки, кто же еще.

Черные дрозды сюда не залетают. Интересно, видит ли меня сейчас Матушка Мария. Слышит ли и святая мою беззвучную молитву.

Может, это крики чаек вдруг взбудоражили меня? Или через отмель дыхнуло свободой?

Черные дрозды сюда не залетают.

Но поздно, поздно! Встрепенувшись, мой злой демон упирается, не дает себя прогнать. Образ будто впечатался мне в веки, даже закрыв глаза я вижу его. Видно, он никогда меня не отпускал, Черная Птица моего злосчастья. Во сне ли, наяву он всегда был со мной. Пять лет покоя — слишком щедрый подарок; видно, большего я не заслуживаю. Как говаривают местные, все возвращается. И, как волна прилива, накатило прошлое.



9 июля, 1610

Из самых ранних моих воспоминаний: наша кибитка, выкрашенная оранжевой краской, с одного боку нарисован тигр, с другого — изображена пасторальная сценка с овечками и пастушками. Когда я была паинькой, то играла там, где нарисованы овечки. Когда бунтовала — меня отправляли к тигру. Признаться, тигр мне нравился больше.

Я родилась среди цыган, у меня было много матерей, много отцов, и не один родительский кров. Родной моей матерью была Изабелла: высокая, сильная, красивая. Были еще акробат Габриэль и Принцесса Фарандола, безручка, управлявшая пальцами ног; была черноглазая предсказательница судьбы Жанетт, в чьих умелых морщинистых руках карты вспыхивали на лету, точно искры; и еще был еврей с севера Италии по имени Джордано, умевший читать и писать. Не только по-французски, но и по-латыни, и по-гречески и на древнееврейском. Родней, насколько помню, он мне не приходился, но заботился обо мне больше, чем другие, и по-своему, скупое меня любил. Цыгане звали меня Жюльетта. Другого имени у меня не было, зачем оно мне.

Джордано и выучил меня грамоте, читал мне книжки, которые прятал в тайнике в глубине кибитки. Это он рассказал мне про Коперника, поведал, что девять небесных сфер не вращаются вокруг земли, что это Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. И многое другое, хотя я и не все понимала, например, про свойства металлов и веществ. Он научил меня изготавливать горючий черный порошок из смеси каменной соли, серы и угля; показал, как его запаливать с помощью длинного шнура. Все дразнили Джордано *философом*, смеялись над его книжками и его опытами, но именно благодаря ему я выучилась читать, распознавать звезды и не верить Церкви.

Габриэль учил меня жонглировать, крутить сальто, плясать на канате. Жанетта — раскладывать карты, раскидывать кости; от нее я узнала о пользе растений и трав. От Фарандолы восприняла гордость и независимость. У своей матери выучилась премудростям цвета, голосам птиц, а также знакам, отводящим беду. Еще я научилась обчищать карманы, орудовать ножом, при случае пускать в ход кулаки, вилять задом перед уличным пьяницею, завлекая его в темный уголок, и там достаточно было

лишь ловкости рук, чтобы мигом вытянуть у него из кармана кошелек.

Мы странствовали по большим и малым городам вдоль побережья, никогда подолгу не застревая на одном месте, чтоб не привлекать нежелательного внимания. Мы часто бывали голодны, нас чурались все, кроме самых бедных и несчастных, нас честили по всей стране со всех амвонов, винили во всех бедах от засухи до яблочной гнили, но мы черпали радость где могли и помогали друг дружке кто чем мог.

Мне было четырнадцать, когда нас всех разнесло по свету, во Фландрии фанатики сожгли наши кибитки, обвинив нас в воровстве и в колдовстве. Джордано бежал на юг, Габриэль к границе, а меня мать оставила на попечение монахинь-кармелиток в маленьком ските, пообещав вернуться за мною, едва минует опасность. Я прожила у кармелиток почти два месяца. Монахини были добрые, но бедные, почти такие же бедные, как мы, и по большей части запуганные старухи, не способные высунуть нос за пределы своей монашеской обители. Мне же их уклад был ненавистен. Я тосковала по матери, по своим друзьям; тосковала по Джордано и по его книгам; больше всего тосковала я по вольной кочевой жизни. От Изабеллы не было ни слуху ни духу. Ни единого словечка, доброго или худого. В картах выпадала суцая неразбериха — всё чаши да мечи. Все во мне зудело — от стриженного ежика на голове до самых пяток, так нестерпимо тошно было жить среди старух. Однажды ночью я все-таки сбежала, прошагала миль шесть пешком в глубь Фландрии и на пару недель затаилась, питаюсь объедками, в надежде что-нибудь прослышать про нашу бродячую труппу. Но уже стало подмерзать; у всех на уме была только война, и мало кто мог вспомнить каких-то бродячих актеров-цыган. С отчаяния я подалась обратно к монахиням, но дверь оказалась на замке, а на ней был начертан знак: чума. Что ж, выходит — с прошлым покончено. Получу ли, нет ли весть от Изабеллы, все равно ничего другого мне не оставалось: надо было жить своим умом.

Словом, осталась я совсем одна, без опоры и защиты. И вот, как нищенка, где подворовывая, где подбирая объедки, я мало-помалу пробиралась к столице. На время прибилась к одной итальянской труппе, выучилась их языку и азам комедии дель-арте. Но итальянское уже выходило из моды. Года два мы протянули, как бы того не замечая, но под конец моих не слишком удачливых товарищей потянуло на родину к апельсиновым рощам и к согретым солнцем голубым горам. Я могла бы отправиться с ними. Но то ли мой злой демон побудил меня остаться, то ли желание двигаться в своем направлении. Распрощавшись с итальянцами, я одна, правда на сей раз уже накопив немного денег, снова устремилась

навстречу Парижу.

Там я впервые и повстречала Черного Дрозда. Прозванный Лемерлем^[13] за природный жгуче-черный цвет волос, в среде изнеженных придворных он вел себя как сущий баламут, вечно что-то вытворял, при этом почти всегда избегая немилости, хотя неизменно балансировал на грани дозволенного. На первый взгляд, ничего особенного в нем не было, он любил одеваться просто, без излишних украшений, но глаза его вбирали и свет, и тень, как деревья в лесу, и такой необыкновенной улыбки я больше ни у кого не видала: улыбки человека, для которого мир и забавен и нелеп. Все для него была игра. Чины и почести его не привлекали. Он жил вечно в долг и церковь не жаловал.

Меня привлекла в нем его беззаботность, в этом мы были схожи. Но все же мы были с ним очень разные, он и я. В свои шестнадцать я была маленькая дикарка. Лемерль был десятью годами старше. Своенравный, непокорный, неистовый, — как было в него не влюбиться.

Цыпленок, едва вылупившийся из гнезда, принимает за мать первое встречное существо. Лемерль подобрал меня на улице, дал работу. Больше того, он возвратил мне утраченное достоинство. Вот я и влюбилась в него, безоглядно, с обожанием едва вылупившегося птенца. *Любовь редка, но неизбывна*. Поделом мне.

У него была труппа танцоров-лицедеев, *Théâtre du Flambeau*^[14]; им покровительствовал Максимильен де Бетюн, впоследствии сделавшийся герцогом Десюйи, обожавший балет. Случались и иные представления, не столь публичные и без благодетеля, но при том все же имевшие свою публику — приближенных короля. Лемерль вел тайную, рискованную игру, прибегая к шантажу и интригам, скользя по лабиринтам светского общества и почти не впадая в соблазны, подстерегавшие его за каждым углом. Хотя, похоже, настоящего его имени никто не знал, я держала его за благородного, — с ним многие считались. Его *Ballet des Gueux*, «Балет нищих», имевший невероятный успех при дворе, мигом всех покорила, хотя некоторые и обвиняли его в нечестивости. Не смущенная хулой, его дерзость дошла до того, что он вовлек и придворных в участие в своем *Ballet du Grand Pastoral*^[15], а герцога де Крамэй заставил одеться в женское платье, и даже задумал создать, к моменту моего появления в труппе, *Ballet Travesti*^[16], чему суждено было стать последней каплей, переполнившей чашу терпения достопочтенного патрона.

Сначала мое раболепство льстило Лемерлю; и еще его забавляло, с какой жадностью пялятся на меня мужчины, когда я плясала на сцене. Мы,

труппа Лемерля и я, представляли свои спектакли в салонах и театрах по всему городу. К тому времени вошли в моду *comédie-ballets*^[17]: любовные истории на классический сюжет, перемежаемые длинными танцевальными и акробатическими интерлюдиями. Лемерль сочинял диалоги и ставил танцы, каждый раз меняя текст в зависимости от вкусов зрителей. Для разряженной публики предлагались героические монологи, любителям балета — танцоры в хитонах, а карлики, акробаты и клоуны — для простой публики, которая иного бы не приняла, и она встречала наши выступления громкими приветственными выкриками и хохотом.

Париж — и Лемерль — облагородили меня просто до неузнаваемости: теперь волосы у меня были чистые, блестящие, кожа засияла, и впервые в жизни я стала одеваться в шелка и бархат, кружева и мех; я танцевала в туфельках, расшитых золотом, прикрывала улыбки веером из слоновой кости и куриной кожи. Я была молода, и, конечно, новая жизнь меня пьянила. Но не пышность и мишура застилали мне, дочери Изабеллы, глаза. Меня ослепляла любовь. И когда корабль наших радужных надежд потерпел крушение, только она удержала меня рядом с ним.

Черный Дрозд канул в немилость столь же внезапно, как и вознесся. Я даже и понять не успела, как это произошло. Сегодня еще все сходили с ума по нашему *Ballet Travesti*, на завтра все пошло прахом: в одночасье мы лишились заступничества де Бетюна, актеров и танцоров разметало по ветру. До поры уступчивые, кредиторы налетели, точно жадные мухи. Внезапно имя Ги Лемерля исчезло со всех уст, все друзья вмиг куда-то подевались. В итоге Лемерль едва не был избит прислужниками известного святоши, епископа Эврё, и спешно бежал из Парижа, используя кое-какие пока еще могущественные связи и прихватив с собой, что успел, из своего добра. Я последовала за ним. Думайте обо мне что хотите. Он был опытный и коварный мошенник, старше меня на десять лет, умело скрывал низость помыслов под лощеным обликом королевского придворного. Я пошла за ним. Я бы и в ад за ним пошла.

Он быстро освоился с бродячей жизнью. Так быстро, что я почти не могла обнаружить различия между ним и мной, дочерью дорог. Мне казалось, позор сломит его; в крайнем случае, немного обуздает. Ничуть. И дня не прошло, как из придворного он превратился в бродячего актера, сменив шелка на походную кожу. Речь его теперь представляла смесь утонченного городского говора и грубой провинциальной картавости и менялась каждую неделю, в зависимости от того, в какой провинции он оказывался.

Я видела, что это его забавляет; что вся эта комедия — ибо именно так

он именовал наше бегство из Парижа, — ему весьма по душе. Он живой и невредимый вырвался из столицы, оставив по себе немало внушительных скандалов. Надсмехался над немалым количеством влиятельных персон. И в первую голову, как я поняла, привел в ярость епископа Эврё, человека легендарной выдержки, вынудив прибегнуть к не приличествовавшим его сану мерам, а одно это уже для такого, как Лемерль, было настоящей победой. В результате вместо того, чтобы хоть как-то присмиреть, он повел себя еще наглее, чем прежде, почти немедленно принявшись строить планы очередной авантюры.

От нашей изначальной труппы теперь осталось вместе со мной всего лишь семеро. Двое танцорок — Гислена, деревенская девчонка из Лоррэны, и бывшая куртизанка Эрмина, да еще четверо карликов: Рико, Базюэль, Като и Леборнь. Карлики у нас были всех мастей. Рико и Като — точно два ребеночка, с маленькими головками, с писклявыми голосами. Базюэль был пухлый, как херувимчик. А одноглазый Леборнь имел вполне ладный торс, широкую грудь, мускулистые руки; правда, ноги у него были чересчур коротки. Леборнь был человек странный, ожесточившийся, люто ненавидевший «длинных», как он нас именовал, но со мной почему-то он вел себя вполне сносно, возможно, оттого, что я к нему относилась без преувеличенной жалости. К Лемерлю выказывал сдержанное уважение, если ни истинную привязанность.

— Еще при жизни моего деда мы, карлики, были в почете, — частенько ворчал Леборнь себе под нос. — По крайности, голодать не приходилось. Всегда можно было пристроиться либо в цирк, либо к бродячим актерам. Ну а уж церковь...

Церковники сильно изменились с дедовских времен. Прежнее сострадание сменила подозрительность, каждый только и стремится найти виноватого в своих горестях и неудачах. К карлику, к калеке всегда относились по справедливости, говорил Леборнь, а всякие темные личности, например цыгане или лицедеи — те были козлы отпущения, лучше некуда.

— Одно время, — рассказывал он, — в каждой труппе на счастье держали карлика или дурачка. Блаженные шуты, звали они нас. Божьи люди. Нынче народ скорее камнем кинет в несчастного бедолагу, чем коркой хлеба поделится. Теперь нас никто не ценит. А что до Лемерля с его *comédie-ballets*... гм! — Он свирепо оскалился. — Пустому желудку не до смеха. Нагрянет зима, тут ему да и нам это ясно станет.

Но шло время, и к нам прибилося еще трое актеров из распавшейся в Эксе труппы. Кабош был флейтист, Демизелла — неплохая танцовщица, а

Буффон — бывший клоун, ныне потрошитель карманов. Мы разъезжали под вывеской *Théâtre du Grand Carnaval*^[18], представляли главным образом пьески-пародии и маленькие балеты с кувыркающимися и жонглирующими карликами, но хоть представления и хорошо принимались, платили нам в основном скудно, и скоро наши кошельки совсем отощали.

Приближалась пора урожая, пару недель мы по утрам заезжали в деревни, подрабатывали слегка, помогая местному фермеру косить сено или собирать фрукты, а вечерами устраивали во дворе местной пивнушки представление, подбирая с земли все, что нам бросали. Сначала от работы в поле руки Лемерля стерлись до крови, но он не жаловался. Однажды ночью я молча вошла к нему в фургон, и он даже не удивился, ничего не сказал, как будто иначе и быть не могло.

Он был странный любовник. Замкнутый, настороженный, далекий, немой в страсти, точно бес, являющийся во сне. Женщин тянуло к нему, но он, казалось, оставался равнодушен к их вниманию. Не потому, что так привязан ко мне. Просто был из тех, кто, имея один камзол, не хочет обременять себя покупкой другого. Позже я распознала, каков он по сути: самолюбивый, мелкий, жестокий. Но на какое-то время я просто потеряла голову; и, жадно ища любви, продолжала довольствоваться той малостью, что могла от него получить.

Взамен я делилась с ним всем, что умела. Учила отлавливать птиц и кроликов, когда не хватало пищи. Указывала травы, лечившие лихорадку и исцелявшие раны. Открывала ему колдовские тайны моей матери. Даже повторяла то, чему учил меня Джордано, и это вызывало у Лемерля особый интерес.

Признаться, я рассказала ему о себе больше, чем сама хотела, — гораздо больше, чем следовало бы. Но он был неотразим, он был умен, и внимание его мне льстило. Много в моих рассказах отдавало ересью: смесь цыганских премудростей и уроков Джордано. Земля и планеты, движущиеся вокруг Солнца. Богиня урожая и наслаждений, которая древнее Святой Церкви. Ее паства, свободная от оков греха и покаяния. Равенство мужчин и женщин — при этих словах Лемерль усмехался, для него это уж было слишком, но от высказываний разумно удерживался. Я думала, за столько лет он все позабыл. И только много позже поняла: Ги Лемерль ничего не забывает; все у него откладывается про запас; все малости, что узнает, он накапливает в своем хранилище. Я была наивна. Нет мне оправдания. Но несмотря на все, что случилось потом, я готова поклясться: все-таки и он ко мне в конце концов начал что-то испытывать. Все-таки и в нем пару раз что-то всколыхнулось. Впрочем, как оказалось

потом, мне этого было мало. Слишком мало.

Я никогда не знала его настоящего имени. Он намекал, что из благородных, — он явно был не простолюдин, — правда, даже в разгар своего обожания я не верила и половине того, что он рассказывал. Он говорил, что был актер, что писал пьесы, поэмы в классическом стиле; говорил, что пережил беды, крах надежд; с восторгом вспоминал битком набитые толпой театры.

Что он был актер, сомнений не было. Ему были присущи актерский дар перевоплощения, широкая улыбка триумфатора, особая величавая поступь, горделивая посадка головы. Он прекрасно умел использовать свои таланты: торговал ли фальшивыми пилюлями или сбывал с рук дохлую клячу, его искусство убеждать граничило с волшебством. Но не с лицедейства все у него началось. Он явно где-то учился; читал по-латыни и по-гречески, и некоторые из упомянутых Джордано философов были ему известны. Скакал на лошади не хуже любого циркового наездника. Мог обчищать карманы, как истинный вор, и в любой азартной игре ему не было равных. Казалось, он может освоиться в любых обстоятельствах, исподволь овладевая нужными навыками, но, как я ни старалась, мне не удавалось пробиться сквозь барьеры выдумки, фантазии и откровенной лжи, которыми он себя окружил. Его тайны, какие бы они ни были, остались при нем.

Но было и еще кое-что. Старое клеймо высоко на его левом предплечье, лилия, за многие годы выцветшая почти до сизости. Когда я спрашивала, он отделялся уклончивой улыбкой, ссылаясь на плохую память. Правда, я заметила, что каждый раз после моего вопроса он прикрывал одеждой знак, и строила свои догадки. Было время, моему Черному Дрозду обломали перья, и об этом ему неприятно вспоминать.



11 июля, 1610

Я никогда не верила в Бога. Точнее говоря, в *вашего*, того, кто смотрит сверху вниз на шахматную доску и двигает фигуры по своему усмотрению, походя с уверенной в исходе улыбкой взглядывая в лицо Антипода. Какой-то, видно, есть в Создателе жестокий изъяз, если он упорно доводит тех, кого сам сотворил, до гибели; наполняет мир всевозможными удовольствиями лишь для того, чтобы объявить все удовольствия грехом; создает человечество несовершенным и ждет, что мы возгоримся страстью к совершенству. Дьявол по крайней мере ведет честную игру. С ним все ясно. Но ведь и он, Мошенник из Мошенников, тайно служит Всемогущему. Каков хозяин, таков и прислужник.

Джордано звал меня язычницей. Это не звучало похвалой, ведь он был правоверный иудей и верил в воздаяние небес за земные страдания. Он считал язычников людьми без Бога и без нравственности, безоглядно предающимися плотским удовольствиям, кому опасность скорее в радость, чем на беду. Мой старый учитель ел мало, регулярно постился, часто молился, остальное время посвящал своим ученым занятиям. Он был нам хороший товарищ, с единственной оговоркой: по субботам отказывался вместе с нами прибирать вокруг стоянки и еще предпочитал обходиться без огня даже в зимнюю ночь, только бы не трудиться, чтобы разжечь его. Если позабыть об этих странностях, в остальном Джордано был такой же, как и мы. Не видала, чтоб он вкушал плоть христианских младенцев, как убеждала нас Церковь в отношении его соплеменников. По правде говоря, к мясу он вообще едва притрагивался. Что лишний раз доказывает, как несостоятельны порой церковные проповеди.

Возможно, и сам Джордано пребывал в заблуждении, говорила я себе при всем своем послушном старании походить на своего учителя. Его иудейский бог казался мне очень похожим на нашего католического, а его Единосущная Вера казалась мне мало отличной от веры гугенотов или английских еретиков-протестантов. Должно же быть еще что-то, беспрестанно повторяла я себе. Что-то, кроме греха и покаяния, праха и молитв; что-то, в чем есть любовь к жизни, без оглядки, как во мне.

Тринадцатилетняя весна как будто что-то пробудила во мне. Лето потекло чередой полных истомы радостей: чувство новизны, безудержный

прилив сил, обостренный вкус, обостренные запахи. Казалось, я впервые в жизни по-настоящему увидела придорожные цветы; ощутила, как пахнет опустившаяся на побережье ночь, и вкус свежее испеченного матерью хлеба, побуревшего на углях, нежного под подгоревшей корочкой. Еще я открыла, как сладко одежда льнет к телу, и еще — ледяной спазм от родниковой воды при купании... Если все это значит быть язычницей, пусть оно длится, пусть не кончается. За одну ночь вселенная стала мне удивительно родной, таинствам ее не было конца. Все во мне распахнулось навстречу ее тайнам. Каждый росток, каждый цветок, дерево, птица, всякое создание природы наполняли меня нежностью и восторгом. Я отдала свою девственность рыбаку в Гавре, и вся вселенная взорвалась новым откровением, не менее важным для меня, чем Откровение Иоанна Богослова.

Джордано хмуро качал головой и называл меня бесстыдницей. Он принялся вдавливать в меня богословие, так что в голове моей помутилось, и я взбунтовалась, требуя возобновить уроки истории, астрономии, латыни, поэзии. Джордано упирался. Качая головой, твердил, что я сущая дикарка, что мое место среди дикарей недавно открытого Квебека. Я воровала у него книги, окуналась в латинскую эротику, с замиранием сердца водя по строчкам онемевшим пальцем. Наступившая зима охладила мой пыл, учитель меня простил и возобновил прежние занятия, по своему обыкновению грустно качая головой. Но в глубине души я так и осталась язычницей. Даже здесь при монастыре мне лучше в поле, чем в часовне; натруженное тело пышет жаром, чем-то напоминая о том лете, когда мне было тринадцать и я была безбожницей.

Сегодня до боли натрудила спину. Покончив с прополкой пряных трав и овощей, я, подвернув юбку до колен, увязая в сизой жиже, несмотря на солнцепек двинулась к плоским соляникам. При нашем монастыре тяжелым трудом — ловлей рыбы, забиванием скота, дублением кож и работой на соленосных полях — обычно занимаются миряне, но я тяжелого труда никогда не чураюсь, он отгоняет страхи.

Из Ренна по-прежнему нет ответа, и прошлой ночью мне снились дурные сны: зловещая рука раскинула карты, на каждой — лик Лемерля. Может, я сама накликала на себя эти видения, оттого что слишком часто поминаю его в своем дневнике, но история уже, вырвавшись из-под рук, понеслась вскачь, точно резвый жеребенок. Теперь не остановишь; уж лучше дать ей волю, пусть бежит, пока не выбьется из сил.

Жанетта учила меня разгадывать сны. Сны — точно качающие нас

волны прилива, говорила она, в их глубинах чего только не плавает, какие только тайные вихри не бурлят, читать их сможет не всякий. Надо сны понимать, бояться их не надо. Знаний только дурак боится.

Первая наша зима обернулась — хуже некуда. На два месяца *Théâtre du Grand Carnaval* пришлось застрять под Витре, небольшим городком на реке Вилен. Весь декабрь сыпал снег, деньги у нас почти иссякли, пища потихоньку кончалась, у одного из фургонов потерялось колесо, и до весны уже не было надежды двинуться с места.

Наверно, всем уже было ясно, что Лемерль попрошайничать не станет. Нам он сказал, что пишет трагедию, и когда мы ее сыграем, наступит конец всем нашим бедам. Мы же в это время рылись в мусоре, подворовывали, плясали, жонглировали чуть не по колено в промерзшей грязи улиц. Женщинам доставалось денег больше, — случалось, нам даже больше карликов платили, здесь они уже не были в диковинку. Леборнь, как водится, ворчал; видно, оскорбленный до глубины души. Выручку, что мы приносили, Лемерль забирал как должное.

Раз как-то в январе, когда с оттепелью пришли дожди и грязь, красивая карета пролетела мимо нашего лагеря, устремившись в город. Потом Лемерль собрал нас всех и велел готовиться к важному представлению во дворце. Мы приехали туда, чисто вымывшись, в балетных костюмах, которые еще сохранились после нашего бегства из Парижа. В огромном трапезном зале собралось с дюжину господ, и, похоже, игра была в самом разгаре. Пахло теплым душистым вином, горящими поленьями и табаком, а посреди сидел Лемерль в пышных благородных одеждах с чашей пунша в руке. Похоже, он был с этой компанией на короткой ноге; и будто мы снова оказались в Париже. Я почувствовала опасность, и, видно, Лемерль тоже ее предчувствовал. И все же происходящее явно забавляло его.

Пухлый молодой человек, весь в розовых шелках, подавшись вперед, наставил на меня лорнет:

— Что за красotka! Подойди ближе, моя прелесть. Я не кусаюсь.

Я шагнула вперед, атласные туфельки зашуршали по натертому деревянному полу, присела в реверансе.

— Вот карта, голубка! Ну же, возьми; не смущайся!

Я чувствовала себя не слишком уверенно. После нашего бегства из Парижа я успела подрасти, юбка сделалась короче, корсаж стал туже, чем раньше. Я пожалела, что не удосужилась заранее немного распустить свое платье. Розовый господин, ухмыльнувшись, протягивал мне игральную карту, зажатую между большим и указательным пальцем. Дама червей.

Лемерль мне подмигнул, это меня приободрило. Если, подумала я, это

одна из затеянных им игр, что ж, я подшучу над этим красавчиком. По всему было видно, что остальным правила этой игры известны. Эрмине выпала тройка пик, Като — трефовый валет, а Демизелле — бубновый туз; словом, каждому из нас была присвоена карта, даже карликам, — что вызвало буйный хохот хозяев, причины которого я понять не могла. Потом мы танцевали: сперва исполнили комический акробатический номер, а после *Ballet des Gueux* в сокращенном виде.

Порой во время танца до меня доносился шорох тасуемых на столе карт, но танец был замысловатый, отвлекаться было нельзя. Лишь только когда он подошел к концу и четверо победителей поднялись, объявив свой выигрыш, до меня дошло, что это была за игра и каковы были ставки. Игроки, которым достались карлики, забавно чертыхались. Когда меня, одураченную и загнанную в угол, подвели к широкой лестнице, ведущей в будуар, я услышала за спиной, как Лемерль преспокойно предложил сыграть партию в «пикет».

Я полуобернулась на его голос. Встретившись со мной взглядом, Эрмина сдвинула брови, — она единственная из четырех танцорок понимала, что происходит. В золотистых отсветах канделябра ее лицо казалось постаревшим, нарумяненные щеки жирно блестели. Голубые глаза пристально, не отрываясь смотрели на меня. Вот тогда и я все поняла.

Бело-розовый господин, видно, заметил мою растерянность:

— Правила нарушать негоже, красotka. Я ведь выиграл, верно?

Лемерль видел, что я оглянулась. Что ему мои чувства, — не более, чем брошенная карта; в эту минуту я была для него ничто, белое пятно, мимолетность. Он отвернулся, вовлекшись в уже очередную игру. И я возненавидела его. Нет, не за последовавшую неловкую, краткую возню на кушетке. Бывало и похуже; этот вельможный слабачок выдохся довольно скоро. Просто я поняла: для Лемерля это всего лишь *игра*, и я, и все остальные всего лишь карты в его руке: либо чтобы их запустить в игру, либо, согласно правилам, отбросить за ненадобностью.

Что говорить, я снесла это, я не смогла иначе.

— Послушай, Жюльетта, думаешь, мне самому не противно? Я сделал это для тебя. Для всех вас. Мог ли я позволить вам голодать ради меня, белоручки?

Я вынула нож, острый край сверкнул серебром на темном лезвии. Рука дрожала в неукротимом желании ударить, так, чтоб потекла кровь.

— Все было бы иначе, — бросила я, — если б ты меня предупредил.

Да, это так. Поделись он со мной своим замыслом, ради него я пошла бы на все.

Он взглянул мне прямо в глаза: помедлил, взвешивая мои слова.

— Ты б не согласилась, Жюльетта, — сказал он. — Я бы не сумел тебя принудить.

— Ты нас *продал*! — Голос у меня дрожал. — Ты провел нас и продал за деньги!

Он ведь знал, ему я бы не смогла отказать. Если бы мы в ту ночь не стали ублажать вельмож, назавтра Лемерлю грозило быть пригвожденным к позорному столбу, а то и что похуже.

— Ты использовал нас, Ги! Ты *меня* использовал!

Он явно взвешивал про себя мои слова. Меня это несколько нервировало, но гнев мой был быстротечен. В конце-то концов я уже не девственница. Терять мне особо было нечего. В его руке звякнули золотые монеты.

— Послушай, Жюльетта...

Неподходящий он выбрал момент, чтоб подольститься. Лемерль потянулся ко мне, я тотчас выбросила вперед руку с ножом. Я просто хотела его отстранить, но он не успел увернуться, и острое лезвие полоснуло его прямо по ладоням.

— В следующий раз, Лемерль, — меня трясло, но сжимавшая нож рука была тверда, — в следующий раз я снесу тебе полбашки.

Другой невольно уронил бы взгляд на израненные руки, — другой, только не Лемерль. Его глаза не отразили ни страха, ни боли. Напротив, в них появилось изумление, восхищение, ликование, как от приятной неожиданности. Подобный взгляд я уже видала на его лице и раньше — за карточным столом, или при виде разъяренной толпы, или когда в свете рампы его глаза светились триумфом. Я с вызовом встретила его взгляд. Кровь капала из его сжатых кулаков на землю между ним и мной, но мы оба видели только друг друга.

— Пожалуй, любовь моя, — сказал он, — сомневаться не приходится.

— И не думай!

Алая кровь — и ни единой яркой краски; черный камзол, лицо пепельно-серое. Он сделал шаг ко мне, пошатнулся; машинально я поддержала его.

— Ты права, Жюльетта. Я должен был тебе сказать.

Меня обезоружили его слова, и это он предвидел. Продолжая улыбаться, он лишился чувств.

Я сама, приложив буквицу, перевязала его чистой холстиной. Потом отыскала коньяк и дала ему, и стояла над ним, пока он пил, в уме без конца проигрывая минувшую сцену до тех пор, пока мне не начало казаться, что

он принес себя в жертву ради всех нас, а не наоборот. Ну да, конечно, он рисковал больше нас всех. Помимо золота, вырученного за представление, — и публичное, и интимное, — Лемерль с бесстыдной ловкостью ободрал игравших с ним в карты молодчиков, в то время как Буффон с Леборнем пошарили в доме все ценное, таким образом за один визит он раздобыл ливров пятьсот, не меньше. Когда наконец жертвы поняли, что он их надул, было слишком поздно. Наша труппа уже скрылась из города, правда, рассказы и слухи о мошенничестве Лемерля преследовали нас всю дорогу до Ла-Рошели и даже дальше. Таково было начало бесконечной цепи надувательств и обманов, так что последующие полгода мы странствовали под разными именами, под разными обличьями. Дурная слава преследовала нас дольше, чем мы ожидали, но невзирая на риск и нескончаемые попытки нас поймать, нам все было нипочем. Постепенно Лемерль вырастал в наших глазах в героя, наделенного сверхъестественной силой. Казалось, он был неуязвим — и мы рядом с ним заражались его неуязвимостью. Если б его поймали, то непременно бы повесили, а для ровного счета и всех нас заодно. Но в западных землях бродячие актеры были явлением привычным, а к тому времени мы были известны как *Théâtre de la Poule au Pot*^[19], труппа жонглеров из Аквитании. Теперь уж каждый мог сказать, что от *Théâtre du Grand Carnaval* осталось одно воспоминание. Словом, мы избежали преследования — и прочих неприятных столкновений, — и на время я простила Лемерля, потому что была молода, потому что была наивна, потому что верила, что в каждом человеке есть добро и что когда-нибудь, возможно, даже Лемерль встанет на путь истинный.

Я не видала его более пяти лет. Срок немалый, конечно, пора бы уж не принимать прошлое так близко к сердцу. Возможно, его уже и нет в живых — после того что случилось в Эпинале, вполне естественно было такое предположить. Только я не могу. Все эти годы память и боль по нему я волокла с собой, как тянет собака камень, привязанный к ее хвосту. Неизвестно, сумела ли я теперь от этого освободиться.

Сегодня нам хоронить Матушку-настоятельницу. Надо непременно сегодня. Небо безжалостно ясно, сулит голубую ширь, палящее солнце. Никто, понятно, не хочет брать на себя смелость, но тело в часовне уже перезрело, забродило в своей благовонной купели. Никто не решается предавать Матушку земле, пока не появилась новая настоятельница. Но все же кому-то решение надо принять.

Вторую ночь мне не спится. Травы не могут мне помочь: ни герань, ни розмарин облегчения не приносят, лаванда не дает просветления уму.

Крутой настой белладонны мог бы вызвать перед глазами приятные картины, но на сегодня видений для меня довольно. Мне нужен покой, больше ничего. В окне высоко под потолком видно, как рассвет приоткрывает небеса, точно раковину. Рядом спит Флер, кукла подсунута под бочок, большой пальчик уютно примостился во рту. Но при всей моей усталости, сну ко мне не добраться из его далей. Я протягиваю руку, касаюсь дочки. Я часто касаюсь ее, чтоб мне и ей было спокойней, она издает прерывистый вздох сквозь сон, укладываясь калачиком в изгибе моего тела. От нее пахнет чем-то сладким и теплой хлебной опарой. Я зарываюсь носом в волосы дочурки за ушком. Там сладость и радость. Как вдруг вспыхивает внезапная тревога, словно предчувствие непонятной грядущей беды.

Обхватив дочурку руками, я снова смыкаю веки. Но покоя нет. Пять лет покоя улетучились вмиг, точно дым, — отчего? Птица, воспоминания, что-то: ухваченное краешком глаза? К тому же и смерть Матушки-настоятельницы. Но что в этом такого? Она была стара. Ее земная жизнь закончилась. Нет причин считать, что *он* и ее смерть как-то связаны между собой. А ведь Джордано учил меня, что в жизни все взаимосвязано, что все земное состоит из единого первородного праха: мужчина, женщина, камень, вода, дерево, птица. Это — ересь. Но Джордано в это верил. Когда-нибудь он отыщет его, уверял Джордано. И докажет, что его теория верна. Он найдет Философский Камень, секрет любой материи, эликсир Девяти Стихий. Все взаимосвязано: мир вращается вокруг солнца, всё возвращается на круги своя, и любое явление, сколь бы ни было мало, имеет тысячи возвратов. И я чувствую, оно приближается ко мне, как круги от брошенного в озеро камня.

Значит, и Черный Дрозд? Мы тоже связаны, он и я. Без всякой философии я это знаю. Что ж, пусть явится. И если ему суждена новая роль, пусть не затягивает, поспешит ее сыграть, ведь если я снова увижу его наяву, я убью его. Он это знает.



12 июля, 1610

Мы похоронили ее в саду среди пахучих трав. Без лишнего шума. Я посадила на могиле лаванду и розмарин, чтоб в их ароматах тлело брренное тело. Коротко все помолились за упокой души. Пропели *Kyrie eleison*^[20], но нестройно, горестно срывались голоса. Удивительно глубокая скорбь охватила нас всех, — за эти годы от нас ушло в мир иной больше десятка сестер, иные в юном возрасте, но ни одну мы не оплакивали с такой истовостью. Хотя, как же иначе? Нынешняя утрата куда значительней. Даже убийство в Париже короля Генриха, случившееся всего месяц назад, не повергло нас в большее уныние.

И раз так, то, наверное, негоже хоронить Матушку с такими скромными почестями. Без священника, без обряда отпевания. Но ждать дольше уже нельзя; вести из Ренна все не поступали, летом же труп разлагается быстрее, распространяя заразу. Большинство сестер этого не понимали, свято веря в силу молитвы, но жизнь на колесах научила меня трезво взвешивать всякие обстоятельства. «Нечистая сила — нечистой силой, — любила повторять моя мать, — но для жизни опасней грязная вода, тухлое мясо и нечистый воздух». Ее мудрость неизменно мне помогала.

Словом, мне все-таки удалось в конце концов их убедить. Как удастся всегда. Ведь и самой Матушке-настоятельнице милей были бы скромные похороны: не каменный склеп, а полотняный саван, уже покрывшийся мрамором плесени, да выбеленная сырая земля, на которой так славно родится у нас картошка.

Пожалуй, стоит посадить на ее могилке картошку, пусть картофельная плоть там, в земле, перемешается с Матушкиной, чтоб от каждого ее суставчика налился клубень, от каждой косточки взял силу росток, чтоб соль ее плоти, слившись с солью земли, взлелеяла бледные побеги новой жизни. Языческий дух; какое легкомыслие в этой помпезной обители затаенных скорбей. Что ж, мои боги с их богами не схожи. Как может быть властителем мира этот строгий судия с каменным лицом, с его бессмысленной жертвенностью, с его жизнью без радостей, с назойливым напоминанием о грехе... Лучше думать о том, как растить картошку, чем о

бесплотных небесах, об аде, не оставляющем надежд. А вестей все нет и нет.

Семь дней. Сотворение мира заняло меньше времени. Наша жизнь застряла в чистилище, замерла посреди безучастно протекающих летних дней, как роза под стеклом. Но все вокруг и без нас движется своим чередом: рост, увядание, жизнь, смерть привычно сменяют одно другое, прилив, отлив, словно у Бога свой распорядок. Запах моря, уже с легкой примесью осени, врывается в окно. Листья посерели от яркого солнца, трава выгорела до белизны. Земля распростерлась, поблескивая, широкой наковальней под молотом лета.

У меня осталась хотя бы моя работа на соляниках, деревянным скребком я счищаю сверкающую инеем корку над жижей, сгребаю в кучу поближе к себе. Работа нетрудная, думать почти не надо, и я могу поглядывать, как Флер с Переттой играют неподалеку, шумно плещутся в теплой бурой воде. В эти дни быть в поле — для других наказание, а для меня — тайная радость: солнце припекает спину, дочка рядом. Здесь я снова становлюсь сама собой, или прежней, какой себя вспоминаю. Я вдыхаю запах моря, жаркий гниловатый дух солончаков, чувствую, как задувает ветер с запада, слышу голоса птиц. Я не неженка, как иные сестры, которые хоронятся по темным углам, пугаясь яркого света. Не фанатичка, как сестра Альфонсина, которая с истовостью истязает свою плоть. Нет. Работа мне в радость. Налитые мышцы стройных ног напружинены, и я чувствую, как крепкие мускулы рук натянуты, точно щедро смазанный канат. Руки обнажены, юбка подоткнута за пояс. Забытый плат в пыли на берегу.

Я позволила себе здесь еще одно отступление от правил, кроме присутствия Флер. Я оставила длинные волосы. Явившись в монастырь, я их остригла, но они отросли снова, густые и блестящие, рыжие и жесткие, как лисья шерсть. Единственная красота, доставшаяся мне от природы. Сама я слишком рослая, телом слишком крепка, а кожа совсем потемнела под солнцем от бесконечных скитаний. Если б Лазарильо увидал мои волосы, он бы сразу вспомнил, кто я такая. В платах мы все на одно лицо. Но здесь в поле можно обойтись и без него. Никто здесь не увидит моих распущенных волос, моих сильных, оголенных плеч. Я могу снова стать сама собой; и хоть знаю, что никогда больше мне не бывать Элэ, пусть хоть ненадолго почувствую себя Жюльеттой.

Еще шесть лет пришлось мне проработать в этой труппе, которая теперь стала называться *Théâtre des Cieux*. После того, что произошло в

Витре, я ушла из фургона Лемерля. Я все еще любила его — ничего поделаться с собой не могла, — но остаться не позволяла гордость. Теперь у меня был отдельный фургон, и когда Лемерль ко мне заявился, а я знала, что так будет, я впустила его не сразу, пусть подождет, подумает. Мой отпор был не слишком тверд, но что-то меж нами поменялось, и этого пока мне было достаточно.

Мы двинулись в путь вдоль побережья, нацелившись на ярмарочные и рыночные площади, где можно было подзаработать. Когда платили мало, мы торговали целебными снадобьями и утехами любви, или же Лемерль обдирал до нитки простаков в карты или в кости. Нередко все же мы давали представления: показывали отрывки из балетов, устраивали маскарады или карнавалы, постепенно все чаще и чаще. Обучив карликов нехитрым движениям на канате, я придумала с ними танцевальный номер — ерундовый, детская забава, но деревенским жителям очень нравилось. Мало-помалу номер становился все сложнее, потом я решила поднять веревку как можно выше, и это стало началом нашего триумфа.

Сперва двое карликов держали под нами на случай срыва простыню. Но мы с каждым разом работали все рискованней; сначала отказались от простыни, потом подняли веревку еще выше, рискнули не просто ходить по ней, но плясать, кувыркаться и под конец *перелетать* с одной веревки на другую с помощью нескольких сцепленных между собою колец. Так родилась летунья Элэ.

Я никогда не боялась высоты. Признаться, я ее обожала. Стоит подняться повыше, и все под тобой одинаковы: мужчины, женщины, простолюдины, короли — будто сословия и достаток всего лишь обман зрения, а не дар Божий. На канате в меня вселялось что-то сверхчеловеческое; с каждым моим выступлением зрителей собиралось все больше. Я выступала в серебристо-зеленом трико, плащ переливался многоцветьем перьев, голову венчал высокий плюмаж, отчего я, рослая, делалась еще выше. Я, по женским меркам, слишком высока, в *Théâtre des Cieux* только Лемерль был выше, а в костюме канатной плясуньи казалась просто великаншей, и когда выступала из золотой клетки, в которой являлась перед зрителями, дети в толпе принимались галдеть и показывать пальцем, а их родители недоумевали вслух, куда такой громадине взгромоздиться на шест, не говоря уж о том, чтоб взлететь.

Канат был натянут на высоте в тридцать футов над головами зрителей: подо мной камни, земля, трава. Ошибешься — переломаешь кости, а то и убьешься насмерть. Но Элэ не ошибалась никогда. Тонкая позолоченная цепь держала меня за щиколотку, как будто не пуская рвануться и взлететь.

Рико с Базюэлем тянули цепочку за другой конец, стараясь держаться от меня как можно дальше. Порой я с рычанием притворно вырывалась, и дети со страхом взвизгивали. Но вот карлики отпускали цепь, и я вырывалась на волю.

Я делала это легко. Конечно, так только с виду казалось; малейшее движение отрабатывалось часами бесконечных тренировок. Но в эти мгновения я превосходила самое себя. Я плясала на шелковых стропах, таких тонких, что с земли они были едва заметны глазу, перемахивала со стропы на стропу с помощью сцепленных между собой колец, — этому когда-то давно, в другой жизни, обучал меня Габриэль возле повозки, крытой оранжевым холстом с тиграми и ягнятами. Иногда я пела или издавала какие-то дикие звуки. Зрители пялились, в суеверном страхе бормоча себе под нос, что, должно быть, я нездешней породы и что, не иначе, где-то в заморских землях живет племя таких огненно-рыжих гарпий, которые носятся молниями или парят в бескрайнем синем небе. Ясное дело, Лемерль не стремился их переубеждать. Да и я тоже.

Шли месяцы, годы, слухи о нас ширились, нас уже знали повсюду от Парижа до самых окраин. Я осмелела; решалась на самые дерзкие трюки. Прыжки сделались стремительней, полеты между двух шестов еще головокружительней. Я взмывала все выше и выше над толпой. Добавила новых строп на новых уровнях: качели, трапецию, подвешенную платформу. Придумала выступать среди деревьев, над водой. Я не сорвалась ни разу.

Зрители любили меня. Многие верили в сказку Лемерля, будто я — заморское чудо. Поползли слухи о колдовстве, и пару раз мы были вынуждены спешно бежать из какого-нибудь городка. Но такое случалось редко; наша слава росла, и по велению Лемерля мы снова двинулись на север, к Парижу.

Два с половиной года миновало после нашего бегства из столицы. Срок, как утверждал Черный Дрозд, достаточный, чтобы наши маленькие *contretemps*^[21] позабылись. К тому же теперь в его планы не входило заигрывать с высшим обществом; предстояло венчанье короля, и мы стали участниками общего приготовления к торжествам. Как и все прочие бродячие актеры, циркачи, музыканты, танцоры. Можно неплохо подзаработать, говорил Лемерль, а если быть посметливей и понапористей, можно даже нажить целое состояние.

Но к тому времени я уже достаточно хорошо его знала, чтоб поверить, будто все так просто. Снова появился в его взгляде знакомый блеск — азартное предвкушение риска, — возникавший у него каждый раз, когда он

замышлял опасную аферу. Словом, я с недоверием отнеслась к его словам.

— Крутит дротиком перед носом у тигра, — любил повторять Леборнь. — Все ему шуточки, только храни нас Господь, если он тигра раздражит.

Лемерль, понятно, в подобных намерениях не признавался.

— Клянусь, ничего дурного, милая Гарпия! — говорил он, но в голосе у него чувствовался плохо скрываемый смешок, и я ему не верила. — Что такое? Ты — боишься?

— Боюсь? Нет!

— Отлично. У нас нет времени на всякие сантименты.



13 июля, 1610

Элэ ликовала в зените своей славы. У нас были деньги, успех; толпа обожала нас, и мы возвращались домой. С приближением королевского венчания Париж превратился в нескончаемый карнавал; кругом бурлило веселье, вино лилось рекой, опустошались кошельки, в воздухе пахло надеждой, деньгами, но где-то в глубине притаился страх. Венчание, как и коронация, — смутное время. Вожжи ослаблены. Союзы возникают и распадаются. Нас все это в целом мало волновало. Посматривая на главных действующих лиц французского действа, мы просто надеялись, что им не до нас. Хотя достаточно было одного лишь каприза: королевский перст всемогущ, способен сокрушить целую армию. Даже умело нацеленная длань епископа могла уничтожить человека. Правда, мы в своем *Théâtre des Cieux* об этом не задумывались. Если б были поосмотрительней, мы могли бы почуять, куда ветер дует, но успех опьянял нас. Лемерль охотился на своих тигров, я же оттачивала до совершенства свой новый, сверхопасный номер. Даже скептик Леборнь утратил бдительность, так что когда, явившись в Париж, мы получили известие, что Его Величество проявил интерес к нашим выступлениям, нашему ликованию не было предела.

Последующие дни проходили, как во сне. Повидав разных королей, к королю Генриху я всегда питала особую слабость. Может, потому, что он так восторженно хлопал в ладоши в тот день, может, потому, что его лицо показалось мне таким добрым. Нынешний король, отрок Луи, вовсе не таков. Его портрет с сияющим нимбом и в окружении коленопреклоненных святых можно приобрести в любой лавке, но его болезненное личико и губки бантиком вселяют в меня страх. Что может этот мальчик знать о жизни? Разве способен он управлять Францией? Но все это еще впереди. Когда Элэ выступала в Пале-Рояле, то было мирное, послевоенное время, — такое беззаботное, такое счастливое. Само королевское бракосочетание — сам союз с Медичи был тому подтверждением. В этом мы усматривали поворот судьбы.

Поворот произошел — но не к лучшему. Ночью после нашего представления мы отпраздновали это торжество, пили вино, закусывали мясом, всякими сладостями, потом Рико и Базюэль пошли поглазеть на цирк диких зверей возле Пале-Рояля, ну а оставшиеся напились еще больше.

Лемерль же отбыл в одиночестве куда-то вниз к реке. Поздно в ту ночь я слышала, как он вернулся, а когда проходила мимо его фургона, заметила на ступеньках кровь и похолодела от страха.

Я постучала и, не услышав ответа, вошла. Лемерль сидел на полу ко мне спиной, с левого боку под рубаху было что-то подоткнуто. Испуганно вскрикнув, я подбежала к нему; он был весь в крови. Я с облегчением отметила: раз крови много, значит, рана не опасная. Короткий острый порез — вроде того, от моего ножа, — темнел у него поперек ребер, неглубокая грязная рана, примерно в десять дюймов длиной. Сперва я решила, что на него напали грабители, — человеку в ночном Париже рискованно полагаться лишь на одну удачу, — но кошелек у Лемерля оказался на месте, да к тому же лишь неопытный разбойник мог нанести такой неловкий удар. Рассказать, что произошло, Лемерль отказался, и я про себя решила, что он сам нарвался и на этот раз ему просто не повезло.

Но на этом беды не кончились. На следующую ночь кто-то, пока мы спали, поджег один из наших фургонов, и лишь случай уберег от огня все остальные. Като, которому приспичило помочиться, почуял запах дыма. Мы лишились пары лошадей, кое-каких костюмов, понятно, самого фургона и одного участника нашего номера: накануне напившийся в стельку малыш Рико так и не проснулся, несмотря на наши крики. Его приятель Базюэль попытался ринуться ему на выручку, хотя мы с самого начала понимали, что это бессмысленно: он даже близко не смог подойти, чуть не задохнулся в дыму.

Эта попытка стоила Базюэлю голоса. Оправившись, он уже не мог нормально говорить, только шептал. С того момента, думаю, он и сломался. Напивался, как свинья, постоянно лез в драку и так бездарно исполнял свою роль, что под конец нам пришлось отказаться от его участия. Когда же через пару месяцев Базюэль сам решил нас оставить, никого это особо не удивило. Велика потеря, как заметил Леборнь, ведь не плясуньи же на проволоке лишились. Карлика всегда можно заменить.

Украдкой, в мрачном настроении покинули мы Париж. Празднества еще были в полном разгаре, но теперь Лемерль и сам был рад унести отсюда ноги. Смерть Рико сказала на нем ощутимей, чем я ожидала. Он мало ел, плохо спал, рывкал на каждого, кто осмеливался с ним заговорить. Впервые в жизни я видела его таким злым. Скоро я поняла, что дело тут вовсе не в смерти Рико, даже не в попорченных костюмах, — дело было в его собственной униженности, в том, что его личный триумф не удался. На сей раз он проиграл, а больше всего на свете Черный Дрозд не любил проигрывать.

Никто ничего особенного не заметил в ту ночь, когда горел фургон. Впрочем, у Лемерля были свои подозрения, хотя он их не высказывал. Напротив, погрузился в зловещее молчание, и даже известие о том, что его заклятый враг епископ Эврё незадолго до этого попал в разбойничью засаду, не принесло ему должного утешения.

После Парижа мы подались на юг. Базюэль отсекся в Анжу, однако в последующие месяцы мы обзавелись еще двумя актерами: одноногим скрипачом Беко и его десятилетним сынишкой Фильбером. Мальчишка, точно обезьяна, бегал по высоко натянутому канату, но слишком уж был беспечен; в том же году он сильно разбился и выбыл из строя на несколько месяцев. Но все равно Лемерль оставил его у нас на следующую зиму и, хотя мальчик уже не мог перелетать с каната на канат, он продолжал кормить его и давал посильную работу. Беко был ему очень благодарен, меня же это удивляло, потому что дела наши приняли не самый лучший оборот и в средствах мы были стеснены. Ну, а Леборнь лишь пожимал плечами и бормотал что-то про того же тигра. Однако ничего из нашей благотворительности не вышло; мальчик пробыл у нас еще месяцев восемь, после чего Лемерль передал его монахам-францисканцам, направлявшимся в Париж, на их, как он выразился, попечение.

Мы двигались дальше. По всему Анжу и потом по Гаскони мы давали представления на рынках и ярмарках, помогали крестьянам, как в былые дни, собирать урожай, пережидая зиму на одном месте. На следующую зиму от лихорадки скончалась Демизель, и у нас осталось всего две танцовки — в свои тридцать Эрмина была для каната слишком тяжела, зрелище было довольно жалкое. Гислена старалась изо всех сил, но прыгать так и не научилась. И снова Элэ летала одна.

Неутомимый Лемерль опять принялся сочинять пьески. Его фарсы неизменно пользовались успехом, но по мере нашего блуждания по Франции пьесы становились все более едкими. Любимым объектом его сатиры была церковь, и не раз нам спешно приходилось сниматься с места по воле какого-нибудь оскорбленного в лучших чувствах набожного чиновника. Публике обычно нравились пьески. Злые епископы, похотливые святоши, ханжи-священники с восторгом воспринимались зрителем, а если еще в представлении участвовали карлики и Крылатая Женщина, спектакли всегда приносили хорошие деньги.

Роли священников Лемерль исполнял сам — откуда-то он раздобыл всякую церковную одежду и еще тяжелый серебряный крест, который, должно быть, стоил немалых денег, однако его он не спешил продавать, даже в самые тяжелые времена. На мой вопрос, откуда крест, сказал, что,

мол, это подарок старого парижского приятеля. Но взгляд был жесткий, а улыбка — натянутая. Допытываться я не стала; Лемерль был способен расчувствоваться по самому неожиданному поводу, но если хотел что-либо сохранить в тайне, никакие расспросы не могли заставить его развязать язык. И все же мне такая привязанность к кресту показалась удивительной — особенно если приходилось голодать, когда есть было нечего. Но после это как-то забылось.

Словом, начались наши скитания. Зимой мы подавались на юг, неизменно заглядывая на ярмарки и рынки. В самых подозрительных местах меняли обличье, но чаще всего все-таки оставались *Théâtre des Cieux*, и Элэ плясала на высоко натянутом канате, а публика била в ладоши и кидала цветы. Но при этом я чувствовала, что уже недолго мне упиваться славой; однажды, когда я повредила сухожилие, я целое лето промучилась от адских болей, — правда, мы знали, что всегда можно перейти к пьескам Лемерля. Конечно, играть их было опасней, чем плясать на канате; но они приносили хорошие деньги, особенно в гугенотских местечках.

Еще раз пять мы отправлялись на юг. Я привыкла узнавать дороги, благоприятные и опасные места. Я подбирала себе возлюбленных когда и где мне вздумается, и без оглядки на Лемерля. Он по-прежнему делил со мной постель, если я позволяла; но я стала старше, и моя рабская преданность ему переросла в более спокойное чувство. Я уже понимала, что он такое. Знала его ярость, его триумф, его радости. Я знала его и принимала таким, каков есть.

Еще я узнала, как много в нем отвратительного, как мало можно ему верить. Дважды, насколько я знаю, он убивал — однажды пьяницу, который слишком отчаянно сопротивлялся, не желая отдавать украденный кошелек, в другой раз — фермера, кидавшего в нас камни неподалеку от Руана, — оба раза втихомолку, в темноте, чтоб обнаружилось нескоро, уже после того, как мы снимемся с места.

Однажды я спросила, как ему удастся примирить такое со своей совестью.

— Совестью? — он вскинул бровь. — Ты про Господа Бога, про Судный день, что ли?

Я покачала головой. Он понимал, что не только это я имею в виду, но редко мог отказать себе в удовольствии поддеть меня за склонность к ереси.

— Милая Жюльетта, — со смехом сказал Лемерль, — если Бог и в самом деле существует на небе, — а, ежели следовать твоему Копернику, это должно быть очень и очень от нас далеко, тогда я не верю, что он

способен меня разглядеть. Для него я всего лишь жалкая песчинка. Здесь же, с моей колокольни, все смотрится совсем иначе.

Я не поняла. Переспросила.

— Словом, я не желаю быть просто фишкой в чужой игре, где ставки беспредельны.

— Да, но убить человека...

— Люди постоянно убивают друг дружку. Я по крайней мере честен. Я не делаю это во имя Господа.

Зная все, что в нем есть доброго и дурного, — так тогда мне казалось, — я все же продолжала его любить; верила, что несмотря на все его пороки, в глубине души этот человек добр, что у него честная душа, у этого вороватого черного дрозда с даром птицы-пересмешника... В том-то и заключался его талант. Он умел заставить человека видеть желаемое — свое отражение, только поверхностное, как тень на глади пруда. Глядя на него, я видела себя глупенькую и больше ничего. Мне было двадцать два года, и хоть считала себя взрослой, все еще оставалась девчонкой.

Пока не случился Эпиналь.



14 июля, 1610

Уютный маленький городок на Мозеле в Лоррэне. Мы впервые завернули сюда, решив странствовать по побережью, и сперва попали в небольшую деревушку под названием Брюйер, в паре миль от городка. Тихое место: десятка два фермерских домов, церковь, яблоневые и грушевые сады; стволы, полузадушенные омелой. Почему-то заподозрила я тогда неладное, почему именно, — припомнить не могу. То ли женщина у дороги косо и неприязненно глянула; то ли малыш на перекрестке украдкой пальцы раздвинул. Я раскинула карты, как всегда делала на всяком новом месте, но ничего кроме безобидного шута, шестерки жезлов и двойки чаш мне не выпало. Если и таилось в том предостережение, его я не увидела.

Стоял август; засушливое лето тянулось в скороспелую осень, отдавая сыростью и овеивая сладковатой прелью. Месяц назад буря и град побили созревший ячмень, и от гниющих полей разило, как из пивной. Внезапно наступившая вслед за бурей жара была нестерпима, и люди, точно сонные мухи под солнцем, тупо пилились на проезжавшие мимо наши фургоны. Все-таки нам удалось выторговать место для стоянки, и в ту же ночь мы устроили вокруг нашего костра под стрекот цикад и пенье лягушек небольшое веселое представление.

Правда, зрители подтягивались неохотно. Даже карликам едва удавалось вызвать улыбки на безрадостных лицах, кроваво мерцавших в отблесках костра; тоже немногие к нам наведывались. Судя по разговорам в пивных, единственной в этих местах потехой были казни и сожжения. Пару дней назад удавили свинью, сожравшую своих поросят; две монашки из близлежащего монастыря учинили самосожжение, подражая святой Кристине Чудотворной; у позорного столба всякий день ставили кого-нибудь. Потому едва ли жителей деревушки Брюйер, привыкших к кровавым зрелищам, могла привлечь труппа заезжих лицедеев.

Лемерль отнесся к этому философски. Бывают дни удачные, а бывают нет, говорил он. Просто жители небольших деревушек пока не привыкли к культурным зрелищам. В Эпинале все будет иначе.

Мы прибыли в Эпиналь утром в день праздника Святой Девы Марии, и город был в приподнятом настроении. Этого мы и ждали; после торжественной процессии и мессы жители разойдутся по кабачкам и

заполняют улицы, где уже всюду шли приготовления к празднику. Здесь не место для сатир Лемерля, Эпиналь слыл набожным городом, но танцы на канате и жонглеры, пожалуй, тут вполне придутся ко двору. Я уже заметила у портала церкви человека с тамбурином и флейтиста, а также шута в маске, державшего палочку с бубенчиками, и еще — нелепого среди торжества Доктора Чуму в черной длинноносой маске на выбеленном лице и в темном развевающемся плаще. Кроме этой единственной несуразности, больше ничего необычного я не заметила. Видно, подумала я, в город завернула еще одна труппа бродячих актеров, и с ними, возможно, придется делиться выручкой. Подумала — и тут же забыла. А ведь недобрых предвестий не заметить было нельзя. Черный Доктор в траурной мантии. Тревожные, даже испуганные выкрики вслед нашим фургонам. Взгляд женщины, которой я улыбнулась с козел, там и сям украдкой выставленные два растопыренных пальца...

Лемерль, видно, сразу почуял неладное. Я могла бы определить это по встревоженному блеску в его глазах, когда он проезжал сквозь толпу, его натянутая улыбка должна была бы стать для меня предостережением. У нас повелось в праздничные дни запускать в толпу гуляк наших карликов, раздавать сладости и приглашения на представление, но сегодня Лемерль подал им знак от каравана не отходить. Леборнь, шедший за моим фургоном разок пустил, точно комету, изо рта огонь. Като выкрикивал писклявым голоском:

— Актеры! Сегодня представляют бродячие актеры! Спешите увидеть Крылатую Женщину!

Но в тот день внимание толпы было, как видно, привлечено другим. Вот-вот должна была двинуться процессия со статуей Святой Девы Марии, и у церкви уже толпилась куча народу. Люди выстроились по обеим сторонам улицы, кто с образами, кто с цветами, кто с приношениями, кто с флажками. Попадались и торгующие: продавцы пирожков, колбас, пива и фруктов. Воздух был пропитан запахами дымившихся свечей, пота, жареного мяса, пахло пылью и благовониями, кожей и луком, отбросами и лошадьми. Шум стоял несусветный. Калеки и дети топились у самого входа, но народу уже поднабралось изрядно, толпа поджимала фургоны с обеих сторон, одни с любопытством поглядывали на расписные бока и яркие свисающие флажки, другие кричали, что мы перегораживаем им путь.

На меня накатил легкий дурман. Выкрики торговцев, палящее солнце, весь этот смрад уже невозможно было вынести, и я попыталась было развернуться и въехать в какой-нибудь тихий проулок. Но уже было поздно.

Подталкиваемые вперед набожной толпой наши фургоны поравнялись со ступеньками церкви почти одновременно с тем, когда настала пора трогаться процессии, несущей Пресвятую Деву. Не имея возможности тронуться ни назад, ни вперед, я с любопытством смотрела, как из главных церковных дверей на свет Божий выплывает громадный помост со статуей Богоматери.

Его поддерживало снизу человек пятьдесят. Столько же выстроилось по обе стороны, с видимым усилием подпирая плечами тяжелые длинные шесты, на которых стоял помост. Он тяжело покачивался, проходя черед дверной проем. За каждым медленным шагом из-под капюшонов несущих следовал тяжкий вздох, словно тяжесть этой ноши была им едва по силам. Святая Дева стояла на возвышении, украшенном голубыми и белыми цветами, ее расшитые одежды сверкали в солнечном свете, кисти рук были жирно смазаны маслом и медом. Впереди с кадильницей шел священник, за ним дюжина монахов со свечами, тянувших *Avé*^[22] под завывание *hautbois*^[23].

Правда, слушать эту музыку уже было недосуг. Едва появилась процессия, толпа взвыла, правоверные ринулись вперед, и нас внезапно с силой зажало в толпе.

— *Miséricorde!*^[24] — грянуло из тысячи глоток, и зловоние масла, человеческих тел и нечистот с силой ударило в ноздри, смешавшись с дымом из серебряной кадильницы, чесночным духом и святым прахом. — Помилуй! Помилуй нас грешных!

Привстав, я заглянула вперед над головами толпы. Мне стало немного не по себе: религиозный экстаз мне приходилось видеть и раньше, но нынешний показался мне каким-то лютым, истошный вой фанатиков с дикой, пронзительной силой врезался в уши. Уже не в первый раз, почти полуосознанно чувствуя под рукой недавно появившуюся округлость живота, я подумала: не пора ли положить конец бродячей жизни, пока она не встала поперек горла? Мне шел двадцать третий год. Уже не девочка.

Черный Доктор взметнул своим плащом, тот вздулся пузырем между ним и толпой, освободив проход, и он рванулся вперед, и крики стали громче, и некоторые, устремившись за ним, пали на колени.

— *Miséricorde!* Помилуй нас грешных!

Мы уперлись почти в самую процессию, отступать было некуда, я осторожно правила жеребцом, он опасливо топтался на месте среди наседавшей толпы, грозившей опрокинуть фургон. Богоматерь медленно, кренясь, точно груженная баржа, плыла в потоке людей. Я увидела, что

многие из тех, кто нес помост, босы, как кающиеся грешники, хотя в праздник Святой Девы это было странновато. Монахи были в капюшонах, как и несущие, но один на моих глазах приподнял капюшон, приоткрылась красная то ли от пьянства, то ли от усердных потуг физиономия.

Мы с жеребцом замерли на месте. Помост, покачиваясь, проплывал мимо, и лицо Богоматери оказалось у меня прямо перед глазами, так близко, что я видела вековую пыль, сверкнувшую в закоулках ее позолоченного венца, облупившуюся краску на ее розовой щеке. В уголке голубого глаза примостился паучок; внезапно он стал сползать ей на щеку. Никто, кроме меня, его не заметил. Богоматерь проследовала мимо.

И грянуло столпотворение. Одни кидались на колени, невзирая на давление толпы, увлекая за собой шедших рядом. Другие, стойко смыкая ряды, шагали по головам упавших, заглушая их крики.

— *Miséricorde!* Помилуй нас грешных!

Слева от меня женщина, закатив глаза, повалилась навзничь в толпу. На какое-то мгновение ее, точно статую, подняли вверх, и она беспомощно плыла на подставленных снизу руках, потом скользнула вниз; люди шли не останавливаясь.

— Эй! — крикнула я. — Там человек на земле!

Из водоворота снизу вверх ко мне повернулись бесстрастные лица. Будто не слыша моих слов. Я щелкнула кнутом поверх голов; жеребец, выкатив глаза, натянул поводья и дернулся, чтобы устоять на месте.

— У вас женщина под ногами! Расступитесь, поимейте милосердие! Расступитесь же!

Мой фургон уже отнесло вперед. Затаптанная женщина осталась где-то позади, а сбившиеся в кучу люди тупо глазели на высвободившееся после меня место. Внезапно в толпе наступило некоторое затишье, вопли слились в гул, в котором различимо было короткое *Avé*, и мне показалось, будто в устремленных на меня лицах мелькнула какая-то надежда, нечто даже сродни умиротворению.

Как вдруг все надежды рухнули.

Если б это был кто-то другой, никто бы падения не заметил. Потом уже я узнала, что во время торжеств четверых задавила толпа, ногами ревностных верующих и пьяниц их головы были разможены о камни мостовой. Но святая процессия шла вперед и вперед, тяжело продвигаясь сквозь толпу, отступавшую в благоговении под взмахами кадильниц. Как он упал, я не видела. Но услышала крик, сначала один, который, внезапно подхваченный хором, мгновенно перерос в оглушительный вой, какого я в жизни своей не слыхала. Отскочив назад и ступив на ось колеса, я увидала,

что произошло, но даже и в тот момент не осознала всего кошмара случившегося.

Это рухнул шедший в хвосте процессии монах. От жары, пронеслось у меня в голове, или, может, надышался парами кадьницы. Упавшего обступили; рванули на нем рясу, мелькнул краешек обнажившегося тела. Внезапно обступившие, охнув, с воем ринулись обратно, легкими волнами всколыхнув толпу.

В считанные секунды волны с нарастающей мощью откатились назад, развернули толпу, и теперь вместо того, чтобы толкаться за процессией, люди с удвоенной силой принялись пробиваться в обратную сторону. Наши фургоны закачало в возобновившемся водовороте, иные из толпы в отчаянном порыве даже пытались влезть в фургон. Процессия вмиг утратила свою святость. Ряды дрогнули и в нескольких местах рассыпались. Дали деру в общей суматохе иные из тех, кто нес Богоматерь, ее перекосило, венец слетел с головы.

И тут раздался крик: пронзительный вой отчаяния и страха, он, точно призывный горн, заглушил все остальное:

— *La peste! La peste!*

Я напрягла слух, чтоб разобрать слова на незнакомом диалекте. Эти непонятные слова занялись в толпе, точно пламя летнего пожара. Одни кулаками пробивали себе путь к бегству, другие карабкались на стены домов, стоявших вдоль улицы, — иные даже, как безумные, прыгали с моста. Я привстала, чтоб получше рассмотреть, что происходит, и увидела, что меня оттеснили от других фургонов. Впереди сквозь толпу было видно, как Лемерль стегал по бокам свою кобылу, понукая рвануть с места. Но толпа поджимала с обеих сторон, раскачивая фургон, отрывая колеса от земли. Еле различимые из общей массы пилились на меня чьи-то лица. Встретившись взглядом с молоденькой девчонкой, я в изумлении увидела ненависть в ее глазах. Круглая физиономия с пылающими щеками была искажена ужасом и злобой.

— Ведьма! — крикнула она мне. — Отравительница!

Сказанное, точно зараза, перекинулось на остальных. Крик пролетел через меня, точно камень через озеро, набирая скорость, метя в цель. Ненависть надвигалась, точно волна прилива; и накатила на меня, грозя взметнуть фургон над мостовой.

Я пыталась сдержать жеребца; от природы он был смирный, но девица с силой огрела его по боку, и жеребец взвился на дыбы, вскинув вверх передние ноги с тяжелыми подковами. Девица завопила; я натянула поводья, чтобы не дать лошади затоптать впереди стоящих. Это стоило мне

немалых усилий и выдержки, — но животное было напугано, мне пришлось, чтобы его успокоить, быстро прошептать ему в ухо особое заклинание, — за это время девица растворилась в толпе, и дикая волна ненависти устремилась вслед за ней.

Между тем Лемерлю, который был впереди, приходилось круто. Я видела, как он что-то выкрикивает, его голос тонул в многочисленном реве, это происходило слишком далеко, я ничего понять не могла. Его лошадь, нервная кобыла, была ужасно напугана. Ее ржание перекрывали выкрики: «Колдун! Отравитель!» Лемерль пытался успокоить лошадь, но у него никак не получалось; один, отрезанный от всех остальных, он хлестал направо и налево над толпой своим кнутом, пытаясь заставить людей расступиться. И тут ось фургона не выдержала, треснула, фургон рухнул, и тотчас десятки рук, невзирая на удары кнута Лемерля, ухватились за борта. Теперь уже Лемерлю некуда было деться. Кто-то кинул в него комом земли, угодив прямо в лицо. Он зашатался; множество рук тянулось стащить его с козел. Кто-то попытался вмешаться, должно быть, из местной власти: мне показалось, что я слышала едва различимые окрики: «Довольно! Остановитесь!» — как только боковые потоки слились в один.

Видя все это, я не переставала что есть силы орать, пытаясь отвлечь на себя внимание; я понукала жеребца вперед, прямо на тех, кто толпился передо мной. Лемерль увидел, что я пробиваюсь к нему, усмехнулся, но я не успела до него добраться, толпа навалилась на него. Он оказался на земле, и со всех сторон на него посыпались удары. И его уже не было видно.

Я уже была готова соскочить и броситься к нему на помощь, хоть его снова отнесло далеко, но Леборнь, прятавшийся внутри фургона, пока я прорывалась сквозь толпу, удержал меня за руку.

— Не глупи, Жюльетта, — хрипло прошептал он мне в ухо. — Ты что, не соображаешь, что происходит? Ты разве не слышишь?

Я глянула на него безумными глазами:

— Там Лемерль...

— Лемерль позаботится о себе сам. — Рука карлика сжала мне плечо; несмотря на свой малый рост, пальцы у него были железные, было больно.

— Вслушайся!

Я вслушалась. Я по сей день слышу этот крик. Разбухая от топота множества ног, он размеренно отзывался в ушах, точно вопль восторженных зрителей, вызывающих любимую комедиантку:

— *La peste! La peste!*

Только теперь я все поняла. Взрыв ужаса; упавший монах; обвинение в

колдовстве. Увидев мои расширившиеся глаза, Леборнь кивнул. Мы смотрели друг на друга, и нам уже было не до слов. А вокруг гремели, набирая силу, вопли:

— *La peste!*

Чума.



16 июля, 1610

Толпа наконец рассосалась, я осталась одна, продолжая с трудом приводить в чувство своего испуганного жеребца. Буффон, попридержав своего, поравнялся с моим фургоном. Эрмина, фургон которой чуть было не перевернулся, когда она проезжала по мосту, стояла в растерянности, уставившись на обломки разбитого колеса. Других наших видно не было. То ли и их схватили, как Лемерля; то ли они сбежали.

Я пренебрегла предостережениями Леборня. Выскочив на дорогу, я помчалась вслед за процессией. Часть несущих уже испарилась; оставшиеся с трудом пытались, чтобы Богоматерь не скатилась вниз, опереть помост с Пресвятой Девой о край большого мраморного фонтана, занимавшего собой всю площадь.

Посреди дороги валялись трупы ревнителей веры, задавленных или растоптанных толпой. Рядом лежал опрокинутый фургон Лемерля. Владельца ни живого, ни мертвого видно не было.

— *Mon père*^[25], — обратилась я к священнику, стараясь совладать с собой. — Вы не видели, что тут произошло? Мой приятель ехал в этом фургоне.

Священник взглянул на меня, но не сказал ни слова. Лицо у него было желтое от пыли.

— Прошу вас, скажите! — еле сдерживаясь, вскричала я. — Он никому не причинил зла. Он только хотел защититься!

Женщина в черном, одна из тех, кто нес Богоматерь, с презрением бросила:

— Не волнуйся, он получит по заслугам!

— Как ты сказала?

— И он, и вы, вся его братия! — Я едва разбирала грубый местный говор. — Мы видали, как вы отравляли колодцы. Нам было знамение.

За ее спиной вышел из бокового проулка Доктор Чума, черный плащ взметнулся на фоне стены. Женщина в черном его заметила, и снова я увидела растопыренные украдкой два пальца.

— Послушай, я только хочу найти своего приятеля. Куда его повели?

Женщина язвительно рассмеялась:

— Как это «куда»? В суд! Теперь-то он не улизнет. Ни один из вас, чумной заразы, не уйдет.

— Что ты несешь!

Должно быть, я рывкнула достаточно грозно: женщина тотчас отскочила, дрожащей рукой наставив на меня два растопыренных пальца.

— *Miséricorde!* Господь защитит меня!

Я быстро шагнула к ней:

— А это мы сейчас проверим!

Как вдруг рука Доктора Чумы легла мне на плечо, и он приглушенно зашептал мне в ухо из-под своей длинноносой маски:

— Спокойно, девушка. Слушай меня!

Я попыталась вырваться, но рука неожиданно цепко держала меня за плечо.

— Здесь небезопасно, — прошипел Доктор. — В прошлом месяце судья Реми сжег на этой площади четырех ведьм. Погляди, на камнях еще не стерлись сальные пятна.

Сухой шепот показался мне удивительно знакомым.

— Кто ты?

— Тише!

Он отвернулся, набеленные губы едва шевельнулись.

— Я уверена, что тебя знаю!

Что-то было знакомое в этих тонких, скривившихся в ниточку, точно старый шрам, губах. И этот запах пыли и химикалий, исходивший от его плаща...

— Разве нет?

Из-под маски Доктора Чумы последовало предостерегающее шипение:

— Умоляю, девушка, тише!

Снова этот знакомый голос, четкий, ясный выговор человека, знающего многие языки. Он снова повернулся ко мне, и я увидела его глаза, старые, печальные, как у обезьяны в клетке.

— Они ищут виновного, — резким шепотом бросил он. — Беги отсюда немедленно. Даже на ночь не смей оставаться.

Конечно же, он был прав. Актеры, путники и цыгане отлично подходят на роль козлов отпущения во время всякой беды — неурожая, голода, дурной погоды или чумы. Я поняла это еще в четырнадцать лет во Фландрии; в Париже — тремя годами позже. Это знал и Леборнь, — и слишком поздно узнал об этом Рико. Время от времени в наших скитаниях по Франции нас преследовала чума, но к тому времени болезнь пошла на спад. За последнюю эпидемию она изжила себя полностью, немногие

гибли от нее, лишь старики да калеки, но в Эпинале это стало последней каплей, переполнившей чашу невзгод. Недойные коровы и козы, загубленный урожай, гниющие плоды, бешеные собаки, невиданная жара, — и вот: чума. Кто-то должен был за это поплатиться. Без толку объяснять, насколько это нелепо. Что чуме требуется больше недели, чтоб развиться в полную силу, а мы не пробыли в городке и часа. Что через воду она не передается, даже если б мы сунулись в их колодцы.

Но я поняла, что к голосу разума никто здесь прислушиваться не станет. Колдовство было для них виной всем бедам. Колдовство и отравительство. Этому научило их Священное Писание. Чему же еще, как не ему, верить.

Вернувшись к своему фургону, я обнаружила, что исчез Леборнь. Исчезли также и Буффон с Эрминой, прихватив с собой все, что сумели, из своего барахла. Я не винила их в бегстве — совет Доктора был вполне справедлив, — но сама я не могла оставить Лемерля на милость толпе. Назовите это чувством долга или глупостью и безрассудством, только я оставила фургон посреди улицы, подвела жеребца к фонтану и пошла вслед за толпой в здание суда.

Там уже было полно народу. Люди толпились в дверях, заполнили лестницы, карабкаясь друг на дружку, чтоб увидеть и услышать, что происходит. Городской пристав стоял на возвышении и пытался перекричать толпу. По обе стороны от него выстроились вооруженные солдаты, среди них стоял бледный, но не утративший самообладания Лемерль.

Я с радостью отметила, что он все-таки на ногах. Все лицо было в кровоподтеках, руки связаны, но, видно, местные власти вовремя вмешались, не довели до греха. Это был добрый знак; значит, какой-то порядок существует и кое-кто здесь способен прислушиваться к здравому голосу. По крайней мере, я на это надеялась.

— Люди добрые! — Пристав воздел свой жезл, призывая к тишине. — Ради Бога, дайте хоть слово сказать!

Пристав был маленький, толстенький, с роскошными усищами и тоскливым взглядом. По виду — ни дать ни взять виноградарь или торговец зерном, каких я видала множество в то лето; даже от самых дверей огромного зала суда, наводненного народом, даже сквозь лес вздымаемых вверх кулаков было видно, что маленький пристав дрожит, как осиновый лист.

Шум несколько поубавился, но не прекратился вовсе. Раздались даже отдельные громкие выкрики:

— На виселицу отравителя! На виселицу колдуна!

Пристав нервно потер ладошки.

— Спокойствие, добрые жители Эпиналя! — прокричал он. — Ни я, ни вы не имеем права допрашивать этого человека!

— *Допрашивать!* — рявкнул кто-то хрипло из глубины зала. — Это еще зачем? Веревку ему, да сук покрепче, только и всего.

Зал одобрительно загудел. Пристав замахал руками, призывая к спокойствию:

— Нельзя ни с того ни с сего вешать человека. Мы даже не знаем, виновен ли он. Только судья может...

Хриплый голос снова оборвал его:

— А как же предзнаменования?

— Вот именно, были предзнаменования!

— Как насчет чумы?

Снова пристав призвал зал успокоиться.

— Я не вправе принимать решение! — Голос его дрожал, как и его руки. — Только судья Реми может!

По-видимому, упоминание имени судьи Реми возымело тот эффект, которого сперва не смог добиться пристав, шум сменился сердитым ропотом. Вокруг меня одни осеняли себя крестом. Другие растопыривали два пальца. Я подняла глаза и поймала взгляд Лемерля — я почти на полголовы была выше большинства в зале — и увидела, что он улыбается. Мне была знакома эта улыбка; видала ее не раз, даже не упомяну сколько. Это был взгляд игрока, ставящего на последний грош, комедианта, готового исполнить коронную роль, роль всей своей жизни.

— Судья Реми? — Голос Лемерля легко прокатился по всему залу. — Я слышан о нем. Человек он, по всему видно, достойный.

— Извел две тысячи ведьм в девяти кантонах! — отозвался хриплый голос в конце зала, головы повернулись назад.

Лемерль и бровью не повел:

— Тогда жаль, что его сегодня здесь нет.

— Погоди, скоро приедет!

— Чем скорей, тем лучше.

Горожане слушали, невольно охваченные любопытством. Теперь, завладев их вниманием, Лемерль обрел силу, с которой те уже не могли не считаться.

— Опасные нынче времена, — сказал он. — Ваша подозрительность вполне понятна. Где сейчас судья Реми?

— Будто ты не знаешь! — пробубнил тот же голос, но уже без

прежнего пыла, и некоторые на него громко зашикали:

— Заткнись! Послушаем, что он скажет!

— Небось уши не отсохнут!

Пристав пояснил, что судья в отъезде по делу, но должен вернуться со дня на день. Но смутьян что-то выкрикнул снова, головы гневно обернулись на крик, правда, никто толком не разобрал, что именно тот кричал.

Лемерль улыбнулся.

— Добрый народ Эпиналя! — произнес он, не повышая голоса. — Я с дорогой душой отвечу на все ваши обвинения. Я даже, пожалуй, прощу вам грубое со мной обхождение, — он указал на изуродованное кровоподтеками лицо, — ведь разве не призывал нас Господь подставлять другую щеку?

— И дьявол, если захочет, прикинется благочестивым! — снова взорвался смутьян, уже приблизившись к возвышению, но все еще неразличимый в нагромождении лиц. — Я погляжу, не лопнет ли твой язык от сладких речей!

— Гляди себе на здоровье! — мгновенно парировал Лемерль, и голоса, которые только что сливались в обвинительный хор, теперь зазвучали в его поддержку. — Пусть я человек недостойный, но давайте же вспомним, чьей воле служит здешний суд. Не судье Реми, но тому, кто наш высший судия. И прежде чем приступить, давайте же вознесем молитвы Ему, чтоб спасал и сохранял нас в эти тяжкие времена.

И с этими словами Лемерль вытянул из-за пазухи и воздел вверх в связанных руках свой серебряный крест.

Я втайне улыбнулась. Им невозможно было не восхищаться. Послушно опустились головы, бледные губы зашевелились, произнося *Paternoster*^[26]. Прилив повернул в нужную Лемерлю сторону, и когда снова прозвучал всем уже знакомый хриплый голос, его заглушил шквал негодующих выкриков, но и опять установить, кто именно кричал, не удалось. В глубине зала начались потасовки, каждая сторона обвиняла другую в подстрекательстве. Пристав беспомощно грозил кулаком, и теперь уже Лемерлю пришлось призвать всех к порядку.

— Требую уважения к здешнему суду! — резко сказал он. — Не проделки ли это Лукавого, сеющего раздор, побуждая честных людей тузить друг дружку, выставляя на посмеище праведный суд? — Зачинщики сконфуженно отступили, стало тихо. — Разве не то же самое происходило всего насколько минут назад на рыночной площади? Неужто вы уподобились лютым зверям?

Наступила мертвая тишина, даже смутяян не осмелился ее нарушить.

— Лукавый засел в каждом из вас, — произнес Лемерль, понизив голос до театрального шепота. — Я вижу его. *Ты!* — он указал пальцем на здоровяка со злобной красной рожей. — В тебя он вселил Похоть. Я вижу ее, она, свернувшись клубком, притаилась в глазах твоих. И ты, — обратился он к востроносой женщине, стоявшей перед ним, к той, что истошней всех клеймила его, пока он не склонил толпу на свою сторону. — Я вижу в тебе алчность и недовольство. И в тебе, и в тебе, — Лемерль припечатывал теперь уже в полный голос, указывая пальцем на всех подряд. — Я вижу корыстолюбие. Злобу. Жадность. Гордыню. *Ты* лжешь своей жене. *Ты* обманываешь мужа. *Ты* ударил соседа. *Ты* усомнился в истинности Спасения.

Он обрел над ними власть; я видела это по их глазам. Но даже и теперь, одно неосторожное слово — и они без жалости набросятся на него. Лемерль тоже это понимал; глаза его возбужденно сверкали.

— И *ты!*

Теперь его палец указал в центр зала, затем взмахом обеих рук он заставил толпу расступиться.

— Да, да, ты, который прячется в тени! Ты, Ананий, ты, лживый обличитель! Я вижу тебя, не скроешься!

Десять ударов сердца в полной тишине, все взгляды устремились в образовавшийся просвет. И тут мы увидали злопыхателя, до сих пор остававшегося невидимым: отвратительный урод притаился в тени на корточках. Громадная голова, руки, как у гориллы, единственный глаз горит огнем. Стоявшие ближе остальных отпрянули еще, и в этот самый момент уродище кинулось к окну, вспрыгнуло на высокий подоконник, шипя от ярости.

— Дьявол тебя побери, ты обскакал меня на этот раз! — прокричало оно хрипло. — Но ты еще у меня попляшешь, Братец Коломбэн!

— Боже милостивый!

Все, кто был в зале, повернувшись, в изумлении и отвращении своими глазами увидели наконец того, кто оглашал их собственные черные мысли.

— Чудовище!

— Дьявольское отродье!

Одноглазый страшила исторг пламя из отвратительной пасти и выкрикнул:

— Погоди, Коломбэн! Пусть ты победил здесь, ничего, в Ином Месте мы с тобой еще встретимся!

И существо скрылось, спрыгнув с подоконника вниз, во двор, оставив

по себе лишь дым да душок жженого масла.

Все смолкли, потрясенные. Пристав, разинув рот, глядел на пленника:

— Боже Милосердный, я видел это своими глазами! Воистину так, прости Господи! Дьявольское отродье!

Лемерль повел плечами.

— Но он вас знает, — продолжал пристав. — Он говорил, вроде, вы будто уже встречались.

— И не раз, — сказал Лемерль.

Пристав уставился на него как замороженный.

— Так скажите же, господин, — произнес он наконец, — кто вы такой?

— Скажу, — ответил Лемерль, улыбка заиграла на его лице. — Но сначала буду признателен, если кто-нибудь поднесет мне кресло. Кресло и стакан коньяка. Я устал, я приехал издалека.

Он сказал им, что путешествует, что прибыл в Эпиналь, едва слышал о славных делах здешнего праведного судьи. Вести о его ревностном служении, сказал Лемерль, облетели всю страну. Сам же он прервал свою жизнь в уединении монастыря монахов-цистерцианцев, чтоб разыскать этого замечательного человека и предложить ему свои услуги. Лемерль расписывал видения и предзнаменования, чудеса и стычки с хулителями Господа, которые выпали ему во время странствий. Рассказывал всякие ужасы про шабаш, про евреев и идолопоклонников, про избиение младенцев, отравленные колодцы, изведенное проклятием зерно, погубленные порчей урожаи, пораженные молнией храмы, усохших в материнской утробе или задушенных в колыбели малюток. Уверял, что все это он лично видел. Желает ли кто это оспорить?

Ни один не пожелал. Они видали Дьявольское Отродье собственными глазами. Из его пасти вырвалось явное доказательство. Тут же Лемерль наплел им байку про Братца Коломбэна, человека, которого благословил Господь, призвав стирать с лица земли исчадия ада, всякий раз, когда они встают у него на пути. В своих одиноких, голодных скитаниях по всему свету он всякий раз изобличал происки Лукавого и единственной наградой видел для себя поражение Сатаны. Потому и неудивительно, что здесь его приняли за какого-то цыгана, поскольку он прибил к бродячим актерам, как к временным попутчикам в странствиях. Увидев, что народ Эпиналя в смятении, Дьявольское Отродье замыслил над ними подшутить, но, хвала Господу, потерпел провал и на свою голову показал свое истинное лицо.

Конечно же, я узнала Леборня. Умение изменять голос было еще

одним из множества способностей карлика, и он порой с большим успехом пользовался этим свойством. Должно быть, еще до моего прихода он проник в зал суда, став тайным сообщником Лемерля в толпе. Этим трюком часто пользуются фокусники и карнавальные маги; мы сами испробовали его не раз в своих представлениях. Леборнь был великолепный актер; жаль, что из-за коротеньких ножек он никогда не мог исполнять что-либо, кроме бурлесков и акробатических номеров. Я поклялась себе, что с этого момента буду с ним ласковей. У него, несмотря на внешнюю ворчливость, оказалось преданное сердце, и в этом случае, наверно, именно его храбрость и сообразительность спасли Лемерлю жизнь.

Между тем, судя по всему, снова Лемерль оказался во власти алчущей толпы. Однако теперь уже люди не жаждали его крови, наоборот, казалось, все теперь жаждут его милости. Отовсюду к нему тянулись руки, хватали его за одежду, гладили, — один даже жал ему руку, в тот же миг каждый в зале кинулся жать руку тому, кто только что прикоснулся к святому человеку. Лемерль, понятно, наслаждался этим спектаклем.

— Благослови тебя Господь, брат! Сестра!

Мало-помалу едва заметно в его благочестиво-монотонной интонации стало проскальзывать что-то базарное. В глазах заплеснул дерзкий огонь. Дай Бог, чтоб люди приняли это за истовость веры. А потом, может, просто из озорства, может, оттого, что Черный Дрозд никогда не умел устоять перед соблазном испытать судьбу, его понесло и дальше.

— Вам повезло, что я явился в Эпиналь, — нагло заявил он. — Здесь все пропитано пороком, даже небо свинцово во грехе. Если к вам нагрянула чума, спросите себя — почему. Вам следует знать, что чистые душой не допустят проделок Лукавого.

В ответ последовало смущенное бормотание толпы.

— Подумайте сами, отчего я странствую и не чувствую страха, — продолжал Лемерль. — Задайтесь мыслью, отчего я, простой священник, способен вот уже сколько лет противостоять проискам ада. — Его слова достигали каждого, хотя говорил он тихо и вкрадчиво. — Много лет тому назад один святой человек, мой наставник, придумал зелье от всяческих сатанинских нападков: греховных видений, дьявола в образе женщины, злых духов, болезней и пагубы для разума. Надо перегнать в святой воде с солью двадцать четыре разных настоя целебных трав, потом освятить двенадцатью епископами и пить по малой капле... — Он сделал паузу, чтобы насладиться ошеломляющим эффектом, которые произвели его слова. — Последние десять лет этот эликсир берег меня от беды, — продолжал Лемерль. — И я не знаю иного места, где он был бы столь же

необходим, как сегодня в Эпинале.

Я могла бы предвидеть, что Лемерль на этом не остановится. Зачем это ему, спрашивала я себя. Что это, месть, насмешка над доверчивой толпой, чистое упоение новой ролью святого? Или он усмотрел в этом способ подзаработать? А может, просто торжествовал победу?

Со своих дальних подступов я колюче на него взглянула, но он заливался соловьем, и остановить Лемерля было уже невозможно. Все же он заметил мой предостерегающий взгляд и усмехнулся.

Правда, есть одна загвоздка, сказал он. Он готов раздать зелье безвозмездно, но у него при себе всего одна фляга. Можно бы приготовить еще, но травы эти редкие, их трудно разыскать, к тому же обращение к двенадцати епископам также займет время. Поэтому, хоть у него и язык не поворачивается просить, но небольшой взнос с каждого он бы с благодарностью принял. А затем, если бы каждый из добрых жителей этого города принес по бутылке чистой воды или вина, он бы с помощью некоторого приспособления смог бы каждому приготовить слабый раствор...

Желающих обнаружилось множество. До заката тянулась к нему вдоль улицы очередь с бутылками и склянками, и Лемерль, вооружившись стеклянной палочкой, каждому с учтивостью, торжественно отвешивал по капельке прозрачной жидкости. Ему платили серебром и натурой. Жирная утка, бутылъ вина, пригоршня монет. Некоторые в страхе перед чумой тут же выпивали смесь. Многие приходили еще раз, мгновенно усмотрев чудесные перемены в собственном здоровье, правда, Лемерль из чувства справедливости просил их подождать добавки, пока каждый из горожан не получит свою долю.

Невыносимо было наблюдать его самодовольное фиглярство. Я ушла, разыскала своих и помогла им разбить лагерь. С негодованием я обнаружила, что наши фургоны за день оказались разграблены, а порванные и измазанные в грязи пожитки расшвыряны по ярмарочной площади. Хотя, сказала я себе, могло быть и хуже. Хоть особых ценностей у меня не было, серьезной потерей стала для меня утрата моей шкатулки с травами и снадобьями. Но то, чем больше всего я дорожила, — колоду карт Таро, изготовленных для меня Джордано, да несколько книг, что он мне оставил, когда мы расстались во Фландрии, — я обнаружила в целости и сохранности в одном из проулков, куда их закинули мародеры, не увидевшие надобности в этих предметах. И еще успокаивала я себя: что такое порванные костюмы в сравнении с богатством, которое мы заполучили нынче? Лемерль набрал сегодня днем, наверное, раз в десять

больше того, во что обойдется новое убранство. Может, задумчиво прикидывала я, нынешней моей доли хватит, чтобы купить немного земли, построить домик...

Чуть округлившийся живот был еще не так велик, чтобы помышлять об этом, но я уже знала, что через шесть месяцев Элэ уже надолго будет привязана к одному месту, и что-то подсказывало мне, что пора уже сейчас, пока я еще что-то для него значу, начать переговоры с Лемерлем. Я восхищалась им, я все еще любила его, но не верила ни единому его слову. О моей тайне он ничего не знал, ведь если б узнал, не колеблясь использовал эту новость в своих целях.

И все же, представить, что я его бросаю, было нелегко. Я столько раз подумывала об этом — раз или два уж и пожитки собирала, — но до сих пор вечно находилась причина, не пускавшая уйти. Наверное, жажда приключений. Нескончаемых и разных. Мне сладки годы, проведенные с Лемерлем. Мне сладко быть Элэ. Мне сладки были наши пьесы и сатиры, сладок полет фантазии. Но сейчас, острее, чем всегда, я чувствовала, что всему этому приходит конец. Малютка во мне уже как будто начинала предъявлять свои права, и мне становилось ясно, что такая жизнь не для нее. Лемерль никогда не прекратит свою охоту на тигров, и я знала, что в один прекрасный день его безрассудство доведет нас до опасной черты, и его последняя игра пыхнет ему прямо в лицо, как горячая смесь Джордано. Так почти и случилось в Эпинале; лишь случай уберег нас. Долго ли еще будет светить ему удача?

Уже запоздно Лемерль, собрав свои трофеи, покинул зал суда. Отказался останавливаться в гостинице, сославшись на то, что более привык к походным условиям. Поляна возле городских ворот послужила нам местом для лагеря; измученные, мы располагались на ночлег. Перед тем как свернуться комочком на матрасе из конского волоса, я в последний раз погладила чуть округлившийся живот. «Завтра», тихонько пообещала я себе.

Завтра я оставляю его.

Ни единая душа не слыхала, как он уехал. Наверно, обвязал тряпками подковы лошади, обвил лоскутами сбрую и колеса фургона. Может, предрассветная мгла укрыла его пеленой, приглушив шум его побега. Может, я просто слишком устала накануне, слишком была занята собой и своим будущим ребенком, чтоб прислушиваться: на месте ли он. До той ночи между нами существовала какая-то прочная связь, мощнее, чем моя прежняя пылкая влюбленность или те ночи, когда мы любили друг друга.

Мне казалось, я его знаю. Мне были известны его причуды, его игры, внезапные приливы жестокости. Ничто в нем уже не могло ни удивить, ни поразить меня.

Когда я поняла, что заблуждалась, оказалось слишком поздно. Птичка улетела, наш обман был раскрыт, Леборнь с перерезанной глоткой лежал под фургоном и среди обманчивого рассвета солдаты новой инквизиции поджидали нас с самострелами, дубинками и мечами, с цепями и веревками. Мы все упустили из виду в своих расчетах одно обстоятельство, одну малость, которое вмиг обратило все наше торжество в прах.

Ночью домой вернулся судья Реми.



17 июля, 1610

От того дня мало что осталось в моей памяти. Любой обрывок — как нож по сердцу, но иногда прошлое является мне в застывших картинах, как в свете волшебного фонаря. Руки стражников, выволакивающие нас из постелей. Леборнь, найденный с перерезанным горлом. Падающая наземь, срываема с нас одежда. Но больше всего запомнились звуки: фыркание лошадей, звяканье сбруи, смятенные вскрики и громовые приказания, вырывавшие нас, беспомощных, из сна.

Слишком поздно я поняла, что происходит. Если бы сообразила раньше, сумела бы удрать под покровом мглы в общей суматохе — отважней всех, как дьявол, отбивался Буффон, и несколько стражников оставили нас, навалились на него, — но я все еще воспринимала происходящее как в тумане и ждала, что вот-вот появится Лемерль и придумает, как нас высвободить; но время уходило вместе с этой надеждой.

Он нас бросил. Сам спасся; видно, почувствовал приближение опасности, знал, если мы затеем бежать толпой, его, скорее всего, поймут. Леборня, который, видно, учуял его вероломство, было опасно оставлять живым. Карлика нашли под фургоном с перерезанным горлом, с обезображенным лицом. Остальных — женщин, цыган, карликов, всех, кого легко заменить, — Лемерль швырнул под ноги своим преследователям, как пригоршню монет. Выходило по всему, что Лемерль нас продал. Уже в который раз.

Только слишком поздно я это осознала. Нас заковали в кандалы, повели одной цепью, по обеим сторонам шагали вооруженные стражники. Эрмина рыдала в голос, волосы упали ей на лицо. Я шла за ней, гордо расправив плечи. Буффон хромал сзади, кривясь от боли. Стражник с моей стороны — жирная свинья с сальными глазками и ртом-пуговкой, — похотливо забормотав, потянулся рукой к моей щеке. Я с ненавистью сверкнула на него глазами, жаркими и сухими, точно раскаленные камни.

— Посмей хоть пальцем тронуть, — еле слышно выдохнула я, — мигом хотелка отсохнет, я ведь не проста, знаю нужное слово...

— Ты свое, сучка, получишь, — огрызнулся стражник. — Уж я позабочусь.

— Кто б сомневался, скотина! А про словечко-то помни!

Глупо было мне ему угрожать. Но меня всю трясло от ярости. Казалось: если смолчу — разорвет на части.

Снова и снова в голове кругами, точно тупой мул за колесом, медленно по ходу выстраиваясь, тянулась мысль: как он мог так поступить? Со мной! Ладно, с Эрминой, ладно, с Буффеном и Беко. С карликами. Но со мной? Почему он не взял с собой меня?

И это открытие — *если б он позвал, я бы, верно, пошла за ним* — мгновенно, резко наполнило меня жгучим отвращением к себе. Я-то считала себя достойнее, лучше, сильнее, порядочнее многих. Но в Лемерле, как в зеркале, отразилось то, какая я на самом деле. Значит, и я способна на предательство. На трусость. На убийство. Вот, значит, какая я. Ярости моей не было конца, как и желанию его кроваво покарать. Эти мысли не давали мне покоя во сне, плотно окутывали при свете дня.

Арестантская была забита битком, и нас заперли в подвалах суда. В каморках с земляным полом было холодно; стены, точно иней, покрывал солевой налет. Я вспомнила: если к соли добавить немного серы и угля, получится неплохое взрывчатое вещество, — но что мне было от этого толку. Здесь не было окна, не было выхода, дверь заперта. Опустившись на влажный пол, я принялась обдумывать свое положение.

Виновность очевидна. Никто и слова в защиту не скажет. У судьи Реми оказался богатый выбор — как же, Лемерль предоставил ему столько возможностей. Воровство, порча, самозванство, ересь, бродяжничество, колдовство, убийство — любое из этих обвинений могло по закону окончиться смертным приговором. Другой бы — верующий — мог обрести утешение в молитве, но молиться я не умела. Для таких, как мы, любил повторять Леборнь, Бога не существует, потому что мы не созданы по его образу и подобию. Мы — блаженные шуты, недоделанные, в нас что-то треснуло при обжиге. Откуда нам знать, как надо молиться! А если б знали, что могли бы мы сказать Ему?

Я села, опершись спиной о каменную стену и вытянув ноги на утрамбованном земляном полу, и так просидела до самого рассвета, согревая обеими руками новую жизнь в своем чреве, слыша через стену звуки чьих-то рыданий.

Как вдруг что-то вывело меня из забытья. Кругом была крошечная тьма, но я отчетливо услышала звук отодвигающегося дверного засова и крадущиеся шаги по ступенькам лестницы. Опираясь спиной о стену, я с трудом поднялась на ноги. Спросила шепотом:

— Кто здесь?

Теперь до меня донеслось сдерживаемое дыхание приближавшегося

человека, шелест одежды о стену. Во тьме, хоть дрожала дрожмя, я воздела недрогнувший кулак. Ждала, чтоб подошел поближе.

— Жюльетта!

У меня екнуло сердце:

— Кто ты? Откуда знаешь мое имя?

— Умоляю, Жюльетта... У нас мало времени.

Я медленно опустила кулак. Я поняла: это Доктор Чума, тот, который уже пытался меня предупредить, чей голос был так удивительно знаком. И еще знаком запах, сухой запах химикалий.

— *Джордано?* — В изумлении выдохнула я во тьме.

Из темноты взволнованно донеслось:

— Тс-с-с! Говорю же, девушка, нет времени. На-ка, возьми!

На меня упало что-то мягкое. Одежда. Что-то пропахшее плесенью, наподобие рясы, вполне пригодное, чтоб прикрыть наготу. Прикидывая, что все это значит, я стала ее натягивать.

— Так. Теперь ступай за мной. Быстро. У нас считанные секунды.

Люк над ступеньками был распахнут. Первым в него пролез Доктор Чума и помог мне выбраться наружу. Меня, уже привыкшую к темноте, свет в коридоре мгновенно ослепил, хоть на стене висел единственный светильник. Еще плохо соображая, я повернулась к старому другу, но его скрывали длинноногая маска и черный плащ.

— Ты — Джордано? — снова спросила я, потянувшись рукой и касаясь колдовской маски из папье-маше.

Доктор Чума покачал головой:

— Вечно ты с вопросами! Я подсыпал стражнику слабительного в похлебку. Тот гоняет в нужник каждые десять минут. На сей раз он позабыл ключ.

Джордано уж было подтолкнул меня к двери. Но я вскинулась:

— А как же мои друзья?

— Нет времени! Если бежишь одна, у нас обоих есть шанс. Идешь ты или нет?

Я замерла в нерешительности. В этот миг я словно услышала из-под черной маски голос Лемерля, и даже будто, как я шепчу ему пошло, гадко в ответ: *Возьми меня. Брось остальных. Меня возьми.*

— Никогда! — яростно сказала я себе. Да, если бы Лемерль позвал меня, я бы, возможно, и пошла. Но это «если бы» такое крохотное, такое нетвердое, чтоб строить на нем свое будущее. Почувствовав, как мое не родившееся дитя шевельнулось во мне, я поняла: стоит мне сейчас проявить слабость, тень Лемерля потом постоянно будет мне отравлять

радость общения с моим ребенком.

— Без товарищей не пойду! — сказала я.

— Вот упрямая! — прошипел, обернувшись ко мне, сражавшийся с замком старик. — Всегда была упрямая, как ослица! Может, они и правы, ты и в самом деле ведьма. Видно, сам диббук^[27] в твоей рыжей башке засел. Ты губишь нас обоих.

Рассветный воздух пахнул свободой. Мы, с жадностью глотали его на бегу. Я рвалась остаться вместе со всеми, но Джордано грозно и яростно настоял, и я подчинилась. Мы мчались по улицам Эпиналя, укрываясь в тени, пробиваясь закоулками по колесо в мусоре. Точно в полусне, я не соображала, что со мной происходит; наше бегство протекало в каком-то лихорадочном небытии. Прорывы в памяти: лица в трактире, в свете красного фонаря рты разинуты в беззвучном пении; луна, скачущая над краем облака, кромка леса, подчеркнутая снизу; башмаки, сверток с едой, припрятанный под кустом плащ, рядом привязанный мул.

— Бери. Это мой. Никто не спохватится, он не украден.

Джордано по-прежнему маски не снимал, но я узнавала его по голосу. Волна нежности накатила на меня:

— Джордано... Как давно это было... Я думала, ты умер.

До меня донесся сухой трескучий звук; должно быть, он рассмеялся.

— Так просто от меня не отделаешься! — И строго добавил: — Да беги же ты, наконец!

— Постой! — сказала я.

Я дрожала и от страха, и от волнения.

— Я так долго искала тебя, Джордано. Что случилось с нашей труппой? С Жанеттой, с Габриелем, с...

— Не время. С тобой хоть всю ночь болтай, вопросов у тебя не поубавится.

— Хотя бы одно скажи. — Я схватила его за плечо. — Скажи, и я уйду.

Он помедлил, кивнул. В своей маске он походил на большого грустного черного ворона.

— Да, — сказал он наконец. — Изабелла...

И в тот же миг я поняла, что матери уже нет на свете. Все эти годы я не ворошила память о ней, спрятав у самого сердца, как оберег: ее горделивый стан, ее улыбку, ее песни и ее заветное слово. Оказалось, она умерла во Фландрии, так глупо, от чумы; теперь о ней только и остались обрывки памяти да сны.

— Ты был рядом с нею? — дрогнувшим голосом спросила я.

— А ты как думаешь? — отозвался Джордано.

Любовь случается нечасто, но длится вечно, — будто прошелестели слова моей матери, тихо-тихо, в его хриплом вздохе. И я поняла, почему он следовал за мной, почему рисковал ради меня жизнью, почему не мог теперь взглянуть мне в глаза, открыть свое лицо, спрятанное под маской Доктора Чумы.

— Сними маску, — сказала я. — Я хочу видеть тебя, прежде чем уйду.

Лунный свет озарил лицо старика, глаза ввалились так глубоко, будто то была уже иная маска, как и прежняя — безглазая, но еще более трагичная в его потугах изобразить улыбку. Влага, выступившая из глазниц, скатилась в глубокие борозды по обеим сторонам рта. Я хотела было его обнять, но он резко отстранился. Он всегда терпеть не мог, чтоб к нему прикасались.

— Прощай, Жюльетта. Беги не медля, не теряй ни минуты, — то был голос прежнего Джордано, резкий, отрывистый, мудрый. — Ради своей и их безопасности не ищи остальных. Захочешь, продай мула. Передвигайся в темное время.

Все же я обняла его, хотя окаменевшие плечи не ответили на мою ласку. От его одежды знакомо пахло чем-то пряным и серой, знакомым запахом алхимии, и мое сердце тоскливо сжалось. Я почувствовала, как он дрожит в моих объятиях, словно откуда-то из самой глубины рвутся наружу рыдания. Но вот чуть раздраженно он отпрянул.

— С каждой минутой ты упускаешь время, — сказал он слегка дрогнувшим голосом. — Все, Жюльетта, уходи!

Мое имя прозвучало в его устах, точно скупая ласка.

— А ты? — не унималась я. — Как же ты?

Он еле заметно улыбнулся и покачал головой, как делал всегда, когда считал, что я несу околесицу.

— Я уж и так согрешил ради тебя, — сказал он. — Забыла, что по субботам я никуда не выхожу?

Он подсадил меня на мула, огрел его с обеих сторон по бокам, и тот припустил вперед по лесной тропинке, звучно цокая подковами по сухой земле. Я до сих пор помню лицо Джордано в лунном свете, шепот его прощальных слов, и то, как мул трусил по тропинке, и запах земли и золы в ноздрях, и как Джордано послал мне вдогонку свой «шалом», — и врожденная совесть из дали моих тринадцати лет хмуро и неотступно следует за мной, точно нагорный глас Божий.

Больше я его не видала. Из Эпиналя я проехала сначала через Лоррэну к Парижу, потом, когда живот заметно округлился, повернула обратно к побережью. Едва припасы Джордано кончились, в поисках пищи я продала,

как он наказывал, его мула. В сумках, притороченных к седлу, я обнаружила то, что мой старый наставник уберег из моего фургона, — немного денег, кое-какие книги, украшения, попавшиеся среди моих платьев, стразы, неотличимые от настоящих камней. Я выкрасила волосы в иной цвет, чтоб они меня не выдали. Я вслушивалась в известия, приходящие из Лоррэны. Но по-прежнему ничего нового, ни имен, ни слухов о кострах. Но что-то во мне и поныне, пять лет спустя, чего-то ждет, словно с тех пор время приостановилось, возник антракт между действиями, остался неразрешенный конфликт, и он сулит кровавую развязку.

Снова и снова в моих снах всплывал его образ. Манящий, как лес, его взгляд. Во сне продолжается наша страстная драма, сцена опустела не навеки, она ждет, когда актеры возобновят свою игру, губы распахиваются, чтоб произнести слова роли, которая, как мне казалось, давно позабыта.

Еще один танец, говорит он мне, и я извиваюсь, мечусь в своей узкой постели. *Ты всегда была самой желанной.*

Я просыпаюсь в холодном поту с твердой мыслью, что Флер умерла. Даже точно уловив ухом, что это не так, я все еще не решаюсь повернуться к ней, лежу и слушаю, как она тихонько дышит. Дортуар будто наполнен тревожным бормотанием. Сцепив зубы, я сдерживаю в себе страх. Стоит приоткрыть рот, и вырвется крик, которому не будет конца.



18 июля, 1610

Первой их увидела Альфонсина. Было около полудня, им пришлось ждать отлива. Наш остров не вполне остров; при отливе образуется широкий путь на материк, основательно вымощенный булыжником, чтобы можно было благополучно перебраться через отмель. Это только говорится «благополучно», вдоль всей морской глади гуляют мощные течения, способные размыть булыжник, хотя его держит толщенный слой известкового раствора. По обе стороны зыбучий песок. А когда накатывает прилив, он с бешеной скоростью заливает отмель, захлестывая дорогу, смывая все на своем пути. Но они степенно, медленно и неуклонно продвигались через пески, их ползущие тени отражались на мелководе, дальние силуэты расплывались во вздымавшемся с дороги жарком воздухе.

Альфонсина сразу поняла, кто это. Карета тряслась по неровной дамбе, подковы лошадей скользили по позеленевшим камням. Перед каретой скакали двое верховых в ливреях. Позади шагал некто пеший.

В то утро я уединилась на дальний край острова. Проснувшись рано после беспокойной ночи, я, взяв в собой в долгую прогулку Флер, вышла из монастыря с корзинкой, чтобы набрать росших в дюнах мелких гвоздик, от их настойки сладко спится. Я знала одно место, где они густо, обильно росли, но душа была не на месте, сбор гвоздик не заладился, я нарвала лишь небольшую охапку. Хотя бы в оправдание, почему надолго отлучилась из монастыря.

Вдвоем с Флер я позабыла о времени. За дюнами есть небольшой песчаный пляж, где она любит играть. То и дело взбираясь на дюну и прыгая вниз, мы с ней протоптали по песку множество дорожек. Вода была чиста, неглубокое дно усеяно маленькими разноцветными камешками.

— Можно мне сегодня искупаться? Можно?

— Купайся!

Флер бултыхалась, как собачонка, повизгивая и брызгаясь в щенячьей радости. Я, стянув монашеское одеяние, вошла в воду вслед за Флер, а ее кукла Муш глядела на нас с дюны. Потом я вытерла дочку и себя краем своей одежды, сорвала несколько маленьких твердых яблочек с яблони у дороги, потому что солнце уже поднялось высоко и, значит, к обеду мы уже опоздали. Потом Флер уговорила меня вырыть с ней большую норку, туда

мы накидали кусочки водорослей, изобразив берлогу чудища, потом полчаса она подремала в тени, прижав к себе Муш, а я поглядывала на нее с тропинки у дюны, слушая шепот накатывающего прилива.

Да, лето выдалось засушливое, думала я. Без дождей худо будет с урожаем, с кормом для скота и птицы. Рано поспевшая ежевика уже ссохлась, превратившись в серые комочки. Виноград тоже страдает от засухи, ягоды твердые, точно горошины. Мне стало жалко всех, кому, подобно трупке Лазарилью, выпала в это лето бесконечная дорога.

Дорога. Я представила ее себе, вызолоченную солнечным светом, усеянную осколками моей прежней жизни. Была ли моя дорога так уж плоха? Тяжко ли я страдала все годы странствий? Всякое бывало. Мы знали холод и голод, предательства, гонения. Я силилась все это вспомнить, и дорога сияла передо мной, словно путь сквозь зыбучие пески, и мне вспомнились слова, которые однажды произнес Лемерль в ту пору, когда у нас все было хорошо.

— Мы с тобой по природе схожи, — сказал он. — Мы оба пламенные натуры. Как огонь и воздух. Стихию, которая нас породила, невозможно изменить. Потому, моя Элэ, дорога — наша судьба. Нельзя огню не гореть, а птице отказаться от неба.

Мне это удалось. Я отказалась от неба, и вот уже столько лет даже глаз не поднимаю в вышину. Но я не забыла. Дорога остается дорогой, и она терпеливо ждет моего возвращения. Как страстно я этого хочу! Что смогла бы я отдать, чтоб вернуть свободу, вернуть себе женское имя, женскую судьбу? Чтоб каждую ночь видеть иные звезды, чтоб есть мясо, поджаренное на костре, чтоб танцевать на канате, а, возможно, и — летать? На этот немой вопрос мне и отвечать не надо. От одной лишь мысли я радостно вострепелась и снова на миг стала прежней Жюльеттой, той, что пешком пришла в Париж.

Нет, что за вздор. Распроститься с налаженной жизнью в монастыре, с близкими людьми, предоставившими мне спасительный кров? Пусть монастырь и не стал мне желанным домом, о котором я мечтала, но он дал мне все необходимое для жизни. Пищу зимой, крышу над головой, работу для не ведавших грубого труда рук. Ради призрачной мечты бросить все это? Поставить все на карту?

Тяжелые ботинки вязли в песке, занесшем тропинку. Я со злостью пнула носком в песок. Все ясно, сказала я себе. Ясно и до глупости очевидно. Жара, бессонные ночи, являющийся в снах Лемерль... Мне нужен мужчина. В этом все и дело. Элэ меняла любовников каждую ночь, выбирала какого хотела — то нежного, то грубого, то темноволосого, то

белокурого, и сны ее слагались из их запахов и их тел. Да и Жюльетта была натура чувственная: Джордано укорял ее за то, что плавала нагая в реке, что валялась по росистой траве, что тайно часами засиживалась над его латинскими поэтами, с трудом разбирая незнакомый язык, только чтоб хоть изредка представить себе тугую задницу римлянина... И Элэ, и Жюльетта знали, как одолеть этот недуг. Но мне — сестре Огюст, с мужским, даже стариковским^[28], именем — как мне-то быть? С тех пор, как родилась Флер, я мужчины не знала. Можно было бы за утешением прибегнуть к женской ласке, как сестра Жермена с сестрой Клемент, но эти радости никогда меня не прельщали.

Жермена, муж которой, застав ее с девицей, полосонул ей лицо кухонным ножом четырнадцать раз, по числу ее тогдашних лет, — ненавидит мужчин. Я замечаю, что она поглядывает на меня. Я вижу, она считает меня красивой. Не такой, как Клемент — с личиком мадонны и грязными помыслами, — но достаточно для себя привлекательной. Иногда она подолгу смотрит на меня, когда мы работаем в саду, но ни слова не проронит. Ее светлые волосы острижены короче, чем у мальчишки, но под нескладной коричневой робой угадывается стройный и грациозный стан. Из Жермены могла бы выйти отличная плясунья. Но портит ее не только изуродованное лицо. Спустя шесть лет после того несчастья, она внешне кажется старше, чем я: бледные, тонкие губы; почти бесцветные, точно соляной раствор, глаза. Она сказала мне, что подалась в монастырь, чтоб больше не видеть мужчин. И вся она — точно кислое яблоко, точно иссушенный виноград, что рад бы налиться, да гибнет без дождя.

Смазливая и наглая Клемент все это видит и заставляет Жермену страдать, заигрывает со мной, когда я занята своими монашескими заботами. В часовне она порой шепотом кокетничает, ластится ко мне, в то время как Жермена за ее спиной беспомощно, подавленно слушает, внутренне страдая, хотя ее изуродованное лицо, как обычно, ничего не выражает.

Жермена — человек без веры, она ни малейшего интереса к религии не испытывает. Как-то я рассказала ей про своего Бога с женской душой — думала, ей это понятней с ее ненавистью к мужскому полу, — но она и мои слова восприняла равнодушно.

— Если даже такое когда и было, — бросила она сухо, — после мужчины все равно все перекроили по-своему. Иначе зачем бы им держать нас взаперти и внушать нам чувство вины? Чего им так бояться?

Я возразила, сказав, что у мужчин нет причин бояться нас, на что она с резкой усмешкой бросила:

— Да ну? — И указала на свое лицо: — А *это* что, по-твоему?

Может, она и права. Но все же во мне нет к мужчинам ненависти. Только к одному-единственному, но даже и он... Снова прошлой ночью он был в моем сне. Так близко, что я чувствовала запах его пота, его кожи, гладкой, как моя. Я его ненавижу, но в моем сне он был нежен. Я узнаю его, где бы он ни был, даже если его лицо скрыто тенью, даже если лунный свет не золотит выжженную у него на плече лилию.

Меня разбудило пенье птиц. Миг я снова была в том времени, до Эпиналя, до Витре, и черные дрозды распевали вокруг нашего фургона, и мой любимый смотрел на меня, и в его смеющихся глазах стояло лето...

Всего одно мгновение. Лукавый демон прокрался ко мне в душу, пока я спала. Дух. Это невозможно, не должна я больше томиться о нем, сказала я себе.

Ни единой жилкой.

Было уже далеко за полдень, когда мы возвратились в монастырь. Я сняла свой плат, но все равно волосы были влажны от пота, балахон лип к телу. Флер семенила рядом, волоча в руке свою Муш. Ни единой души не было видно. Оно и понятно при таком зное, ибо многие из сестер в отсутствие настоятельницы пристрастились дремать в дневное время, отложив свои нехитрые заботы на прохладное время после Часа Девятого [29]. Однако, увидев нездешнюю лошадь, пасущуюся у монастырских ворот, а также следы колес на пыльной земле, я тотчас поняла: то, чего мы ждали уже тринадцать дней, наконец свершилось.

— Комедианты, что ли, вернулись? — с надеждой спросила Флер.

— Нет, маленькая, похоже, не они.

— Жалко!

При виде ее огорченной мордашки я чмокнула ее в щеку.

— Поиграй тут немного одна, — сказала я. — Мне надо в монастырь.

Проводив Флер взглядом, — она припустила вприпрыжку по дорожке, — я повернулась и легким шагом, словно камень упал с души, пошла к монастырю. Ну, вот и настал конец тревогам и неизвестности. Теперь у нас новая настоятельница, теперь будет кому направить нас в нашей неприкаянности, в наших страхах. Она будет уравновешена и строга, эта женщина, пусть уже не первой молодости. Ее улыбка, должно быть, полна достоинства и спокойствия, правда, в ней есть и смешинка, ведь без этого невозможно утешить стольких разочаровавшихся в жизни. Это будет добрая, честная и порядочная женщина с материка, не гнушающаяся тяжелого труда, и пусть ее смуглые руки в мозолях, но они

мягки и ласковы. Она, наверное, любит слушать музыку и работать в саду. Она, верно, женщина практичная, много на своем веку повидавшая, она сумеет помочь нам обрести опору в жизни, и в то же время она не слишком тщеславна, жизненный опыт ее не ожесточил, она еще способна взглянуть на мир с мудростью, с тихой радостью.

Оглядываясь назад и изумляясь своей наивности, я вижу, что те мои мечты явно были окрашены воспоминаниями об Изабелле, моей матери. Я знаю, она, какой вспоминается мне сейчас, не слишком схожа с той, что я видала в последний раз. Только любовь способна нарисовать в воспоминаниях ее так, как я сейчас ее вижу: нежной и сильной. В моей памяти она очень красивая, куда красивей Клемент, и даже самой Богоматери, хотя я до сих пор плохо помню и цвет глаз матери, и отдельные черты ее властного, смуглого лица. Еще не увидав нашу новую аббатису, я уже заранее представляла ее с лицом моей матери, и мне сделалось легко, как ребенку, который долго корпит один над сложнейшей задачей и вдруг видит в окно, что домой возвращается мать. Я припустила бегом к странно притихшему монастырю, волосы развевались на ветру, юбка взметалась выше колен.

Во дворе было тихо и прохладно. Я подала голос, едва вошла, но мне никто не ответил. В домике у ворот пусто; казалось, все обитатели покинули монастырь. Я бежала по широкой, залитой солнцем крытой аркаде между кельями, но никого нигде не было видно. Пролетела мимо трапезной, мимо кухонь, мимо пустого капитула, устремившись к церкви. Служба, говорила я себе, должно быть, давно закончилась. Видно, новая аббатиса собрала сход.

Подходя к часовне, я услышала голоса, пение. Сердце упало, я толкнула дверь. Первой оглянулась Альфонсина.

— Сестра Огюст! — воскликнула она. — Слава Богу, сестра Огюст! А у нас новая...

Она не договорила, видно, от волнения. Мой взгляд уже устремился вперед, глаза с жадностью искали мудрое светлое женское лицо своих надежд. Но у алтаря я увидела только маленькую девочку лет одиннадцати-двенадцати, с мертвенно-бледным личиком, выглядывавшим из аккуратного белоснежного плата, вялая рука протянута в благословении.

— Сестра Огюст!

Голосок слабенький, холодный, под стать владелице, и в ту же секунду я резко ощутила всю несуразность своего внешнего вида: взлохмаченные волосы, горящие щеки.

— Мать Изабелла! — Голос Альфонсины срывался от избытка

чувств. — Мать Изабелла, наша настоятельница!

Изумление было столь велико, что я чуть было не расхохоталась. Эта пигалица? Да нет, не может быть! Сама мысль казалась абсурдной, — эта девочка с именем моей матери, должно быть, просто послушница, просто ей покровительствует новая аббатиса, которая, верно, стоит рядом и посмеивается над моей растерянностью... Но вот наши взгляды встретились. Глаза у девочки были очень светлые и без всякого блеска, как будто весь свет втянут внутрь. На болезненном юном личике не отражалось ни резвости ума, ни радости, ни счастья.

— Так ведь она же совсем ребенок!

Совершенно непозволительные слова. Я поздно сообразила, но от изумления просто не сумела сдержаться. Девочка нахмурилась, вскинула губку, обнажив мелкие, ровные зубы.

— Простите, *Матушка!*

Слово не воробей. Я преклонила колени, приложившись губами к протянутой бледной ручке.

— Сама не знаю, как вырвалось...

Уже по холоду пальцев я почувствовала, что мое извинение не принято. На мгновение я увидела себя ее глазами: потная, покрасневшая простолюдинка, пропитанная запретными ароматами лета.

— Почему без плата?

Ледяной тон пробрал меня до костей.

— Я... я его обронила, — пролепетала я. — Я работала в поле. Было жарко...

Но она уже на меня не глядела. Белесые глазки медленно, равнодушно проследовали вдоль обращенных к ней в ожидании лиц. Альфонсина глядела на девочку с жадным обожанием. Воцарилось холодное молчание.

— Я урожденная Анжелика Сент-Эврё Дезире Арно, — произнесла девочка тихо, без всякого выражения, но ее слова будто пронзали насквозь. — Может показаться, что я юна для миссии, возложенной на меня Господом. Но для вас я — носительница Слова Божьего, и Он укрепит меня на этой стезе.

На миг мне сделалось ее жаль, такую юную, такую беззащитную, из всех сил старающуюся казаться величественной. Я попыталась представить, как она, должно быть, жила до сих пор, возвращенная в гнетущей атмосфере двора, в кругу интриг, разврата. В ней, этом хрупком существе, все их пиры, все их яства, плавающие в жиру цесарки, пирожки, *pièces montées*^[30], выложенные на блюде павлиньи сердца, запеченная *foies*

gras^[31] и заливные языки жаворонков, наверное лишь усиливали отвращение к подобного рода излишествах. Церковь со своими обрядами, со своим темным фатализмом, со своей нетерпимостью прибрала к рукам это тщедушное чадо, которое вряд ли дотянет до двадцати лет. Я попыталась представить себе, каково было ей, в десять с небольшим попасть в монастырские стены, твердить, как заведенной, вслед за своими святыми наставниками их речения и захлопнуть дверь в окружающий мир, еще не успев понять, что он ей сулит.

— Вы изрядно распустились.

Отроковица заговорила снова, и в ее старании быть услышанной сильней обозначилась ее гнусавость.

— Я просмотрела записи в книге. Убедилась, сколько праздности склонна была позволять здесь моя предшественница. — Она бросила беглый взгляд в мою сторону. — Я намерена с сегодняшнего дня положить этой праздности конец.

Слова вызвали тихое перешептывание среди сестер. Я взглянула на Антуану: в замешательстве у той даже челюсть отвисла.

— Во-первых, — продолжала девочка, — ваш внешний вид. — Снова косой взгляд в мою сторону. — Я успела отметить некоторую... небрежность... у отдельных сестер, которую считаю неподобающей монашескому сану. Судя по всему, прежняя аббатиса допускала ношение *кишнота*... Отныне такого больше не будет.

Стоявшая справа от меня старуха Розамонда недоуменно взглянула на меня. Свет из верхнего окна падал на ее белый головной убор.

— Кто это дитя? — в дрожащем голосе прозвучало недовольство. — Что она такое говорит? Где Матушка Мария?

Я яростно подавала ей знаки, призывая умолкнуть. Розамонда хотела было сказать еще что-то, но внезапно ее морщинистое лицо обмякло, на глаза навернулись слезы. Она тихонько забормотала что-то себе под нос. Между тем новая аббатиса продолжала:

— Даже за короткое время я успела заметить отступления от требуемого порядка. — Голос тянулся гнусаво, будто зачитывал тексты Священного Писания. — Начнем со Святой мессы. Это просто непостижимо, но уже давно в вашем монастыре мессу вообще перестали служить.

Воцарилась неловкая тишина.

— Мы воздавали молитвы, —插入了 Антуана.

— Одних молитв недостаточно, *ma fille*^[32], — отрезала девочка. —

Ваши молитвы не найдут святого отклика в отсутствие посланника Господнего.

Каждое ее слово вызывало во мне внутренние колики смеха. Нелепость ситуации вмиг избавила меня от чувства неловкости. То, что это тщедушное дитя призвано молиться за нас, морщить лобик и надуть губки, точно старая ханжа, и называть нас своими дочерьми, казалось какой-то невероятной шуткой, подобно тому, как в День Дураков слуга обряжается в платье хозяина. Подобной же пародией был и призывающий к покаянию нагой Христос в этом храме, куда б уместней ему было в таком виде скрыться в чистом поле или плавать в синем море.

Матушка-отроковица продолжала:

— Отныне мессу будем служить ежедневно. Возобновим ежедневные восемь богослужений. По пятницам и святым праздникам будем поститься. Вне всякого сомнения, в моем монастыре не будет места потворству и излишествам.

Наконец-то ее голос обрел силу. Резкий дискант зазвучал повелительно, и я поняла, что за ее болезненным самомнением таится скрытый фанатизм, даже истовость. То, что сначала я приняла за смущение, теперь вылилось в высокородное высокомерие, какого я уже не встречала с той поры, как оказывалась при дворе. *В моем монастыре!* Меня покорибли эти слова. Будто монастырь наш ей не более чем игрушка, а мы — что-то вроде кукол.

Голос мой прозвучал резче, чем хотелось бы:

— Священник есть только на материке. Как же нам мессу служить ежедневно? Да и откуда у нас такие деньги?

Она опять взглянула на меня, и я пожалела, что не сдержалась. Если до сих пор я не нажила в ней врага, то после последнего высказывания в этом уже можно не сомневаться. Аббатиса презрительно поджала губы:

— Со мной прибыл мой духовник. Духовник моей мачехи, который упротил взять его с собой, чтоб помогать мне в моих делах.

Могу поклясться, при этом она слегка покраснела, чуть потупила глаза и голос даже стал чуть теплее.

— Знакомьтесь, отец Коломбэн де Сент-Аман, — она слегка кивнула в сторону человека, который до сих пор держался в тени колонны. — Мой друг, учитель и духовный наставник. Надеюсь, что и вы все вскорости полюбите его, как и я.

Я обмерла, точно громом пораженная: я увидела его перед собой четко и ясно, шутовские краски окна-розетки озарили лицо, руки. Его черные как смоль волосы, теперь длинней, чем прежде, были сзади у шеи стянуты

лентой, но в остальном он предстал в точности таким, каким запечатлелся в моем сердце: поворот головы на свет, черные брови вразлет, лесная тайна во взгляде. Черное ему шло. Продуманно эффектный в этой рясе священника, без единого украшения, кроме того самого сияющего серебряного креста, он остановил свой взгляд прямо на мне с едва заметной, наглой усмешкой.

Часть вторая

Лемерль

18 июля, 1610

Каков мой первый выход, а? Разве не ясно, что я рожден для сцены — или, если угодно, для виселицы; по правде говоря, одно другого стоит. Цветы и люк под ногами, занавес в конце, в промежутке конвульсивное дрыганье. Даже в этом есть своя поэзия. Но пока я не готов шагнуть на тот дощатый настил. Когда наступит момент, уж будь уверена, ты первая об этом узнаешь.

Ты будто не рада нашей встрече? Надо же, после такой долгой разлуки! Элэ, Элэ, ненаглядная моя. Ах, как ты взлетала! Возникая будто из воздуха, ты ни разу не сорвалась, ни разу не промахнулась. Порой казалось даже, будто они и в самом деле настоящие, твои ладно уложенные под туникой крылья, взносившие мою обожаемую гарпию под ее вскрик к небесам. И вот ты здесь, и крылья твои подсечены! Должен отметить, ты все такая же. Едва блеснула на солнце ярко-рыжая грива — кстати, длиннее было красивей, — я тотчас тебя узнал. Ведь и ты узнала меня, не так ли, любимая? Ну да: видел, как ты вздрогнула, как взглянула. Что за радость чуткий зритель, — *жадный* зритель, уж прости за такое слово, — в полной мере способный оценить размах моего таланта. Ради такого момента стоит жить.

Ты не подала вида. Что ж, этого следовало ожидать. Осмотрительность — ценнейшее качество, в данном случае твое. Но глаза... Что за глаза! Черный искристый бархат. Скажи хоть слово, моя Гарпия! Глазами говори со мной!

Знаю, в чем причина. Все из-за той дурацкой *заварушки*... Где это было? В Эпинале, кажется? Как не совестно! Держать зло столько лет! Не отпирайся: ты меня осудила, признала виновным и вмиг приговорила к повешению. Почему бы не выслушать осужденного? Молчу, молчу! Говоря по чести, я был убежден, что ты выкрутишься. Тюремные стены не преграда для моей Элэ. Крылья умчат ее в поднебесье. Острый язычок без труда вскрыет тюремные затворы.

Да, да, понимаю. Но ты думаешь, я пошел на это с легкостью? Гнались ведь за мной, только за мной. Если б поймали, меня ждали бы пытки и верная казнь. Сама подумай, могли я взять тебя с собой? Я поступил так, Жюльетта, ради твоего же блага. Понимал, что в одиночку тебе будет легче

улизнуть. Я думал, что вернусь. Клянусь! Рано или поздно.

Леборнь? Это тебе не дает покоя? Едва я собрался дать деру, он увязался следом. Умолял взять его с собой. Ради этого был готов перерезать всем вам глотки. Твердил, что сделает это мигом и без лишнего шума, только бы я его взял. Я сказал «нет», и тогда он вынул нож.

Я был безоружен, измотан бесконечными потугами ублажать толпу, весь в синяках от хватких рук благодарной черни. Леборнь метил мне в сердце, я увернулся, удар пришелся в правое плечо, рука беспомощно повисла. Почти теряя сознание от боли, я сопротивлялся изо всех сил против вооруженного ножом карлика. Извернувшись, левой рукой я вырвал у него нож, полоснул ему по горлу и был таков.

Видно, лезвие было отравлено. Уже через полчаса скакать было невмочь, руки не держали поводья. Я едва сумел спешиться и укрыться. Подобно умирающему зверю, я заполз в какой-то ров и ждал там своей участи.

Возможно, это меня и спасло. Они обнаружили мой угнанный бродягами фургон в четырех милях от Эпиналя; время ушло на поиски и допрос грабителей. Обессиленный, с гноящейся раной, я затаился в глуши, питаюсь придорожными травами и плодами, какие ты указывала мне в пору наших совместных странствий. Слегка окрепнув, я подался в ближайший лес. Развел костер и, вспоминая твои наставления, готовил себе настои: полынь — от лихорадки, наперстянка — от боли. Твоя наука, милая колдунья, спасла мне жизнь. Надеюсь, тебе не в обиду мое признание.

Я ошибся? Жаль. Этот взгляд, как острый нож. Ладно! Пусть насчет Леборня я приврал, слегка. Мы оба были при ножах. Он оказался проворней, он первый меня полоснул. Разве я когда-нибудь перед тобой корчил из себя святого? Человек не властен изменить стихию, из которой рожден. Однажды и ты, моя жар-птица, это поняла. Будем надеяться ради нашего общего блага, что в том ты не разуверилась.

Ты выдашь меня? Голубка, неужто ты думаешь, что способна на такое решиться? Вот уж было бы презабавно, но только прежде чем на это пойти, подумай хорошенько. Кому от этого станет хуже? У кого из нас двоих ярче дар убеждения? Припомни, в свое время я и тебя умел убеждать. Видишь ли, бумаги мои безупречны. Их прежний владелец, священник, путь которого по счастливой случайности проходил через Лоррэну, едва в сумерках въехал в темный лес, внезапно занедужил (помнится, у него прихватило живот). Мгновенный счастливый конец. Я сам прикрыл ему глаза.

Ах, Жюльетта! Опять эти подозрения! Уверяю тебя, я испытываю

нежнейшие чувства к малютке Анжелике. Ты считаешь, что для аббатисы она слишком юна? Поверь, церковь иного мнения и до неприличия самозабвенно превозносит достоинства этой дщери — вместе с ее денежками. И церковь, учти, как водится, внакладе не осталась. Еще добавила богатств к своим набитым золотом сундукам, к своим прирастающим землям, и все это взамен на крохотную уступку, на завязший где-то в песках монастырек, в котором отсутствие строгих порядков восполнялось беспримерным искусством прежней настоятельницы растить картошку.

Однако я позабыл про свои обязанности. Дамы... или, быть может, уместней сказать «сестры», или даже «дщери», чтобы вышло по-отечески? Пожалуй, не так: *Дети мои!* Это лучше. В дыму свечей глаза сверкают, как у черных кошек числом в шестьдесят пять. Вот она, моя новая паства. Смешно: в них ничего женского, даже запаха. Уж я бы угадал эти приглушенные цветочно-рыбные всполохи. От этих же несет только ладаном. Помилуйте, даже запаха пота не чувствуется. Дай срок, уж я их наставлю.

— Дети мои! Я прибыл к вам в дни скорби, но и с великим ликованием. В скорби за ушедшую от нас сестру нашу... — (Как, бишь, ее?) — ...Марию, но и с ликованием в преддверии великих начал, к коим мы с вами ныне приступим.

Нехитрые слова, спору нет, но — действуют. Они уставились на меня во все глаза. Как я сказал, — кошки? Ну нет — скорее летучие мыши: мордочки усохшие, глазки выпученные, хоть и незрячие; сгорбленные спины, будто там сзади сложены черные крылья, ручки стиснуты на плоской груди, видно, из страха, что я непроизвольно уроню взгляд на не дозволенные для обозрения формы.

— Я говорю о грандиозных преобразованиях, о коих только что упомянула дочь моя Изабелла, о преобразованиях столь великих, что скоро вся Франция с почтительностью и благоговением заговорит о монастыре Сент-Мари-де-ля-Мер.

Пожалуй, самое время что-то процитировать. Может, из Сенеки? «Тернист путь к вершинам величия?» Нет. Думаю, к восприятию Сенеки мои слушательницы не вполне готовы. Тогда из Второзакония. *И станешь ты всем на удивление притчею во языцех и имя твое пребудет у всех народов на устах.* Разумеется, самое замечательное в Библии то, что в ней найдешь всему оправдание — даже разврату, кровосмешению и истреблению младенцев.

— Дети мои, вы свернули с пути истинного. Вы впали в греховность,

позабыв священный обет, данный вами Господу нашему.

Именно таким голосом я произносил трагические монологи; уже лет десять назад я написал пьесу «*Les Amours de l'Hermite*», опередившую свое время. Глаза расширяются пуще, кроме страха в них уже проблескивает чуть ли не возбуждение. Слова ведь тому способствуют.

— Подобно жителям Содома, вы отвернули от Него лицо свое. Вы ублажали себя, и священное пламя остыло в ваших душах. Лелеяли тайные мысли, полагая, что никто их не услышит, предавались тайным страстям. Но Господь видит все.

Пауза. Легкий лепет шелестит по рядам, будто каждая перебирает свои прегрешения.

— Я вижу все!

Щеки пылают в полутьме. Мой голос набирает силу, разносясь по часовне раскатисто, так что подрагивают стекла.

— Я вижу вас насквозь, пусть даже во стыде вы прячете лица свои. Суетность переполняет вас, ничтожность ваша воспламеняет вам щеки.

Удачная фраза. Надо бы ее запомнить, пригодится для моей новой трагедии. Некоторые физиономии уже, можно сказать, вселяют надежду. Вон та толстуха со слезами на глазах, губы дрожат, вот-вот разревется. Ну и шельма! Видел, как ее перекосило, едва дочь моя упомянула о посте.

А ты, угрюмая, обезображенная шрамами? Ну-ка, в чем *твой* грешок? Уж чересчур придвинулась к своей смазливой соседке, полускрытая мраком длань так и тянется к ее ручке. Вижу я, как, слушая меня, ты словно невзначай алчно поглядываешь на нее, как скряга на кубышку с монетами.

И ты, — да, да, ты, которая за колонной. Глаза закатила, точно испуганная кобыла. Щека то и дело дергается, губы трясутся. Беззвучно взываешь ко мне, сцепив пальцы на плоской груди. При каждом моем слове вздрагиваешь от страха, от наслаждения. Знаю, что тебе снится по ночам: упоенное самоистязание, покаянный сладостный восторг.

А ты? Раскраснелась, тяжело дышишь, глаза блестят, и не только в порыве благочестия. Моя первая ученица обращает ко мне лицо, протягивает руки. Лишь коснись рукой, молит она, лишь взгляни на меня, и я стану тебе вечной рабой. Не так скоро, дорогая моя, придется подождать. Продлим слегка удовольствие, насупим брови — и вмиг меркнет все вокруг. Но вот блеснул им спасительный луч, мой голос делается мягче, в возвышенных словах ласково журчит надежда на спасение:

— Но милость Господня, как и гнев Его, бесконечна. Заблудшая овца, возвращающаяся в стадо, во сто крат дороже Ему, чем ее более добродетельные сестры. — (Вот умора! По опыту знаю, что заблудшая

овца за все свои муки скорее всего угодит на воскресный вертел.) — «Возвратитесь, дети-отступники, — сказано в Книге Иеремии, — потому что я сочетался с вами и приведу вас на Сион».

На миг я перевожу взгляд на свою ученицу. Дыхание ее все порывистей. Еще немного, и она впадет в экстаз.

Монолог мой завершен. Разбросав им банальности, как манну небесную, я готов оставить паству в покое, пусть переваривает. Я продемонстрировал им и силу, и кротость. Чуть пошатнувшись, поднес руку к глазам, едва слышно проговорил, дескать, устал, путь был долг и нелегок, показав, что ничто человеческое мне не чуждо. Одна из сестер — Альфонсина, кажется, — услужливо поддержала меня под руку, подобострастно заглядывая в глаза. Я мягко отстранился. Не надо мне ваших фамиллярностей!

Во всяком случае, пока.



18 июля, 1610

Лемерль! Я моментально узнала эту его манеру, хитросплетение ухваток лицедея, проповедника и уличного лотошника. Да и маскировка весьма в его стиле, и когда он встречался со мной взглядом, я узнавала знакомый красноречивый блеск глаз, словно он стремится разделить со мной свой триумф. Сначала мне было странно, почему он решил не выдавать меня.

Потом сообразила. Мне была отведена роль зрителя, восхищенного ценителя. При таком лицедействе и не иметь среди зрителей хотя бы одного, посвященного, кто мог бы по достоинству оценить всю дерзость его наглой выходки... На сей раз, впрочем, я ему подыгрывать не стану. Нынче днем никак не избежать работ на солончаках, но едва мне удастся улизнуть незаметно, чтоб не вызвать подозрений, возьму Флер и мы сбежим. Можно прихватить съестного на кухне. Хоть воровать у монашек дело недостойное, но подобраться к небольшой кладовке в глубине овощного погреба, где имеется сундучок с нашими сбережениями, замок на котором уже давным-давно сломан да так и не заменен, — дело нехитрое. Наша прежняя Матушка-настоятельница была добрая душа, она считала, что вера — лучшая защита от воровства; за все годы жизни в монастыре не припомню случая, чтобы кто-нибудь украл хотя бы грош. Да и на что нам деньги? У нас имелось все необходимое, ни в чем ином мы не нуждались.

Лемерль отбыл из часовни, а мы, взбаламученные, чего он, собственно, и добивался, принялись за свои повседневные обязанности. Уходя, он глянул на меня с усмешкой, как бы подзывая, я же сделала вид, будто не замечаю. К счастью, иных попыток он не предпринял. Новая аббатиса поспешила обследовать свои небогатые владения, Клемент кинулась в конюшни, Альфонсина занялась наведением уюта в сторожке у ворот, отведенной для жилья новому духовнику, Антуана вернулась в кухню и занялась приготовлением ужина, а я отправилась на поиски дочери.

Я обнаружила ее в амбаре, она играла там с одной из прибившихся к кухне кошек. Без лишних слов я строго-настрого наказала ей — остаток дня держаться подальше от всех, ждать меня в дортуаре, не разговаривать ни с кем до моего прихода.

— А почему?

Флер дразнила кошку шишкой на веревочке.

— После объясню. Делай, как я велю.

— А с кошкой можно разговаривать?

— Разговаривай на здоровье.

— А с Переттой? С ней можно?

— Тс-с-с! — я приложила палец к губам. — Есть такая игра, прятки. Скажи, ты сможешь тихо, как мышка, затаиться до позднего вечера, пока я не вернусь?

Флер нахмурилась, все еще не сводя глаз с кошки:

— А ужин?

— Я тебе принесу.

— И кошке?

— Там видно будет.

Было решено, что Лемерль на монашеский капитул допускается, но вместе с нами трапезничать не будет. Меня это не удивило — новый порядок, направленный на воздержание, вряд ли отвечает его запросам. Не укрылось также от моего внимания и то, что жить Лемерль собирается у самых ворот монастыря, что давало бы ему отличную возможность наблюдать за любыми перемещениями в монастырь и из него. Это меня встревожило; значит, теперь надо все тщательно обдумать заранее. Каковы бы ни были его помыслы, духовник уезжать явно не торопился.

Ну и пусть, говорила я себе, меня его помыслы совершенно не заботят. Отсутствие Лемерля на вечерней трапезе предоставляло мне идеальную возможность подготовиться к побегу. Скажу, будто прихватило живот, соберу свои пожитки, заскочу в кухню и в кладовую за провиантом, припрячу узелок с самым ценным где-нибудь у наружных стен монастыря. Мы с Флер, как обычно, отправимся спать, потом, когда все уснут, потихоньку улизнем, подхватим свой узелок и в предрассветный отлив побежим к дамбе. Едва окажемся в безопасности, уж тогда я примусь за Лемерля. Достаточно одной записки, одного словечка кому следует, его миглом разоблачат. Виселица давно по нему стосковалась, а душа моя наконец обретет покой.

Но когда за полчаса до вечерней трапезы я вернулась в дортуар, Флер не выбежала мне навстречу. Не было ее ни в саду, ни в монастырском дворике, ни в курятнике. Я была раздосадована, но обеспокоена не слишком; Флер девочка резвая и часто перед сном где-нибудь пряталась. Я осмотрела все ее излюбленные тайные уголки до единого; ее нигде не было.

Под конец я отправилась на кухню. Мне пришло в голову, что Флер, должно быть, проголодалась, а наша повариха, сестра Антуана, питавшая слабость к детям, часто совала им пирожки, печенье с кухни или яблочко-падалицу. На этот раз, однако, она встретила меня как-то растерянно, глаза необычно красные, и вся с виду точно слегка опала, будто из пухлых щек наполовину сдут воздух. Едва я произнесла имя Флер, Антуана жалобно взвыла, будто внезапно вспомнив что-то среди своих многочисленных забот.

— Бедняжечка! — бормотала она, сжимая пухлые руки. — Я как раз собиралась сказать тебе, но... — Она осеклась, как бы не зная, с чего начать. — Столько всяких перемен! Она, сестра Огюст, пришла ко мне на кухню... я как раз варила мясо, заготовить на зиму, в гусином жиру, с лесными грибочками, — она с омерзительной издевкой посмотрела на меня.

— Кто пришел? Флер?

— Да нет же, — затрясла головой Антуана. — Мать Изабелла! Эта ужасная девчонка!

Я отмахнулась от нее:

— Об ней после. Где моя дочь?

— Так я же и *говорю!* Она сказала, что ей не подобает находиться здесь. Сказала, будет отвлекать тебя от твоих забот. Она ее отослала.

Не веря своим ушам, я уставилась на Антуану:

— Отослала? Куда?

Та взглянула виновато:

— Что я могла поделать...

Но все же мне показалось, что она явно хитрит.

— Это ты им сказала? — я схватила ее за рукав. — Антуана, это ты сказала им, что Флер моя дочь?

— Не могла же я смолчать! — заныла толстуха. — Рано или поздно все бы раскрылось. Не я, другая проговорила бы.

Я с такой яростью схватила ее за руку, что Антуана чуть не в голос завопила:

— Отпусти! Ой-ой! Пусти, Огюст, больно! Я не виновата, что они ее отослали! Нечего было ее тут держать!

— Антуана, посмотри мне в глаза! — Толстуха терла руку, не поднимая взгляда. — Куда ее отослали? К кому-нибудь в деревню? — Она беспомощно замотала головой, и я едва подавила желание ей наподдать. — Прощу тебя, Антуана! Я же мать, пойми! Скажи, я никому тебя не выдам!

— Не «Антуана», а «*ma soeur*»^[33]! — напыщенно поджав губы, произнесла толстуха. — Между прочим, гневаться грех. И волосы у тебя

длинные. Остригла бы. — Она взглянула на меня неожиданно нагло. — Теперь у нас все станет по-новому. Все равно придется.

— Пожалуйста, скажи, Антуана! Я отдам тебе последнюю бутылочку своего лавандового сиропа!

Глаза ее загорелись:

— И розовые лепестки в сахаре?

— Ну, изволь... Где Флер?

— Я слышала, как Матушка Изабелла говорила с новым духовником, — понизив голос, сказала Антуана. — Кажется, ее отправили к жене какого-то рыбака, куда-то на материк. Они той заплатили, — добавила она так, будто это была моя обязанность.

Но я не слушала ее:

— На материк? Куда именно?

— Больше ничего не знаю, — развела руками Антуана.

Я оцепенела, точно громом пораженная. До меня медленно доходило то, что случилось. Не успела я против него и пикнуть, как Черный Ворон уже обвел меня вокруг пальца. Понял, должно быть, что дочь бросить на произвол судьбы я никак не смогу. Без нее мне пути отрезаны.

Какое-то время я мысленно все еще цеплялась за попытку бежать. Следы еще свежие, хотя уже поздно, начался прилив, перебраться на ту сторону можно только завтра. Флер на острове все знали; возможно, кто-то видел, куда ее повезли. Но в глубине души я понимала: тщетно. Лемерль наверняка и это предусмотрел.

В груди у меня заныло. Я представила себе Флер взбудораженную, перепуганную, зовущую меня, такую несчастную, отнятую от матери, не получив ни светлого заговора, ни благословения звезд в напутствие. Кто, кроме меня, убережет ее от бед? Кто, кроме меня, знает ее привычки, кто помнит, что в зимние ночи нельзя гасить свечу у ее постельки, кто счистит темное пятнышко на яблоке, прежде чем разрезать на четвертинки?

— Я даже с нею не попрощалась... — вырвалось у меня невольно, но Антуана уже снова презрительно глядела на меня.

— Я не виновата, — снова повторила она. — У нас тут никого больше с детьми нет. Чем ты лучше других?

Я смолчала. Мне уже было ясно, кто затеял все это. Зачем это ему? Неужто что-то от меня надо?

Возвратившись к себе в келью, я обнаружила, что и постельки Флер уже нет. Все мое имущество как будто было на месте: книги и бумаги, запятанные за отстававший камень в стене, не тронуты. У кровати,

полускрытую под свисавшим одеялом, я обнаружила Муш, куколку Флер. Перетта соорудила ее из тряпок и лоскутков, когда Флер была совсем маленькая, и кукла стала любимой игрушкой дочки. Ручки и ножки Муш уже столько раз приходилось пришивать. Волосы у нее были из разноцветных пучков шерсти, а личико с глазами-пуговками и алыми щечками странным образом напоминало мордочку Перетты. Как и ее создательница, Муш была нема; на месте рта у нее и не было ничего нарисовано.

Я застыла с куклой в руках, мысли путались. Первым побуждением было отыскать нового духовника, заставить его, — пусть даже приставив к горлу нож, — сказать, куда он упрятал мою дочь. Но я хорошо знала Лемерля. Он бросил мне вызов, сделал первый решительный ход в игре, ставки которой были мне неведомы. Если пойду к нему сейчас, то стану пешкой в его игре. Надо выждать, и тогда, возможно, я заставлю его раскрыть карты.

Всю ночь я ворочалась и металась в жаркой постели. Мой отсек дальше всех от двери, и, пусть дальше идти к выходу по надобности, но соседка у меня всего одна. И еще у меня есть окно, хоть и выходит на восток, и мой крайний отсек просторней, чем другие. Ночь выдалась душная, сулившая грозу. В предрассветные часы, томимая бессонницей, я смотрела в окно, как занимается над морем гроза, безмолвно вспыхивая громадными ходулями зарниц на фоне ало-черных туч. Но дождя не было. Я думала: видит ли это Флер, или она, измученная, спит, засунув в рот пальчик, в чужом доме, у незнакомых людей.

— Ш-ш-ш-ш, Флеретта! — вместо пропавшей дочери, шептала я кукле, глядя шерстяные кудряшки, будто перебирая пальцами волосики Флер. — Я с тобой. Все хорошо.

Я начертала звездный знак на лобике у Муш и проговорила заклинание моей матери. *Stella, bella, bonastella*. Наверное, вульгарная латынь. Но в мелодике древних слов было что-то успокаивающее, и хоть сердце мое не перестало щемить, я почувствовала, что страх немного утихает. В конце концов, не может же Лемерль не понимать, если с головы Флер хоть один волосок упадет, ничего он от меня не добьется. Так я украдкой размышляла в дортуаре среди спящих сестер, прижав к себе Муш. Молния над морем озаряла острова один за одним.



19 июля, 1610

Сегодня особых перемен не произошло. Новая аббатиса надолго удалилась с Лемерлем в свою часовню, предоставив нас самим себе. Праздничность сменилась чувством тревожной неизвестности. Все переговаривались вполголоса, будто в присутствии тяжелобольного. Сестры вернулись к своим обязанностям, но в целом, кроме Маргериты и Альфонсины, без особого рвения. Даже Антуана уныло возилась в своей кухне, ее привычное идиотское добродушие увяло после вчерашнего обвинения в излишествах. Явились несколько рабочих из мирян осмотреть часовню, и у западного фасада уже возвели леса, вероятно, чтоб поглядеть, сильно ли прохудилась крыша.

И снова в то утро первым моим поползновением было отыскать Лемерля и расспросить про дочь. Несколько раз я уж было решалась направиться к нему, но вовремя себя сдерживала. Несомненно, именно моего прихода он и добивался.

Вместо этого я все утро проработала на солончаках, но привычной легкости как ни бывало, теперь я истово рубила мотыгой соляные кучи, превращая в грязную жижу гладкую белую массу. Исчезновение Флер, отзываясь где-то под ложечкой, все глубже, точно язва, разжигало все внутри. Как черное облако, эта боль на все набрасывала свою тень. Она была сильнее меня, но я знаю: молчание — мое единственное оружие. Пусть он сделает первый шаг. Пусть сам придет ко мне.

Возвратившись, я узнала, что Лемерль с новой аббатисой рано разошлись по своим почтенным обителям — она удалилась в келью своей предшественницы, он в домик у самых стен монастыря, — оставив сестер в непривычном для них смятении. В отсутствие аббатисы и духовника повсюду шепотом обсуждались грядущие нововведения, иные негромко роптали, и перемывалось множество досужих домыслов и скороспелых сплетен.

Во многом судачили о Лемерле, и меня не удивило, что о нем произносилось немало восторженных слов. Хоть кое-кто с возмущением высказывался о девчонке, задумавшей нарушить наше привычное существование, но лишь немногие остались равнодушны к благообразному новому духовнику. Конечно же, первым делом была очарована им

Альфонсина, перечислявшая достоинства мнимого отца Коломбэна с пылом новообращенки.

— Я сразу поняла, сестра Огюст. Я с первого же взгляда поняла это по его глазам! Такие глубокие, такие *всевидящие*! Будто проникают вглубь меня. До самой души! — Она дрожала, сомкнув веки, открыв рот. — Мне кажется, сестра Огюст, он истинно свят! В нем столько святости. Я чувствую это!

Надо признаться, Альфонсину уже не в первый раз одолевал приступ чрезмерного обожания, — такое уже случилось однажды по приезде к нам местного приора, повергшего ее недели на две в состояние прострации, и я надеялась, что и нынешнее пылкое восхищение Лемерлем у нее скоро пройдет. А пока она вспыхивает при звуках его имени и, драя полы, зачарованно то и дело повторяет шепотом, как молитву: *Коломбэн де Сент-Арман!*

На Маргериту он также произвел неотразимое впечатление. Как и Альфонсина, она проявила неистовое рвение к чистоте, беспрестанно мыла и терла что ни попадя; вздрагивала при малейшем шуме, а по приближении Лемерля краснела и заикалась, как юная отроковица, хотя сама она — высохшая сорокалетняя кляча, в жизни своей не знавшая мужчин. Видя ее смущение, Клемент безжалостно над ней потешалась, но остальные ее не трогали. Я бы сказала, ничего в чувствах Маргериты к новому духовнику комичного не было; что-то проглядывало в них темное, даже отталкивающее.

Прежде яростные соперницы, Маргерита с Альфонсиной сделались на время союзницами в общей страсти. Вместе они вызвались привести в порядок дом для Лемерля. Домик, заброшенный с времен черных монахов, находился в весьма запущенном состоянии. Утром Маргерита с Альфонсиной вместе отобрали мебель, которая, по их разумению, могла бы удовлетворить запросы нового духовника, обставили ею дом, и уже к вечеру все внутри блестело чистотой, земляной пол покрывал новый ковер, и во всех трех комнатках красовались вазы с цветами. Отец Коломбэн с надлежащим смирением выразил им свою благодарность, и с этой минуты обе сестры сделались его безоговорочными рабынями.

Вечерняя трапеза была скудна и состояла из одного лишь картофельного супа; мы ели в полном молчании, хотя двое новых обитателей монастыря в трапезной не присутствовали. Позже, собираясь ко сну после вечерни, я совершенно явственно увидела в окно, как Антуана шла через двор в сторону домика у ворот. Что-то несла на большом накрытом подносе. Что ж, пусть хоть новый духовник нынче откушает

вволю. Видно, что-то почуяв, Антуана обернулась на окно: на неявном в вечернем мраке лице тревожно чернел раскрытый рот. Внезапно она резко повернулась, надвинула плат пониже и исчезла во тьме.

Ночью я снова раскинула карты, вынув их осторожно, тихонько из тайника в стене. Отшельник. Двойка кубков. Шут. Звезда: ее круглое рисованное личико в обрамлении кудряшек и широко распахнутые глазки напомнили мне Флер. Башня, рушащаяся на фоне ало-черного неба, разрываемого зубчатыми стрелами молний.

Нынче ночью? Вряд ли. Но надеюсь, что скоро. Скоро. И если мне выпадет рушить башню, — камень за камнем, своими руками, — уж я порушу, будьте уверены. Я это сделаю.

19 июля, 1610

Ворожба! Это ли не ужасно? Сродни колдовству, иссушает плоть. «*Malleus Maleficarum*»^[34] называет это «отвратительной непристойностью», одновременно утверждая, что ворожба не сбывается. И все же удивительная штука — ее карты, столько там всяких поразительных подробностей. Возьмем, к примеру, Башню. До удивления похожа на монастырскую, такая же четырехугольная, такой же деревянный шпиль. Или вот эта Луна, правда, повернута вполборота, но ее лик до странности кого-то напоминает. И этот Отшельник в черном, едва видны глаза под низко надвинутым капюшоном, в одной руке посох, в другой — фонарь.

Нет, Жюльетта, тебе меня не провести. Я знаю, что у тебя есть тайник. Его и дитя малое могло бы отыскать за тем отходящим камнем в глубине дортуара. Особо таиться ты никогда не умела. Нет, я не стану тебя разоблачать... по крайней мере, пока. Ты можешь мне пригодиться. Всякому, даже такому, как я, необходим союзник.

В первый день я лишь наблюдал. Из моего домика у самых ворот можно видеть все, не оскорбляя праведных чувств. Желания и святому не чужды, твержу я Изабелле. В самом деле, если б не было желаний, можно ли было говорить о святости или о жертвенности? У меня нет желания жить в монастыре. Кроме того, я дорожу своим одиночеством.

В домике позади есть дверца, она выводит к глухой стене. Черные монахи, похоже, гораздо больше пеклись о грандиозности строительства, чем о собственной безопасности, ибо моя сторожка с таким впечатляющим фасадом таит в себе нечто большее: это не просто шаткая каменная постройка между монастырем и болотами. Это — легчайший способ улизнуть, если возникнет надобность. Но до этого не дойдет. Мое дело требует некоторого времени, и я исчезну тогда, когда мне будет нужно.

Как я уже сказал, сегодня я наблюдал издали. Она старается не показывать вида, но я вижу ее боль, вижу это напряжение в спине и плечах, хотя она пытается изобразить, будто ничто ее не угнетает. Когда мы странствовали вместе, она ни разу не срывала выступлений, даже когда выпадали увечья. Неизбежные беды, случающиеся даже в первоклассных трупках, — растянутые, порванные связки, даже переломы пальцев на

руках и ногах, — ничто не останавливало ее. Она неизменно, даже если от боли темнело в глазах, ослепительно улыбалась. Это был некий протест; собственно, против чего — непонятно. Возможно, против меня. Я и теперь вижу это в ней, и в том, как она отводит взгляд, и в ее мнимой смирности. Глубоко в ней засела боль, которую гордость показывать не позволяет. Она любит свою дочь. Пойдет на все, чтоб ее защитить.

Странно, я никогда и вообразить не мог, что моя Элэ способна родить ребенка; я считал, что она слишком неукротима, чтоб согласиться на такую неволю. Симпатичный детеныш, взгляд, как у матери, а в ее детской неуклюжести уже угадывается девичья грациозность. Она и нравом пошла в мать: когда я подсаживал ее к себе на лошадь, укусила меня, на руке остались следы ее маленьких зубок. Кто ее отец? Верно, какой-то случайный попутчик, какой-то не упустивший своего деревенский мужлан, или торговец, или актер, или священник.

Или я? Надеюсь, ради ее же блага, что нет. У меня дурная кровь, да и какой из меня, черной птицы, родитель? И все же я рад, что ребенок в надежных руках. Лягнула меня в бок, когда я спускал ее с лошади, и укусила бы снова, если б Гизо ее не удержал.

— Прекрати! — сказал я.

— Хочу к маме!

— Ты ее увидишь.

— Когда?

— Слишком много задаешь вопросов, — со вздохом сказал я. — Ну же, будь послушной девочкой и ступай с месье Гизо, он купит тебе пирожное.

Девчонка взглянула на меня. По щекам у нее текли слезы, но глаза были наполнены злостью, не страхом.

— Вороний дух! — выкрикнула она, выставив два толстых растопыренных пальчика. — Вороний дух, сгинь, пропади!

Только этого мне не хватало, думал я, возвращаясь обратно. Чтоб пятилетний ребенок меня проклял. Да и вообще, зачем такая обуза, как ребенок; с карликами справляться гораздо легче, они куда забавней. Правда, эта, кто б ни был ее папаша, — храбрый чертенок. Пожалуй, могу понять, отчего моя Жюльетта так ее обожает.

Но почему вдруг меня кольнула досада? Ее любовь — всего лишь ее слабость, и это мне на руку. Она рассчитывает обмануть меня, моя Бескрылая, отвлекая, как бекас, хищника от своего гнезда. Прикидывается дурочкой, ускользая от меня, появляется только в толпе, или трудится одна посреди солончаков, понимая, что на широком безлюдном пространстве я

поостерегусь к ней подойти. Сутки прошли. Я все ждал, что она ко мне придет. Упрямство ей свойственно, оно злит, но и радует меня. Может, во мне говорит моя испорченность, но мне и в самом деле нравится ее непокорность, и, пожалуй, будет жаль, если она вдруг ее утратит.

Кстати, союзники у меня уже появились. Сестра Пиетэ, которая не смеет поднять на меня глаз. Сестра Альфонсина, эта чахоточная, которая ходит за мной, как собака. Сестра Жермена, презирающая меня. Сплетница сестра Бенедикт. Для начала хватит любой из них. Возьмем, скажем, толстуху сестру Антуану: она, как пугливая овца, то и дело высовывает нос из своей кухни. Я послеживаю за ней и, пожалуй, она мне пригодится. По новому предписанию Антуана теперь работает в саду. Видал, как она копала, с непривычки пухлые щеки сплошь в красных пятнах. Вместо нее назначена келарем другая — костлявая, дергающаяся, с горящим, униженным взглядом. При *этой* уж точно никаких пирожков и булочек не будет. Никаких походов в одиночку на рынок, никаких недозволенных дегустаций старого вина. У сестры Антуаны руки жирные и красные, ступни в монашеских узких ботинках несуразно малы при ее-то формах. Что-то есть материнское в ее необъятной груди, расцветшей пышным цветом в ее кухонном мире среди колбас и поджарок. Ну, и что теперь? В одночасье ее щеки утратили прежнюю упругость. Кожа приобрела болезненный вид, будто створожилась. Пока Антуана со мной не заговаривает, но ей явно хочется. Я читаю это в ее глазах.

Вчера вечером, когда она принесла мне еду, я спросил, что у них было на ужин. «Картофельный суп», — ответила она, потупившись. Но для *mon père* имеется кое-что повкуснее. Не желает ли монсеньор чудный пирог с голубятиной и бокал красного вина? Персики из нашего монастырского сада? Какая жалость, засуха много сгубила. Глаза стрельнули на меня с немым призывом. Вот шельма! Думает, я ничего не замечаю. Как же, картофельный супчик! У самой слюнки потекли, едва заговорила про персики и про вино. Эта Антуана явно не чужда страстям; но куда же их деть, если выход перекрыт?

Постная пища пригасила добродушный пыл этой дурехи. Вид у нее растерянный и вместе с тем унылый, а от уныния недалеко и до озлобленности. Она почти созрела для моих целей. Постой, не спеши, говорю я себе. Погоди, пока она окончательно не осознает, чего лишилась. Я бы предпочел для начала орудие поотточенной, хотя, пожалуй, и этого достаточно.

В конце концов надо же с чего-то начать.



20 июля, 1610

Заново введены каждодневные богослужения. Звон старого колокола разбудил, созывая к Вигилии^[35], и со сна мне показалось, будто стряслось какое-то несчастье: кораблекрушение, шторм, чья-то внезапная смерть. Тут я заметила на подушке неприкаянную Муш, и внезапно нестерпимая боль сжала сердце. Чтоб никто не услышал моих слез, я вцепилась зубами в набитый соломой тюфяк и зарыдала, уткнувшись в него лицом; жаркие, взорвавшиеся порохом, слезы ярости ручьями текли по щекам.

В этот момент и застала меня Перетта. Она так тихо склонилась над моей постелью, что я не сразу ощутила ее присутствие. Будь это не она, наша полоумная девочка, а кто-то другой, я бы рванулась, как зверь в капкане. Но в тусклом свете факела Перетта смотрела на меня с такой искренней озабоченностью, что злости моей как не бывало.

Что говорить, в последние дни я почти забросила свою подружку. Я оказалась целиком во власти своих бед, о которых безумной Перетте не расскажешь. Хотя, может, порой я ее недооцениваю. Ее птичье воркование мне не понять, но в ее ясных, с золотистым ободком глазах я вижу понимание и глубокую, безоглядную преданность. Чуть улыбнувшись, она, глядя на меня, красноречиво указала себе на глаза.

Я утерла лицо тыльной стороной руки.

— Пустое, Перетта. Иди, уже на всенощную пора.

Но Перетта уже устраивалась на матрасе поближе ко мне, повернув под себя босые ножки, ботинки она по-прежнему упорно не носила. Маленькая ручка просунулась мне в ладонь. В эту минуту в своей немой, неназойливой ласке Перетта была так похожа на грустного щенка, что мне стало стыдно за внезапное желание ее оттолкнуть.

Я с трудом выдавила из себя улыбку:

— Не тревожься, Перетта! Я просто устала.

Так оно и было; долгие часы я промучилась без сна. Подняв голову, Перетта кивнула на опустевшее место рядом с моей кроватью, где прежде стояла кроватка Флер. Я молчала, и тогда Перетта легонько сдвинула мне плечо и снова кивнула на пустое место.

— Да, да!

Мне не хотелось ничего говорить. Но Перетта с таким страданием, с такой озабоченностью глядела на меня, что отмахнуться было невозможно.

— Скоро вернется, поверь!

Полоумная девочка глядела на меня, слегка склонив голову набок, и сейчас особенно походила на птицу. Потом приложила руки к щекам и состроила мордочку, как бы изображая новую аббатису, да так похоже, что при иных обстоятельствах я бы залилась смехом.

— Верно, — кивнула я, вяло улыбнувшись. — Это Мать Изабелла ее отослала. Но, вот увидишь, мы вернем Флер. Мы скоро вернем ее обратно.

Кто знает, бросаю ли я просто слова на ветер, или Перетта меня понимает. Но пока я говорю, она уже не слушает, ее внимание отвлек образок, висевший у нее на шее. Он был эмалевый, с изображением святой Кристины Чудотворной, раскрашенный оранжевым, красным, голубым и белым. Видно, яркие краски ей нравились, потому и носила образок. Святая, живая и невредимая, парила в кольце священного пламени; Перетта поднесла образок к глазам, что-то радостно воркуя себе под нос. Она так и не отрывалась от образка, пока мы наконец не вошли с ней в часовню и не заняли свои места в толпе монахинь.

Всенощная длилась дольше, чем я ожидала. Новая аббатиса не позволила зажигать много свечей, и сама время от времени проходила вдоль рядов со светильником, чтоб удостовериться, что никто не заснул. Пару раз она резко окрикивала сестер клевавших носом, — кажется, сестру Антуану и еще сестру Пиетэ, — ведь пение звучало тихо и даже убаюкивающе, а ночь, согретая долгими часами дневного солнца, еще не достаточно остыла, чтоб ободрить прохладой. Минуло почти два часа, прежде чем снова зазвонил колокол уже к Хвале, началу заутрени, и стало ясно, что прежней передышки между двумя службами теперь не будет. На мне были шерстяные носки, но я дрожала от холода, хотя сквозь щели крыши уже просачивался рассвет. Снова дважды ударил колокол, призывая к Хвале, и по толпе пробежал шумок, так как снова перед всеми явился Лемерль.

Вмиг от сонливости у сестер не осталось и следа. Вокруг занялось еле слышное шевеление, головы, точно подсолнухи к солнцу, поворачивались к Лемерлю. Кажется, одна я так и не подняла головы. Вперив взгляд в сомкнутые руки, я слышала, как он идет, его легкую, такую знакомую поступь по мраморным плитам, и поняла, что он остановился у кафедры, замер в своем черном одеянии, одной рукой взявшись за серебряный крест, который теперь не снимал.

— Дети мои. *Iam lucis orto sidere*. Взошла утренняя звезда. Возвысьте

голоса свои, чтобы приветствовать ее.

Я пела псалом, по-прежнему не поднимая глаз, слова странным эхом отдавались в мозгу. *Iam lucis orto sidere...* Ведь и Люцифер до своего падения, подумалось мне, был Утренней Звездой, самым ярким среди ангелов. И при этой мысли я невольно во время пения взглянула на Лемерля.

Слишком поздно я отвела взгляд. *Iam lucis orto sidere.* Он смотрел прямо на меня и улыбался, словно прочел мои мысли. Лучше бы я не поднимала головы.

Псалом пропели. Началась служба. Я почти не слышала, что говорилось о посте, о покаянии, я замкнулась в своем горе; ничто остальное меня не трогало. Слова: *раскаяние, суетность, соблазн, смирение* — точно пчелы, с жужжанием проносились мимо ушей. Они для меня утратили значение. Я думала только о Флер, в утешение у которой не было даже Муш, о том, что все случилось так быстро, что даже носик утереть, даже ленточку завязать я ей не успела.

Кыш, прочь, прочь! Я растопырила два пальца — знак оберега. Не смей больше упиваться своим несчастьем! Что бы Лемерль ни замышлял, не навечно же он поселился в монастыре. Он уедет, и я отыщу свою дочь. Пока же придется играть по навязанным им правилам. Я использую все известные мне ухищрения, чтоб ни единый волосок не упал у нее с головы, а если по его вине что-то с нею случится, я убью его. Он это знает; поэтому ничего плохого ей не сделает. Хотя бы пока.

Какое-то движение вывело меня из ступора. Я подняла голову. Я стояла почти в самой глубине часовни; сначала мне показалось, что монахини со смиренно склоненными головами двинулись вперед для причащения. У алтаря на коленях, опустив голову, держа в руке плат, стояла одна. Вереница сестер тянулась вслед, и каждая, подходя, снимала плат. Я последовала за всеми, считая, что так велено. Продвигаясь вперед к кафедре, я сталкивалась с возвращавшимися оттуда сестрами. Дрожа, точно овцы, они шли, точно в полусне, мимо моего взгляда, с обескураженными, растерянными лицами. И тут я увидела ножницы в руке Лемерля и все поняла. Новации начались.

Впереди меня Альфонсина заступила на свое место у кафедры, в трепете полного повиновения подставив затылок под ножницы. Настала очередь Антуаны. Прежде я никогда не видала ее с непокрытой головой, и внезапно открывшиеся ее густые волосы поразили меня своей красотой. Но вот в дело вступили ножницы, и Антуана вновь стала прежней, бесцветной, точно выброшенная на берег медуза, губы беспомощно вздрагивают.

Лемерль произносит свое благословение:

— Отныне отрину я всю суету мирскую во имя Отца и Сына и Святого духа!

Бедная Антуана. Какую иную мирскую суету ведала она в своей грустной, наполненной страхом жизни, кроме кухонной и провиантской? Мимолетная красота явилась и погасла. Она стояла, испуганно тараща глаза, волосы неровными клочками торчали в разные стороны; тучные, сведенные вместе руки шевелились, будто все ее утешение было в привычном, покойном мешании теста.

Следующей была Клемент: она склонила голову, льняные пряди блеснули в свете. Как странно: только вечно молчаливая Жермена вскрикнула, едва ножницы коснулись волос Клемент. Клемент просто дерзко взглянула на Лемерля, от стрижки она стала моложе, блудница с лицом отрока.

Но волосы были не единственной мирской суетой, которую нам предстояло отринуть. Старая Розамонда с остриженной, плешивой головой покорно сняла с шеи и протянула Лемерлю свой золотой крестик. Губы ее шевелились, но слов было не разобрать. Скоро на обратном пути она поравнялась со мной, подслеповато шаря взглядом по часовне, будто ища кого-то и не находя. За ней Перетта, уже и так остриженная, угрюмо вытягивала из карманов свои сокровища. Какое там — жалкие безделки. Обрывок ленты, гладкий камешек, лоскуток, ничтожные, безобидные суетные пустяки, милые лишь детской душе. Особенно не хотелось ей расставаться со своим эмалевым образком, и уж было удалось спрятать его в кулачке, но сестра Маргерита не преминула заметить, и образок последовал вдогонку остальным сокровищам. Перетта ощерилась маленькими зубками на Маргериту, но та благочестиво отвела взгляд. Краешком глаза я видела, что Лемерль едва сдерживает смех.

Теперь моя очередь. Я бесстрастно смотрела в пол, пока мои волосы, огненный локон за локоном, падали вниз на грудь прочих трофеев. Я думала, почувствую что-нибудь, — ярость или стыд, — этого не случилось, только затылок жгло от его пальцев, когда он, подавшись ко мне, смахивал вниз ворох спутанных прядей, срезая новые проворной, уверенной рукой, что помогло скрыть от чужих глаз тайное: то прижмет мне большим пальцем мочку уха, то чуть коснется впадинки на шее, — все это прodelывалось скрытно, так чтоб никто не заметил.

При этом говорил он на два голоса: для всех громко произносил свое *Benedictus*^[36], а мне еле слышно, едва шевеля губами, быстро нашептывал:

— Dominus vobiscum. Ты избегаешь меня, Жюльетта. Agnus Dei, что

весьма неумно, qui tollis peccata mundi, нам надо поговорить, miserere nobis^[37]. Я могу тебе помочь.

Я метнула на него полный ненависти взгляд.

— O felix culpa, ты прелестна, когда злишься. Quae talem ac tantum, встретимся в исповедальне, meruit habere Redemptorem^[38], завтра, после вечерни.

Вот и все. Я поплелась на свое место, чувствуя, как странно кружится голова, как сильно бьется сердце и как призраки его пальцев крыльями огненных бабочек порхают у меня вдоль шеи.

В завершение обряда все мы числом в шестьдесят пять сидели на своих местах: остриженные, с каменными лицами. Щеки у меня по-прежнему горели, сердце отчаянно билось, и я, отчаянно стараясь это скрыть, сидела, потупив взор. Розамонде и кое-кому из монашек постарше пришлось поменять свой прежний кишнот на новый крахмальный плат, милый сердцу новой аббатисы; в полумраке сестры в темных балахонах и белых платах походили на стайку чаек. То, что прежняя наша настоятельница нам позволяла, — дешевые безделушки, колечки, бусы, безобидные тесемочки и ленточки, — было до последней ленточки изъято. Суета мирская, важно поучал Лемерль, что позолота на свином рыле, мы же соблазнились на внешний блеск. Бернардинский крест, пришитый на облачении монахини, уверял он, вполне достойное украшение; при этом его серебряный злорадно поблескивал на свету.

После общего благословения и слов покаяния, которые я пробубнила вслед за остальными, повела речь новая аббатиса:

— Это первая из многих перемен, что я намерена произвести. Сегодняшний день мы проведем в посте и в молитвах, дабы подготовиться к тому, что предстоит нам завтра. — Она умолкла, вероятно, чтобы увидеть по обращенным к ней лицам, какое впечатление произвели ее слова. Затем продолжала: — Я говорю о погребении моей предшественницы в том месте, где подобает ей быть погребенной: в нашем монастырском склепе.

— Так ведь мы же...

Слова вырвались невольно, я не смогла сдержаться.

— Сестра Огюст? — Презрительный взгляд. — Ты что-то сказала?

— Простите, Матушка! — Лучше было бы смолчать... — Но прежняя Мать-настоятельница была... женщина тихая, скромная, она не любила... шумных церковных обрядов. Потому мы и похоронили ее по своему разумению так, как ей бы хотелось. Не стоит ли оставить ее по-доброму там, где она упокоена?

Мать Изабелла стиснула кулачки.

— По-твоему, *по-доброму* — закопать усопшую настоятельницу где-то на задворках монастыря? — вскинулась она. — Насколько я знаю, ее похоронили где-то в огороде, так? Как такое могло в голову взбрести?

Препираться было бессмысленно.

— Мы сделали то, что считали нужным в тот час, — сказала я смиренно. — Теперь вижу, что мы поступили неверно.

Мгновение Мать Изабелла с подозрением меня рассматривала. Потом отвела взгляд, бросив:

— Я забыла, что в отдаленных местах старые обычаи и предрассудки особенно живучи. Не будем усматривать в каждом недопонимании греховный умысел.

Отлично сказано. Правда, подозрительность в ее голосе не исчезла, и я поняла: она меня не простила. Во второй раз я стала причиной недовольства новой аббатисы. У меня отняли дочь. Выходит, ловкий Лемерль как бы невзначай прибирает меня к рукам; он явно понимает, еще одна провинность — намек на богохульство, небрежное напоминание о том, что я сочла давно позабытым, и Церковь обрушит на меня свои дознания и расспросы. Похоже, это время уже не за горами. Надо бежать. Но без Флер я не побегу.

И я выжидала. Ненадолго мы отправились в каминную залу. Потом был Час Первый^[39], потом Час Третий^[40], нескончаемое пение молитв и псалмов, и все это время Лемерль насмешливо-благодарно на меня поглядывал. Дальше — собрание капитула. Весь последующий час распределялись обязанности, с армейской четкостью назначались часы молений, дни поста, правила благопристойности, одеяния, поведения. Великие Реформы развернулись полным ходом.

Было объявлено, что требуется подновить часовню. Строители из мирян займутся починкой крыши снаружи, а ремонт внутри — наше дело. Миряне, которые до сих пор выполняли у нас всякую черную работу, отныне должны быть распущены. Негоже монахиням сидеть в праздности сложа руки, заставляя других работать на себя. Перестройка аббатства отныне должна стать нашей главной работой, и до ее завершения каждая должна быть готова трудиться за двоих.

Меня возмутило, что теперь наше свободное время после Завершающего Часа^[41] сокращается до получаса, и проводить его следует в молитвах и размышлениях, а также что категорически запрещаются наши походы в городок и в гавань. Прекращались также и мои занятия латынью с

послушницами. Мать Изабелла не усмотрела необходимости в обучении послушниц латыни. Достаточно знать Священное Писание; все остальное опасно и ненужно. Установили новое распределение обязанностей, начисто опрокинувшее весь привычный порядок. С изумлением я обнаружила, что Антуана теперь не заправляет кухней и погребам, что отныне мой огород целебных трав будут пестовать другие монахини, но даже это известие я приняла равнодушно, считая, что дни мои в монастыре сочтены.

Затем началось покаяние. Во времена Матушки Марии исповедь длилась всего лишь несколько минут. Теперь целый час, а то и больше. Тон задала Альфонсина.

Косясь на Лемерля, она принялась бормотать:

— Прежде меня посещали непочтительные мысли о Матушке-настоятельнице. И я что-то сказала в церкви не к месту, и тут как раз зашла сестра Огюст.

Вполне в ее духе, отметила я, напомнить, что я опоздала.

— Что за мысли? — осведомился, блеснув глазами, Лемерль.

Альфонсина сжалась под его взглядом.

— Ну, такие же, как у сестры Огюст. Мол, Матушка слишком юная. Почти что ребенок. Откуда ей понять что и как.

— Похоже, сестра Огюст весьма вольна в своих суждениях — сказал Лемерль.

Уставившись в пол, я не поднимала головы.

— Я не должна была ее слушать.

Лемерль промолчал, но я чувствовала, что он улыбается.

Вскоре за Альфонсиной последовали остальные, прежняя нерешительность внезапно перетекла в живую готовность. Да, мы признавались в своих грехах, мы стыдились греха; но многим впервые в жизни уделялось отдельное внимание. Было в этих признаниях что-то болезненно захватывающее, сродни расчесыванию зудящего места; что-то даже заразительное.

— Я задремала во время всенощной, — признавалась сестра Пиетэ, невзрачное, редко с кем заговаривавшее существо. — Однажды дурное слово вырвалось, не успела язык прикусить.

Сестра Клемент:

— Я разглядывала себя, когда мылась. Когда разглядывала, меня посещали дурные мысли.

— Я стащила п-пирог из зимнего погреба. — Это — сестра Антуана, краснея и заикаясь. — С начинкой из свинины с луком, с подмокшей корочкой. Украдкой съела за монастырскими воротами, потом живот

прихватило.

Следующей, похоже наобум, называла свои грехи Жермена: *Обжорство. Похоть. Жадность*. На нее, по крайней мере, чары Лемерля не действовали, — никаких эмоций, в непроницаемом взгляде чувствовалась насмешка. За ней последовали сестра Бенедикт со слезливым признанием, что отлынивает от обязанностей, и сестра Пьер, сознавшаяся в краже апельсина. Каждая исповедь вызывала волнение в толпе, и оно словно выпихивало вперед очередную грешницу. Сестра Томасина, рыдая, признавалась в похотливых мыслях; несколько монашек всплакнуло от жалости, сестра Альфонсина ела Лемерля глазами, а Мать Изабелла стояла и слушала с кислым видом, становясь все мрачней и мрачней. Она явно большего ожидала от нас. Мы же покорно старались ей угодить. С каждым разом признания становились все изощренней, обрастали все новыми деталями. В ход шло все что ни попадя: и жалкие крохи былых прегрешений, и крошки стянутого пирога, и сластолюбивые сны. Каявшиеся в первых рядах теперь ощутили всю бледность своих признаний. В переглядываниях вскипала злоба. Бормотание переросло в нарастающий гул.

Теперь настал черед Маргериты. Они с Альфонсиной переглянулись, и я поняла, что сейчас что-то произойдет. И украдкой прикрыла ладонью расставленные против лиха два пальца. Предчувствие сжало сердце с такой силой, что стало трудно дышать. Подрагивая, как пугливый кролик, Маргерита трусливо взглянула на Лемерля.

— Ну? — в нетерпении бросила Изабелла.

Маргерита разинула рот и тут же беззвучно его закрыла. Альфонсина смотрела на нее с плохо скрываемым презрением. Наконец Маргерита, не отрывая взгляда от Лемерля, запинаясь, тихо проговорила:

— Мне снятся демоны. Они наполняют мои сны. Разговаривают со мной, когда я лежу в постели. Трогают своими огненными пальцами. Сестра Огюст дает мне снадобье, чтоб заснуть, но демоны все равно являются!

— Какое снадобье?

В наступившем молчании я, не поднимая глаз, чувствую, что Изабелла впилась в меня взглядом.

Все головы поворачиваются ко мне, я говорю:

— Средство, чтоб уснуть, только и всего. Лаванда с валерианой, успокаивает нервы. Что тут такого?

Слишком поздно понимаю, что буркнула резковато.

Мать Изабелла, приложив ладошку ко лбу Маргериты, говорит с

легкой, холодной улыбкой:

— Не думаю, что отныне тебе понадобится зелье сестры Огюст. С этого дня мы с отцом Коломбэном примем заботу о тебе. Покаянием и смирением мы искореним без остатка все зло, обуявшее тебя.

И под конец, повернувшись ко мне, Изабелла произносит:

— Что ж, сестра Огюст. У тебя, как я вижу, на каждое слово есть свой ответ. Не желаешь ли и ты сделать нам какое-либо признание?

Предчувствуя опасность, я не успела сообразить, как ее избежать.

— Я... Пожалуй что нет, *Матушка!*

— Что? Как это «нет»? Ни единого проступка, ни единой слабости, ни единого злого деяния, ни единой черной мысли? Даже и во сне?

Наверное, мне следовало, как и остальным, что-то выдумать. Но Лемерль по-прежнему смотрел с меня, и я почувствовала, как во мне все взбунтовалось; щеки запылали.

— Я... простите, Матушка. Запаятовала. Я... не умею исповедываться прилюдно.

Мать Изабелла улыбнулась неожиданно не по-детски колюче.

— Вот как! Сестра Огюст обладает правом тайной исповеди? Публичное признание ниже ее достоинства. Ее грехи остаются лишь между нею и Всевышним. Она без посредников общается с Господом.

Альфонсина прыснула. Клемент и Жермена переглянулись с ухмылкой. Маргерита набожно возвела очи к небу. Хихикнула даже Антуана, во время собственной исповеди багровевшая, точно свекла. В этот момент мне стало ясно, что каждая, без исключения, сестра в этой часовне испытывает постыдно жгучее удовольствие от публичного унижения себе подобной. Стоявший позади Матушки Изабеллы Лемерль изобразил невинную улыбку, будто все происходящее вокруг не имело к нему ни малейшего отношения.



21 июля, 1610

Епитимией мне явилось молчание. Принудительное молчание в течение двух суток, с наставлением прочим сестрам докладывать о малейшем нарушении повеления. Для меня это не было наказанием. Признаться, я с благодарностью восприняла такую передышку. К тому же, если мои ожидания оправдаются, скоро нас с Флер здесь уже не будет. *Встретимся в исповедальне после вечерни*, сказал Лемерль. *Я могу тебе помочь.*

Он готов вернуть мне Флер. Как иначе стоило понимать его слова? Зачем иначе было бы ему рисковать, встречаться со мной? Сердце мое неистово трепетало при этой мысли, всякая осмотрительность была забыта. К дьяволу все предосторожности! Мне нужна моя дочь. Никакое даже самое тяжкое наказание не шло в сравнение с болью этой утраты. Что бы ни потребовал Лемерль от меня взамен, я с радостью бы все исполнила.

Вечная сплетница Альфонсина, получившая то же наказание, переживала его гораздо болезненней и с видом глубочайшего раскаяния, чего, к ее огорчению, никто, казалось, не замечал. В последние дни кашель у нее усилился, а вчера она отказалась от еды. Приметив симптомы, я все же надеялась, что усилившееся рвение не обострит в очередной раз ее болезнь. Маргериту, дабы исцелить от ее ночных посетителей, на месяц поставили смотреть за временем; отныне именно она должна была звонить к заутрене, спать в одиночестве на колокольне, в деревянном, подвешенном на канатах ящике, и просыпаться каждый час, чтобы вызванивать время. Сомнительно, что это могло бы ей помочь, хотя сама Маргерита, похоже, была от такого наказания в восторге. Правда, тик у нее усилился, а левый бок слегка онемел, так что при ходьбе она волочила ногу.

На нас никогда не обрушивалось столько взысканий. Наверно, более половины сестер оказались так или иначе им подвержены, начиная с повеления Антуане поститься, — что для нее было вполне жестокой карой, — и переместиться в жаркую пекарню, и кончая предписанием Жермене рыть ямы для новых отхожих мест.

Это создало меж нами непривычное расслоение на добродетельных и наказуемых. Я уловила чуть высокомерный взгляд сестры Томасины, когда мы столкнулись с ней посреди аркады, а сестра Клемент изо всех сил

старалась выжать из меня хотя бы слово, правда, безуспешно.

Сегодняшний день тянулся с угнетающей бесконечностью. Я два часа проторчала в трапезной, вычищая добела блеклые стены и оттирая липкий от накопившегося жира пол. Потом помогала ремонтировать часовню, молча подносила ведра с раствором веселым, обнаженным до пояса работникам, орудовавшим на крыше. Затем последовал молебен на картофельном поле: Лемерль торжественно, помахивая кадилом, провел поминальный обряд, недополученный нашей бедной Матушкой-настоятельницей, а мне вместе с Жерменой, Томасиной и Бертой выпала малоприятная участь вскрытия свежей могилы.

Еще не было и полудня, но солнце сильно припекало, и воздух дышал зноом, когда мы шли с лопатами и совками к месту захоронения. Вскоре все уже обливались потом. Земля там песчаная и сырая, белая от солнца, но если копнуть поглубже — красная. Чуть влажная земля налипала на саван и на наши одежды, когда мы счищали песок с погребенной. Дело было нехитрое, хотя требовало определенного мужества; земля не успела как следует вьесться, ее еще ничего не стоило счистить скребком. Тело было увернуто простыней, она потемнела в местах соприкосновения, и отпечатки головы, ребер, локтей и ступней четко вырисовывались на кремовом полотне. Едва это завидев, сестра Томасина чуть не лишилась чувств, но я в своей жизни насмотрелась на покойников, и сама, осторожно и с должным почтением потянулась в могилу за останками. Отягощенная налипшей землей Матушка Мария оказалась тяжелей, чем была при жизни, мне стоило труда бережно поднять ее, подтягивая за плечи. Но при всей тяжести она, казалось, вот-вот рассыплется, как вынесенная волной на берег, припорошенная песком деревяшка. Саван с нижней стороны был много грязнее, на нем явственно проступали очертания позвоночника и ребер. Вынимая Матушку из поруганного места упокоения, я обнаружила под ней множество черных жуков, которые, едва попав под яркое солнце, мигом втянулись в песок, как капли жаркого свинца. При виде них Берта, не удержавшись, пронзительно взвизгнула, чуть не выронив из рук свой конец ноши. Жуки метались у нее по рукаву, заползали внутрь. Альфонсина смотрела заворуженно, с ужасом. Только Жермена, казалось, сохраняла хладнокровие, и она помогла мне вынуть тело из ямы; обезображенное лицо хранило невозмутимость, мускулистые плечи напряглись. Сперва запах был едва уловим, вполне переносимый, легкий, он отдавал землей и прахом, но едва мы перевернули Матушку-настоятельницу ничком, зловоние, как от протухшей свинины или нечистот, густо ударило в ноздри

жутким полуденным жаром.

Напрасно я сдерживала дыхание, чтобы унять подступившую тошноту. Пот заливал глаза, струился по всему телу. Жермена прикрыла рот скомканной полкой фартука, но и это не помогло, я видела, с каким омерзением она тянет труп из ямы.

Издали, зажимая нос белым платком, за нами наблюдала Мать Изабелла. Не берусь утверждать, что она улыбалась, но глаза у нее непривычно блестели, щеки пылали ярко, явно не от зноя.

Думаю, от полного удовлетворения происходящим.

Мы погребли Матушку-настоятельницу в склепе, находившемся в глубине крипты, внутри одного из многочисленных могильников, оставленных черными монахами. Могильники похожи на каменные амбары, при каждом плита для прикрытия входа, на некоторых выбиты даты, имена и надписи на латинском. Я заметила, что кое-где плиты опрокинуты, но внутрь старалась не заглядывать. Повсюду прах и песок, воздух холодный и влажный. Понятно, Матушке Марии теперь уже все равно, и это уж не моего ума дело.

После краткого отпевания сестры поднялись в часовню, я же осталась, чтобы заделать усыпальницу. На полу, чтоб не в потемках работать, стояла свеча, сбоку ведро с раствором и мастерок. Сверху доносилось пение, сестры тянули псалом. Перед глазами у меня слегка плыло; бессонные ночи, полуденный зной, зловоние, внезапный холод склепа — все это, вкупе с вынужденным голоданием, вызвало во мне тупое оцепенение. Я потянулась за мастерком, тот выскользнул из пальцев, и я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Я прислонилась головой к стене, чтобы опереться, вдыхая запах селитры и ноздреватого камня, и тут на мгновение мне представилось, что я в Эпинале, и все во мне похолодело от внезапно накатившего страха.

В этот момент порывом воздуха из склепов задуло свечу, и я оказалась в крошечной тьме. Вмиг неукротимый ужас накатил на меня. Надо выбраться отсюда! Я ощущала, как темнота давит в спину, как мертвая монахиня скалится из своего склепа, как другие мертвецы, черные монахи, коварные в своем прахе, тянут ко мне иссохшие пальцы... Надо отсюда выбраться!

Я неуверенно шагнула вслепую и опрокинула ведро с раствором. Склеп будто разверз передо мной свою черную пасть; я не могла уже нащупать стен. Мелькнуло дикое желание расхохотаться, взвыть. Нет, я должна выбраться отсюда! Рванувшись, я ударилась виском о каменный

угол и рухнула, загремело ведро; я лежала в полузабытьи, и черные розы распускались у меня под закрытыми веками. Службы наверху я уже не слышала.

Меня обнаружила Альфонсина. К тому моменту непривычная паника прошла. Я приподнялась, села на полу, все еще плохо соображая, приложив руку к ушибленному виску. Свеча Альфонсины высветила крипту, как оказалось, неожиданно тесную, не просторней кухонного буфета, со всеми своими ладными могильниками и низкими сводами, которые зрительно и делали склеп меньше, чем он был на самом деле. Альфонсина вытаращилась на меня.

— Сестра Огюст? — резко прокатилось по склепу. — Что с тобой, сестра Огюст?

От волнения она позабыла, что говорить со мной запрещено.

Должно быть, я пришла в себя не полностью, как мне показалось сгоряча. Сперва произнесенное ею имя я не признала как свое. Я и Альфонсину не узнала, лицо ее было искажено светом свечи.

— Ты кто? — спросила я.

— Она не узнает меня! — пронзительно завопила Альфонсина. — погоди, сестра Огюст! Я иду к тебе на помощь!

— Все в порядке, Альфонсина, — отозвалась я. Ее имя я вспомнила так же скоро, как успела забыть, а с ним вернулась и смертельная усталость. — Видно, я споткнулась, ударилась о расколотую плиту. Свеча погасла. На миг я потеряла сознание.

Но она меня уже не слышала. Бурные события последних дней, темнота склепа, эксгумация, панихида и теперь это очередное волнующее происшествие — все это не могло не сказаться на болезненном воображении Альфонсины, которую всякие страсти занимали больше, чем кого бы то ни было. К тому же вчера и Маргерита заворожила всех своими демоническими видениями...

— Ты чувствуешь? — зловеще выдохнула Альфонсина.

— Что?

— Тс-с-с! — многозначительно зашипела она. — Будто холодом повеяло!

— Ничего я не чувствую. — Я с трудом поднялась на ноги. — Послушай, дай мне руку!

Альфонсина вздрогнула от моего прикосновения:

— Ты уже давно здесь, в подземелье. Что это было?

— Ничего. Уверяю тебя. Я лежала в беспамятстве.

— А ты не почувствовала... *присутствие!*

— Нет.

Несколько сестер сверху пялились вниз в крипту, лица расплывались в полумраке.

Пальцы Альфонсины в моей руке были холодны, как лед. Она смотрела куда-то мимо меня, на что-то за моей спиной. С упавшим сердцем я угадала признаки приближающегося недуга.

— Слушай, Альфонсина... — начала я.

— Я чувствую! — Ее всю трясло. — Он прошел прямо через меня. Этот холод. Холод!

— Ладно, ладно, — согласилась я, только чтобы сдвинуть ее с места. — Может, что-то и было. Но ничего особенного. Пошли!

Я оборвала ее горячечные фантазии. Альфонсина взглянула обиженно, и мне вдруг стало весело. Бедняжка! Ведь я ей все испортила! После кончины Матушки-настоятельницы впервые за последние пять лет она словно ожила. Ее возбуждают *театральные страсти*: ей необходимо рвать на себе волосы, хлестать себя плетью, публично каяться. Но за каждое представление приходится расплачиваться. Она кашляет все чаще, глаза горят лихорадочным блеском, и спит почти так же плохо, как и я. Я слышу, как она ворочается в отсеке, рядом с моим, шепчет что-то, то ли молится, то ли негодует, порой скулит и выкрикивает что-то, обычно тихо и одно и то же, как молитву, повторяемую без конца, когда слова уже теряют свой смысл.

— Отец мой... Отец мой...

Я буквально поволокла ее на себе наверх по ступенькам склепа.

Внезапно ее пронзило:

— Матерь Божья! Обет молчания! *Епитимья!*

Я попыталась заставить ее замолчать. Но было слишком поздно. Нас уже со всех сторон обступили сестры, прикидывавшие, заговаривать с нами или не стоит. Лемерль держался поодаль. Вся эта сцена разыгрывалась явно для него, и он это понимал. Рядом с ним стояла Мать Изабелла, смотрела на нас, слегка приоткрыв рот. Что ж, все разыграно, как по нотам, со злостью подумала я. Она получила как раз то, о чем мечтала.

— Матушка, — завопила Альфонсина, грохаясь на колени на пол посреди часовни. — Матушка, виновата! Наложите на меня еще одну епитимью, сотню епитимий, если нужно, но только простите!

— Что произошло? — резко спросила Изабелла. — Что такого сказала сестра Огюст, отчего ты нарушила обет молчания?

— Матерь Божья! — Альфонсина явно входила в роль. Я поняла по ее голосу, что она почуяла внимание публики. — Я ощутила это, Матушка!

Мы обе! Мы обе ощутили этот ледяной холод!

И действительно, ее рука была холодна, как лед. Сопереживая, я и сама едва не похолодела.

— *Что же такое* вы ощутили?

— Ничего особенного! — Мне меньше всего хотелось привлекать к себе внимание, но я просто не выдержала. — Подуло из-под сводов в подземелье, только и всего. У нее нервы шалят. Она вечно...

— Молчать! — взорвалась Изабелла. Снова повернувшись к Альфонсине, она спросила: — *Что ты ощутила?*

— Демона, Матушка! Я ощутила его присутствие, точно порыв ледяного ветра. — Альфонсина взглянула на меня, как мне показалось, явно довольная собой. — Ледяного ветра!

Изабелла повернулась ко мне, но я пожала плечами и повторила:

— Подуло из-под сводов. У меня задуло свечу.

— Я знаю, что это было! — Альфонсину снова всю затрясло. — И ты это почувствовала, Огюст. Сама сказала! — Лицо у нее перекосилось, она кашлянула раз, еще. — Подуло прямо в меня, уверяю тебя, демон вошел *прямо в меня*, и... — Она уже задыхалась, хватаясь за горло. — Он все еще во мне! — вопила она. — *Во мне!*

Забившись в конвульсиях, она стала оседать на пол.

— Поддержите же ее! — крикнула Мать Изабелла, слегка теряя самообладание.

Но удержать Альфонсину было невозможно. Она кусалась, плевалась, вопила, отчаянно брыкалась; стоило мне подойти, как она принималась неистовствовать еще пуще. Потребовались усилия троих сестер — Жермены, Маргериты и немой монахини сестры Клотильды, — чтобы ее удержать и не дать сомкнуть рот, чтобы она не прикусила язык. Но даже и при этом Альфонсина продолжала вопить, пока наконец сам отец Коломбэн не подошел к ней, не осенил ее крестным знамением, лишь только тогда она утихла, повиснув у него на руках.

Тут Изабелла спросила меня:

— О чем это она, что такое в нее вошло?

— Не знаю, — сказала я.

— Что произошло в крипте?

— Мою свечу задуло. Я споткнулась и упала.

— А сестра Альфонсина?

— Не знаю.

— Она говорит, что знаешь.

— Что подделаешь. Она вечно выдумывает. Ей важно внимание

привлечь. Это все знают.

Изабеллу мой ответ не удовлетворил.

— Она пыталась мне что-то рассказать, — настойчиво твердила она. — Ты помешала ей. Что такое она могла...

— Ради Бога, об этом потом!

Я почти забыла про него: Лемерль. Рядом в узком луче света он театрально застыл с припавшей к нему Альфонсиной, ловившей ртом воздух, точно рыба, выброшенная на берег.

— Надо немедленно отвести несчастную в лечебницу. Полагаю, вы распорядитесь снять с нее епитимью? — продолжал он. Мать Изабелла не отвечала, по-прежнему глядя на меня. — Или хотя бы предпочтете получить ответ на ваш вопрос в иное удобное для вас время?

Изабелла слегка покраснела.

— Случившееся требует внимательного и тщательного расследования, — сказала она.

— Несомненно. Но только когда сестра Альфонсина будет в состоянии говорить.

— А сестра Огюст?

— Возможно, завтра?

— Но, *отец мой*...

— Завтра к собранию капитула уже кое-что прояснится. Уверен, вы согласитесь, что излишняя поспешность здесь неуместна.

Последовала долгая пауза. Наконец Мать Изабелла сказала:

— Быть по сему. Подождем до завтра. До капитула.

И тут я повернулась в его сторону, и вновь поймала на себе его взгляд, ясный, будоражащий. В голове стремительно пронеслось: вдруг ему известно, что произошло в крипте, не он ли сам все это подстроил, чтобы я снова оказалась в его власти... Теперь от него можно всего ожидать. Он вероломен. И слишком хорошо меня знает.

Что ж, подстроил он это, нет ли, это был повод преподать мне урок. Лемерль указал мне, что без его участия я беззащитна, что положение мое весьма ненадежно, словно я стою на истертом канате. Хочу я того или нет, без его помощи мне не обойтись. А Черный Дрозд, это я знала по прошлому, никогда задешево свои услуги не продает.

21 июля, 1610

— Помилуй меня, святой отец, ибо я согрешила.

Наконец-то. Явилась на исповедь. О, как приятно держать ее покорную в своих руках, мою дикарку, мою хищную птицу. Я чувствую ее взгляд через решетку исповедальни, и на трепетное мгновение ощущаю и себя пойманным в клетку. Ощущение неповторимо. Слышу ее учащенное дыхание, вижу, каким громадным усилием воли она заставляет свой голос звучать ровно, произносить необходимые слова. Свет сверху из окна тускло просачивается в исповедальню, роняя на ее лицо арлекинский узор из розовых и черных квадратов.

— Неужто моя Элэ меняет свои крылья на белоснежные райские?

Я не привык к таким откровениям, к повседневным признаниям на исповеди. Мной овладевает нетерпение — отчего памятью я устремляюсь по уже заросшим тропам, которые нужно выкинуть из памяти, забыть. Возможно, она это видит; ее молчание — молчание признания, а не покаяния. И, чувствуя это, я произношу неосторожные слова, которые вырываются невольно:

— Видно, ты по-прежнему таишь обиду на меня. — Молчание. — Из-за того, что случилось в Эпинале.

Она отодвинулась от решетчатого окошка, вместо нее говорит тишина, слепая, непроницаемая. Я чувствую, как ее глаза, точно угли, жгут меня. Жар не отпускает меня полминуты. Наконец она заговорила, я знал, что заговорит.

— Мне нужна моя дочь.

Отлично. Вот оно, слабое звено в ее игре. Ей повезло, что мы не на деньги играем.

— Положение обязывает меня задержаться здесь на некоторое время, — говорю я. — Мне рискованно тебя отпускать.

— Почему?

Угадываю по голосу, что она в ярости, и мне это сладко. Я сумею совладать с ее гневом. Я воспользуюсь им. Потихоньку я подливаю масла в огонь.

— Ты должна довериться мне. Я ведь не предавал тебя, ведь так?

Молчание. Понимаю, что у нее на уме Эпиналь.

Упрямо:

— Мне нужна Флер!

— Так вот, значит, как ее зовут! Ты могла бы видаться с ней хоть каждый день. Хочешь? — Лукаво: — Должно быть, она соскучилась по матери. Бедняжка.

Ее передернуло — теперь игра моя.

— Что тебе нужно, Лемерль?

— Твое молчание. Твоя преданность.

Презрительно фыркнула, даже не рассмеялась.

— Ты спятил? Мне надо отсюда выбраться. Ты сам меня к этому подтолкнул.

— Невозможно. Не позволю, ты все мне испортишь.

— Что испорчу?

Не спеши, Лемерль. Не спеши.

— Какая тебе в этом корысть? Что ты задумал?

Ах, Жюльетта! Если б я мог тебе все рассказать! Уверен, ты бы оценила. Ты — единственная, кто смог бы оценить.

— Не сейчас, моя птичка! Не сейчас. Приходи ко мне в хижину нынче ночью, *после* вечерней службы. Сможешь выскользнуть из дортуара, чтоб никто не заметил?

— Смогу.

— Отлично. До скорого, Жюльетта!

— А как же Флер?

— До скорого!

Она явилась ко мне сразу после полуночи. Я сидел у своего письменного стола за чтением «Политики» Аристотеля, когда с тихим щелчком отворилась дверь. Пламя одинокой свечи озарило ее, переступившую порог, и медное золото остриженных волос.

— Жюльетта!

Она была без монашеского балахона и плата, несомненно оставила в дортуаре, чтоб никто ничего не заподозрил. С короткими волосами она напоминала очаровательного мальчугана. В следующий раз, когда мы будем представлять классический балет, я дам ей сыграть Ганимеда или Гиацинта. Ни слова от нее, ни улыбки, даже не заметила холодной воздушной струи по ногам, ворвавшейся через раскрытую дверь.

— Входи!

Я отложил книгу и придвинул ей кресло. Будто не видит.

— По-моему, тебе больше пристало чтение для самосовершенствования, — сказала она. — Скажем, Макиавелли или

Рабле. Не твой ли теперь девиз «Делай, что хочешь»?

— Он удачней, чем «С тобой покончено», — сказал я усмехаясь. — Кстати, с чего это вдруг ты мне читаешь мораль? Ведь и ты обманным путем сюда явилась.

— Я и не отпираюсь. Но что бы я ни совершила, мне себя упрекнуть не в чем. Друга я никогда не предавала.

Не без усилий я парировал этот удар. Она задела меня за живое. Уж это она умела.

— Полно, Жюльетта, — сказал я, — нам ли быть врагами? В этих-то стенах? — Я кивнул в сторону хрустальной бутылки на книжной полке у стола. — Стаканчик мадеры?

Она покачала головой.

— Откусать не изволишь ли? Фрукты, медовый пирог?

Молчание. Я знаю. Весь день она постилась, но ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Оно бесстрастно, точно маска. Лишь глаза горят. Я потянулся рукой к ее щеке. Всегда меня тянет поиграть с огнем. Даже в детстве меня увлекали лишь опасные игры: ходить по натянутой проволоке с петлей на шее, поджигать осиные гнезда, жонглировать ножами, пускаться вплавь по речным порогам. Леборнь называл это охотой на тигра, бранил меня за это. Но погоня без риска — какая услада в охоте?

— Ты все такая же, — сказал я с улыбкой. — Стоит зазеваться, мигом выцарапаешь глаза. Ведь так?

— Не обессудь, Лемерль!

Ее кожа гладка под моими пальцами. От ее коротких волос исходит легкий лавандовый аромат. Я позволил своим пальцам скользнуть на ее обнаженное плечо.

— Ах, *вот* в чем дело? — презрительно бросила она. — Тебе это нужно?

Я со злостью отдернул руку.

— Вечно ты с подозрениями, Жюльетта! Неужто не понятно, чем я здесь рискую? Это тебе не детские игрушки. Мой замысел такой дерзости и смелости, что даже я... — Тут она вздохнула, прикрывая пальцами зевок. Я умолк, уязвленный. — Вижу, тебе скучно меня слушать.

— Отчего же. — Ее интонация в точности воспроизвела мою. — Просто поздно уже. Мне нужна моя дочь.

— Прежняя Жюльетта меня бы поняла.

— Прежняя Жюльетта умерла в Эпинале.

Больно, но я этого ждал.

— Ты ведь не знаешь, что и как было в Эпинале. Думай что хочешь, но

ведь, может, я вовсе и не виноват.

— Как бы не так!

— В конце концов, не святой же я! — Голос мой уже срывался, я не мог с ним совладать. — Я был уверен, что ты выберешься; если бы ты не сумела, я бы что-нибудь придумал. Какой-нибудь план. — Она терпеливо слушала, не глядя на меня, вывернув ножку в балетной позиции. — Они были слишком близко, черт тебя подери! Один раз я их провел, но теперь они гнались за мной. Я чувствовал: удача покинула меня. Я дрогнул. И карлик это понял. Именно Леборнь наслал на меня этих гончих псов, Жюльетта. Кроме него некому. Во всяком случае он, этот негодяй, был вполне способен, ради спасения собственной шеи, перерезать вам глотки и коварно пырнуть меня кинжалом с отравленным клинком. Что? Ты считаешь, я кинул тебя? Едва только смог, я бы тотчас вернулся за тобой. Но я уже и после твоего побега еще несколько дней провалился во рве с нагноившейся раной. Понимаю, ты была несколько уязвлена. Немного рассердилась. Только не говори, что нуждалась во мне. Никогда ты во мне не нуждалась.

Должно быть, я говорил убедительно — собственно, себя я почти убедил. Но ее голос прозвучал безучастно, она повторила снова:

— Отдай мне Флер!

В который раз я закусил губу, чтобы сдержать гнев. Он отдавал дешевым металлом на вкус, точно фальшивая монета.

— Послушай, Жюльетта! Я же сказал. Я смогу устроить, чтоб ты увидела ее завтра, но вернуть ее обратно пока не пора, зато я устрою вам встречу. Единственное, чего прошу взамен, это — никакого противостояния. И еще одну услугу. Маленькую.

Она шагнула ко мне, положила руки мне на плечи. И снова я уловил аромат лаванды, исходивший от складок ее одежды.

— Нет, не эту!

— Какую же?

— Так, шутка. Розыгрыш. Тебе понравится.

Она застыла в нерешительности.

— Зачем? — проговорила она наконец. — Что тебе здесь надо? Что здесь может тебя прельстить?

Я рассмеялся:

— Только что ты и слушать ничего не хотела.

— Я и не хочу. Мне нужна моя дочь.

— Тогда зачем спрашиваешь?

Она пожала плечами:

— Не знаю...

Нет, Жюльетта, меня не проведешь. Тебе вовсе не безразличны все эти поганки, пресмыкающиеся во тьме. Теперь они — твоя семья, как некогда были мы в *Théâtre des Cieux*. Должен признаться, замена не равноценная, но — каждому свое.

— Считай, что это игра, — сказал я. — Мне всегда хотелось побывать священником. Вот, возьми-ка это.

Я протянул ей красящие таблетки.

— Осторожно, руки не окрась.

Она с подозрением покосилась на меня:

— Зачем это?

Я рассказал ей.

— И тогда я увижу Флер?

— Тотчас же.

Внезапно мне захотелось, чтоб она ушла. Я устал, у меня разболелась голова.

— Ты уверен, что они безвредные? Никого не отравят?

— Ну, разумеется, нет!

Это как посмотреть.

Снова она опустила глаза на таблетки в ладони.

— И это все? Только и всего?

Я кивнул.

— Нет, Лемерль, я хочу, чтоб ты это произнес!

Я понимал, ей хочется мне верить. Доверие ей свойственно, как мне свойственен обман. Вините Всевышнего в том, что создал меня таким. Я обвил рукой ее плечи, на этот раз она не отшатнулась, и произнес тихо, ласково:

— Доверься мне, Жюльетта!

До завтра.



22 июля, 1610

Я поспешила назад в монастырь. Ночь была светлая; серебристая луна и звезды светили ярко, бросая тени на дорогу за сторожкой у ворот. Вдали, прямо над угадываемым во тьме морем, нависла мрачная, темнее неба, туча. Должно быть, дождь. Войдя в дортуар, я прислушалась: не проснулся ли кто. Но все мерно дышали.

За пять лет я научилась распознавать своих товарок по тому, как они дышат во сне. Я знаю по очертаниям, кто как свернулся под грубым одеялом, знаю, кто как спит, кто вздыхает и кто поскуливает в своих сновидениях. Прохожу мимо сестры Томасины: она, первая от двери, громко, с присвистом похрапывает. Затем сестра Бенедикт: эта всегда спит, раскинув руки, уткнувшись лицом в подушку. Затем Пиетэ, такая же чопорная во сне, как и при свете дня. Потом Жермена, Клемент и Маргерита. Потребовалась акробатическая ловкость, чтоб проскользнуть, не испугнув Маргериту; и все равно она дернулась, выпростав руку в слепом, страстном порыве. Наконец пустая ячейка Альфонсины, а напротив — мирно сложила руки на груди Антуана. Дышит легко, ровно. Спит ли она? Лежит, не шелохнется. Но все же уж слишком явно замерла, и руки сложены картинней и торжественней, чем в обычном сне.

Выхода нет. Если не спит, остается только надеяться, что ничего не заподозрила. Я скользнула в свою постель, и шелест одеяла по телу отчетливо прокатился среди ночного сопения. Я повернулась к стене, и в этот момент Антуана резко всхрапнула, отчасти развеяв мои страхи, но все же мне показалось, будто храп ее прозвучал как-то фальшиво, слишком отчетливо, слишком звучно для крепко спящей. Я заставила себя прикрыть глаза. Будь что будет. Самое главное — Флер. Не Антуана, не Альфонсина — даже не Лемерль, теперь оставшийся один в своем крохотном кабинете среди книг. И все же Лемерль, а не дочь, неотступно преследовал меня в снах. Мне дела нет до его игр, говорила я себе, погружаясь в сон. Но он являлся мне и во сне — стоя на далеком берегу полноводной, стремительной реки, он простирал руки, что-то кричал мне сквозь грохот несущейся воды, но слов его я почти не могла расслышать.

Я проснулась в слезах. Звонил колокол ко всеобщей, и сестра Маргерита стояла в ногах у моей кровати со светильником в вздетой руке.

Пробормотав привычное «Слава Тебе...», я поспешно поднялась, нащупав под матрасом данные мне Лемерлем красящие пилюли, увернутые в тряпицу, чтобы не оставили на пальцах красноречивых следов. Обойтись с пилюлями, как было наказано, не составит труда. После этого я смогу увидеться с дочерью.

И все же я колебалась. Поднесла к носу тряпицу, понюхала. Сквозь ткань сочился смолистый, сладковатый запах; похоже на гуммиарабик и алый краситель, который Джордано именовал «драконовой кровью». Что-то еще примешивалось к запаху: какая-то приправа, то ли имбирь, то ли анис. Он клялся, что не отравя.

Лемерль не явился ни к всенощной, ни к заутрене, ни к Часу Второму. Явился он только на капитул, сказав, что ему необходимо отлучиться по делам в Барбатр, и выбрал себе в сопровождение — как бы наугад — двух сестер. Одной была я. Другой — Антуана. Лемерль держал речь перед капитулом, Антуана приглядывала за курами и утками на птичьем дворе, я выводила лошадь Лемерля для поездки в Барбатр. Мы с Антуаной, понятно, должны были идти пешком, а новый каноник, как и подобало его почтенному сану, отправится верхом. Я чистила щеткой серые в яблоках бока лошади, седлала ее, пока Антуана кормила прочую живность — мула, двух пони и полдюжины коров, — давала им сено из закровов в глубине амбара. Мы завершили труды за час до того, как к нам присоединился Лемерль. Явился он уже без церковного облачения, которому предпочел бриджи и сапоги, более пригодные для езды верхом. На голове — шляпа с широкими полями, чтобы защитить глаза от солнца. И в этом виде он так напомнил мне Черного Дрозда прежних лет, что все во мне сжалось.

Был базарный день, и, едва мы пустились в путь, Лемерль объявил, что нам нужно закупить кое-что из снеди и выполнить еще кое-какие его поручения. Едва он заговорил про рынок, у Антуаны загорелись глаза, я же свои упорно на него не поднимала. Интересно, оказала ли ему Антуана какую-то услугу взамен за эту прогулку, или выбор пал на нее в самом деле случайно. Возможно, его просто забавляло смотреть, как толстуха-монахиня, обливаясь потом, семенит по пыльной дороге вслед за его лошадью. Впрочем, все это не имело значения. Скоро я увижу Флер.

Мы продвигались медленней, чем рвалось вперед мое сердце, но даже при неспешной ходьбе Антуана изнывала от зноя. Мне же было не привыкать, и хоть я тащила за спиной большую корзину с картошкой, чтоб продать на рынке, усталости не ощущала. Жаркое солнце стояло в самом зените, когда мы прибыли в Барбатр, и вся гавань и площадь за ней были заполнены тянущимися на рынок толпами. Когда открывался путь,

торговцы сходились сюда со всего острова и даже с самого материка. А нынче выдался именно такой день. В гавани начался отлив, и народу было видимо-невидимо.

Едва вступив на главную улицу, мы привязали лошадь у желоба с водой, Антуана с корзинкой удалилась исполнять поручения Лемерля, я же пошла в толпу вслед за ним.

Торговля шла полным ходом. Били в ноздри ароматы жарящегося мяса и пекущихся булочек, сена, рыбы, кожи и едкий запах свежего навоза. Телега наполовину перегородила проход, пока двое парней вынимали и ставили на землю клетки с курами. Рыбаки выгружали из лодок плетенки с омарами и корзины с рыбой. Несколько женщин сгрудилось над сетями, очищая их от водорослей и штопая образовавшиеся прорехи. Оседлавшие церковную стену ребятишки таращились на прохожих. Жаркий воздух был наполнен зловонием и зудел от множества мух. Шум стоял несусветный. За пять лет монастырского уединения я уже отвыкла от такой толчеи, от этих криков, от этих запахов. Слишком много было кругом народу, слишком много гомона, всяких лотошников, балабонов, пустобрехов. Одноногий торговец из-за своего прилавка с горами помидоров, лука и лоснящихся баклажан подмигнул, когда я проходила мимо, отпустив какую-то скабрёзность. В очереди у мясного прилавка, багрово-черного от тучи мух и запекшейся крови, люди зажимали носы. На рваном одеяле сидел безногий и однорукий нищий. Напротив наяривал волынщик, а рядом девчонка-оборванка продавала пакетики с пряной солью из торбы, висевшей на бурой козочке. Усевшись тесным кругом, старухи с необычайной ловкостью плели кружева, чуть не стучаясь седыми головами над проворно орудующими гибкими крючковатыми пальцами. Какие отменные карманницы могли бы из них получиться! Я уже не знала, куда идти в густой толпе. Постояла перед продавцом печатных картинок, с изображением казни Франсуа Равальяка, убийцы Генриха, тут же какая-то толстуха с подносом пирожков попыталась пробиться мимо. Один пирожок упал на землю, прорвался, обнажилась алая фруктовая начинка. Взвизгнув от негодования, толстуха накинулась на меня, я с пылающими щеками кинулась прочь.

И в этот момент я увидела Флер. Поразительно, как я до сих пор ее не заметила. Всего в шагах десяти от меня она стояла и глядела куда-то вбок; грязный чепец прикрывал кудряшки, вокруг талии повязан фартук, который ей явно велик. На личике застыло выражение детской брезгливости, руки по плечи измазаны рыбными внутренностями, ими заполнена и тачка, за которой она стоит. Первым моим порывом было окликнуть дочку,

подбежать, прижать к себе, но из предосторожности я сдержалась. И взглянула на Лемерля, снова появившегося откуда-то сбоку и не сводившего с меня глаз.

— Что это значит? — спросила я.

Он пожал плечами.

— Ты ведь хотела ее видеть, не так ли?

Рядом с Флер стояла какая-то обшарпанная тетка. Тоже в переднике и еще в нарукавниках поверх рукавов платья, чтоб не запачатся о разложенный на прилавке свой зловонный товар. На моих глазах какая-то женщина ткнула пальцем в одну из рыбин, и замухрышка протянула рыбину Флер, чтоб та ее выпотрошила. Носик Флер брезгливо морщился, когда она вспарывала ножом рыбье брюхо, но я поразилась, как ловко справляется дочка с новым для себя ремеслом. Рука была обвязана тряпицей, уже пропитавшейся рыбьей слизью. Видно, не вдруг овладела она этой премудростью.

— Господи, ведь ей всего пять лет! Какое право они имеют принуждать ее к такой работе?

— Сама подумай, — сказал Лемерль, укоризненно качая головой. — Девочка должна оправдывать свое содержание. Семья у них большая. Для рыбака прокормить лишний рот — дело нешуточное.

Рыбака! Значит, Антуана не солгала. Я смотрела на женщину, силясь понять, видала ли ее раньше. Похоже, она из Нуар-Мустьер. Хотя вполне может быть и из Порника, и из Фроментины; даже с Ледевэна или с какого-нибудь из островов, что поменьше.

Лемерль заметил, что я пристально разглядываю рыбачку.

— Не волнуйся, — сухо сказал он. — Девочка под хорошим присмотром.

— Под чьим?

— Положись на меня.

Я промолчала. Взгляд мой уже ловил новое в облике моей дочери, каждый штрих — с возраставшей болью. Щеки опали, цветущий румянец исчез. Длинные волосы спрятаны под гадким чепцом. Платьице уже не то, что она носила в монастыре, чужое, заношенное, из грубой темной шерсти. И личико: личико ребенка-сиротки.

Я снова повернулась к Лемерлю:

— Что тебе нужно?

— Я уже сказал. Твое молчание. Твоя преданность.

— Да, да. Обещаю! — Мой голос взвился, я уже не смогла остановиться. — Я пообещала это вчера ночью!

— Вчера ночью было несерьезно, — сказал он. — Теперь — верю.

— Я хочу поговорить с ней! Хочу забрать ее обратно!

— Боюсь, не смогу этого допустить. Пока, во всяком случае. По крайней мере до той поры, пока не буду убежден, что ты не сбежишь вместе с ребенком. — Должно быть, он прочел в моем взгляде желание прибить его, потому что улыбнулся. — Да, к твоему сведению: на случай, если со мной случится какая беда, предусмотрены определенные меры. Весьма.

Не без усилия я пригасила ненависть во взгляде.

— Ладно, дай мне поговорить с ней. Одну минуту. Прошу тебя, Ги!

Все обернулось сложнее, чем я ожидала. Лемерль предупредил, любой мой неверный или подозрительный шаг может в дальнейшем стоить мне возможности видаться с Флер. Но отступить я не могла. Медленно, едва сдерживая нетерпение, я двинулась через толпу к рыбной повозке. С одного боку от меня какая-то женщина требовала полсотни штук красной кефали, с другого торговка рыбой обменивалась с кем-то кулинарными рецептами. За моей спиной уже выстроилось несколько покупателей. Флер подняла на меня взгляд, и в первый момент мне показалось, что она меня не узнаёт. Как вдруг ее мордашка просияла.

— Т-с-с-с! — прошептала я. — Ни слова!

Флер озадаченно взглянула, но к моему облегчению, кивнула головой.

— Слушай, — проговорила я так же тихо. — У меня совсем мало времени.

Как бы в подтверждение, торговка рыбой кинула в мою сторону подозрительный взгляд, прежде чем заняться востребованной кефалью. Я мысленно возблагодарила свою спасительницу, вздумавшую закупить такое громадное количество рыбы.

— Ты принесла Муш? — еле слышно спросила Флер. — Ты пришла, чтобы забрать меня домой?

— Нет еще. — Ее личико даже посерело от огорчения, и снова я едва сдержалась, чтобы не прижать ее к себе. — Послушай, Флер. Где тебя держат? В доме? В фургоне? На ферме?

Флер оглянулась на торговку рыбой.

— В доме. С детьми и собаками.

— Вы по дамбе проходили?

— *Извиняюсь!*

Толстуха-покупательница протиснулась между нами, потянувшись обеими руками за свертком рыбы. Я отпрянула на стоявших позади; кто-то раздраженно завопил:

— Пошевеливайся, сестренка! Не одной тебе семью кормить надо!

— Флер! Скажи, это на материке? Это за дамбой?

Флер позади великанши кивнула. Потом вдруг яростно замотала головой. Кто-то сунулся вперед и закрыл ее от меня, снова я потеряла дочь из вида.

— Флер!

Я чуть не рыдала от отчаяния. Великанша вклинилась рядом, толпа давила сзади, а тот, который на меня завопил, принялся громко препираться с толпившимися и балабонившими у прилавка.

— Солнышко, ты переходила через дамбу?

Какую-то долю секунды мне казалось, вот сейчас она мне все скажет. Озадаченная Флер явно собиралась с мыслями, чтоб как-то объяснить, что-то вспомнить, дать хоть какую-нибудь зацепку, чтоб я сообразила, где ее держат. Может, слово «дамба» ей непонятно? Может, ее перевезли на материк на лодке?

Тут женщина с кефалью повернулась ко мне лицом, и я поняла, что теперь уже правды мне не узнать. Радостно тыча мне под нос сжимаемую в красных мясистых руках корзину, женщина спросила:

— Как думаешь? Хватит нам этого нынче на ужин?

Это была Антуана.

Дорога обратно была нелегка. Теперь вместо картошки я волокла на спине рыбу, и на солнце она воняла все пуще и пуще, хоть была увернута, чтоб не перегревалась, в водоросли. Кроме того, ноша оказалась тяжелой, сквозь прутья корзины рыбная влага капала мне на плечи, на шею, пропитывая солью балахон. Антуана пребывала в веселом настроении, не закрывая рта хвастала своими подвигами на рынке, пересказывала услышанные сплетни, восторгалась виденным, делилась новостями. Мелочной торговец с материка уверял, будто несколько человек принесли себя в жертву в честь Кристины Чудотворной, той, что повесили в Анже за то, что вырядилась в мужское платье, а еще поговаривали, будто один рыбак из Ледевэна изловил рыбу, у которой с обоих концов по голове, — что, ясное дело, не к добру. Насчет Флер Антуана ни разу не обмолвилась, и хотя бы за это я была ей благодарна. Конечно, она ее видела. Мне оставалось лишь надеяться, что Антуана будет держать язык за зубами.

Мы вернулись в монастырь тропой вдоль моря. Этот путь был длинней, на нем настоял Лемерль, — он-то ехал верхом, ему проехать лишнюю милю ничего не стоило. В более счастливые времена эта тропа, ведущая сквозь дюны мимо дамбы, была излюбленным местом моих

прогулок, но теперь, увязая в песке с тяжелой, полной рыбы корзиной, я не испытывала ни малейшей радости. Лемерль же, напротив, всю дорогу с явным удовольствием любовался морским пейзажем, попутно задавая вопросы про приливы и отливы, про то, когда открывается путь на материк, которые я оставляла без ответа, в то время как Антуана с большой охотой удовлетворяла его любопытство.

В монастырь мы пришли в середине дня, к тому времени я валилась с ног от усталости, полуслепая от палящего солнца, изнемогая от рыбной вони. С огромным облегчением я скинула вонючую корзину в кухне, потом с головой, звеневшей от зноя, и с пересохшим горлом потащила через весь двор к колодцу. И уже было потянулась черпаком к воде, как вдруг позади раздался крик. Я обернулась: Альфонсина.

Она, похоже, вполне оправившись после вчерашнего, с горящими глазами и пылающими от волнения щеками бежала ко мне.

— Ради Бога, не прикасайся к воде! — задыхаясь проговорила она. — Разве ты не знаешь, что стряслось?

Я тупо уставилась на нее. Я совершенно позабыла про красящие пилули Лемерля и про то, что он приказал мне с ними делать. Передо мной стояло только личико моей дочери, как отпечаток, возникающий в глазах, если долго смотреть на солнце.

— Колодец, Господи спаси нас и помилуй, колодец! — нервно выкрикнула Альфонсина. — Сестра Томасина сошла вниз, чтобы набрать воды для кухонных котлов, *а вода обратилась в кровь!* Матушка Изабелла запретила всем ее брать.

— Кровь... — повторила я.

— Это знамение, — сказала Альфонсина. — Это нам божья кара, за то что погребли Матушку Марию на картофельном поле.

Несмотря на полное изнеможение, я едва сдержала улыбку.

— Видно, в песок попала ржавчина, — предположила я. — Или там слой красной глины.

Альфонсина возмущенно вскинула подбородок:

— Как же, ничего иного от тебя не дождешься! Похоже, ты и в дьявола не веришь, вечно всему находишь свою причину.

Уж она-то была уверена, тут не обошлось без нечистой силы. И Мать Изабелла в этом убеждена и так встревожилась, что сочла должным распорядиться, чтобы отец Коломбэн освятил колодец, а если нужно, то и все монастырские угодья. Альфонсина утверждала, что и в нее вселилась порча и что ей не было покоя, пока отец Коломбэн, тщательно ее осмотрев, не удостоверился, что ничего кровавого в нее не вошло. Мгновенно и у

Маргериты затряслась левая нога, и ее также пообещал осмотреть новый капеллан. Если так пойдет, подумала я, еще немного, и наш монастырь превратится в сумасшедший дом.

— Как быть с водой? — спросила я. — Что нам теперь делать?

Лицо Альфонсины просияло:

— Свершилось чудо! Около полудня явился возчик и привез двадцать пять бочонков эля. Сказал, это подарок новой аббатисе. Пока будут рыть новый колодец, мы не погибнем от жажды.

В тот вечер на ужин у нас были хлеб, эль и рыба. Еда была вкусна, но есть не хотелось. Что-то было не так: и в том, как убраны столы, и в общем молчании, даже еда как-то не так лежала на тарелках, — от этого и мне было не по себе. Когда мы выступали перед королем Генрихом в Палатинской зале, нас повели в Зеркальный зал, и там у меня возникло то же ощущение, будто все поменяло свои места, будто отражение коварно исказило сущее, хотя, возможно, мне это только показалось.

Мать Изабелла прочла молитву, после которой воцарилась тишина, — ни единого голоса, только шумное чавканье беззубой Розамонды, нервное постукивание Маргериты левой ногой да редкое цоканье ножей и вилок. Я сделала знак сестре Антуане, чтобы та взяла с моей тарелки нетронутую еду, что она и сделала безмолвно и с радостью, алчно вспыхнув маленькими близорукими глазками. Во время еды она то и дело поглядывала на меня: может, решила, что отданная пища — плата за молчание? Я оставила ей также почти весь эль, обошлась хлебом. От одного запаха рыбы, пусть даже прожаренной, меня мутило.

Возможно, именно это, а, может, тревога за Флер, ввело меня в некоторый ступор, потому что я просидела за столом минут десять, а то и больше, прежде чем сообразила, отчего все не так. Перетты не было на ее обычном месте среди послушниц. Отсутствовал также и Лемерль, хотя я и не ожидала его здесь увидеть. Отсутствие Перетты было необычно. Я припомнила, что в последний раз видала ее вчера на погребении. С тех пор нигде — ни проходя по галереям, ни когда я исполняла свою повинность в пекарне, ни после во время службы в часовне, ни на капитуле, ни теперь на ужине — нигде не было видно моей подружки.

Меня охватил жгучий стыд при мысли, что я позабыла про нее. После исчезновения Флер про Перетту я почти не вспоминала, — признаться, даже почти не замечала ее. Возможно, она приболела — надеюсь, ничего серьезного. По крайней мере, так можно было бы объяснить ее отсутствие. Но сердце подсказывало мне, что дело не в этом. Зачем она могла понадобиться ему, я в толк взять не могла. Она слишком юна, не в его

вкусе, слишком невинный ребенок, чтоб можно было ее использовать. И все же я была убеждена: Перетта у Лемерля.

23 июля, 1610

Что ж, это только начало. Первый акт, если угодно, пятиактной трагикомедии. Главные роли уже распределены — благородный герой, прекрасная героиня, комический антураж и хор девственниц наподобие античного, все на своих местах — кроме злодея, который, несомненно, еще появится в нужный момент.

Кровь в колодце — некий поэтический штрих. Теперь все поголовно рыщут в поисках знамений и чудес: летящих на север птиц, яиц о двух желтках, непонятных запахов, внезапных порывов ветра — все это льет воду на мою мельницу. Самое смешное, мне почти ничего не нужно делать, все идет своим ходом; сестры так долго пребывали в монастырском заточении, изнывая от тоски, что стоит лишь слегка шевельнуть пальцем — они узрят как раз то, чего я от них хочу.

Сестра Антуана оказалась для меня неоценимым приобретением. За яблочко или пирожок или просто доброе словцо готова раскрыть мне все монастырские сплетни, все их маленькие тайны. Именно Антуана по моему наущению отловила полдюжины черных котов и пустила их гулять по монастырю, и те посеяли панику в маслодельне и по крайней мере сорока монашкам уже принесли несчастья, по случайности перебежав им дорогу. И именно Антуана выискала чудовищной формы картофелину, смахивавшую на дьявола с рогами, и подала ее Матушке Изабелле на ужин; это она чуть не до смерти перепугала сестру Маргериту, запихав в ларь лягушек. О ее маленькой тайне я прознал от сестры Клемент, поспешившей опорочить толстуху в моих глазах, чтобы стать моей фавориткой. Разумеется, эта роль не для нее, но ей так легко польстить, и, что греха таить, по мне она предпочтительней Альфонсины, плоской, как деревянная часовенная стена, или Маргериты, сухой, как щепка, постоянно трясущейся и дергающейся.

Сестра Анна не слишком податлива. Жаль, ведь это такая удача иметь бессловесную сообщницу, а если я правильно читаю ее знаки, дикарка гораздо сообразительней, чем кажется на первый взгляд. Во всяком случае, ее легко будет приручить, как хорошую собаку или как, скажем, мартышку. К тому же Жюльетта печется о ней, — опять же неплохо, в случае если малыш сорвется с крючка.

Ах, Жюльетта, Жюльетта! Мою Крылатую не позабавили мои маленькие шутки, втайне она негодует на переполох, который ими вызван. В ее духе; жизнь среди ворожбы и колдовских чар не лишила ее врожденной приземленности. Знаю, никакими трюками или фокусами пыль ей в глаза не пустишь. Правда, сейчас она, не только я, виновата в посеянном смятении и меня не выдаст. Ах, как бы мне хотелось посвятить ее в свои планы! Но я уже столько раз рисковал. Кроме того, ей свойственна достойная сожаления порядочность, и если узнает, что я замышляю, то, скорее всего, попытается меня остановить. Нет, моя милая; совестливость — это как раз то, в чем я в этой гастроли меньше всего нуждаюсь.

Нынче я проехался в Барбатр и большую часть дня провел у дамбы, поглядывая за движением прилива. Приятное времяпрепровождение неизменно вселяет покой в мои мысли, а также дает желанную передышку от монастырской жизни и растущих требований благих сестер. Как можно эту жизнь вынести? Их, как кур, согнали в тесный дворик, и они толкуются на одном пятачке. Я лично всегда терпеть не мог замкнутого пространства. Мне нужны воздух, небо, и чтоб дороги разбегались во все стороны. Кроме того, мне нужно отправить кое-какие письма, так чтобы не прознала дражайшая Изабелла. Они дойдут через неделю, ответ оплачен. Прилив меняет направление через одиннадцать часов — это весьма полезное обстоятельство почти никто из островных жителей не удосужился заметить, — и дамба каждый раз обнажается на три часа. В некоторых книгах пишут, будто Луна управляет приливами и отливами, ну а иные еретики нашептывают, будто Солнце притягивает Землю; естественно, прилив выше в полнолуние, и почти недвижим при новой Луне. В детстве меня вечно наказывали за подобные увлечения, — называли это *праздным интересом*, вероятно, чтоб не спутать с усердным тупомыслием моих благочестивых наставников. Но от природной пытливости никто меня так и не смог отучить. Пусть это кощунство, но слова *Господь таковым создал то или иное* нисколько ни в чем меня не убеждают.



24 июля, 1610

Сегодняшний, как и вчерашний, день мы все трудились не покладая рук. Пока Лемерль читал свои проповеди, службы в часовне отменялись, но всенощную и заутреню мы служили как обычно. Меня с сестрой Жерменой послали копать новый колодец, освободив от всех прочих обязанностей за исключением самых насущных. Пьеретты по-прежнему не было видно, но никто о ней не вспоминал, а меня что-то удерживало, не хотелось задавать лишних вопросов; разумеется, заговаривать об этом с Лемерлем я не осмеливалась. Что до остальных, то теперь ничто иное, кроме чертей и проклятий, никого не интересовало. К любой книге из книгохранилища относились с опаской, горячо обсуждались любые глупейшие небылицы. Пиетэ припомнила, как у них в деревне прежде был человек, на которого напустили порчу, и он истек кровью и помер. Маргерита твердила про море крови из Книги Откровений и клялась, что Апокалипсис уже не за горами. Альфонсина утверждала, будто один нищий, когда она отказала ему в милостыне, пробормотал в ее адрес злое заклинание. Что если это было проклятие? Томасина сказала, что ягоды рябины и алая нитка — средство наговора. Смешно, казалось бы; но было в этом и что-то пугающее. Хоть наша новая аббатиса и ее духовник официально не признали нашу островную святую, к полудню по обычаю полагалось зажечь полсотни тонких свечей у подножия статуи Мари-де-ля-Мер и возложить к ее ногам скромную кучку подношений — в основном цветы, пряные травы и кусочки фруктов; воздух сделался сизым от курившихся благовоний.

Мать Изабелла пришла в ярость.

— Кто позволил заниматься самоуправством? — взорвалась она, едва Бенедикт попробовала возразить, дескать, мы только хотели как лучше. — В теперешних обстоятельствах совершенно недозволительно призывать к вмешательству вашу святую, с ней еще надо разобраться. А это, — она указала на дары, — пережитки язычества, и я приказываю все убрать.

Ну, а Лемерль был вездесущ. Все утро его глас разносился по широкому двору: призывал, устрашал, подбадривал... То он отдавал распоряжения рабочим — трое на крыше часовни определяли, велик ли будет ремонт, оценивали, во что он обойдется, то наставлял возчика, привезшего провиант: мешки с мукой и зерном, капусту с рынка, клеть с

молодыми курочками на развод. Теперь сестра Маргерита отвечает у нас и за продовольствие, и за приготовление пищи, торжествуя под завистливыми взглядами Антуаны. Я заметила, что она торжествующие поглядывает и на Лемерля, поминутно прерывая труды и справляясь у него, как лучше хранить зерно, сушить пряности и считается ли рыба постной пищей.

Затем последовало сопровождаемое молитвами и песнопениями представление с Лемерлем у колодца, после чего колодец был наглухо закрыт плетеной крышкой и замазан известковым раствором. Потом снова действие переместилось к часовне, на разговоры про кровлю, балки, арочные опоры. Потом снова к домику у ворот и к Изабелле, которая неотступно короткой мрачной тенью следовала за Лемерлем.

Среди нестерпимого зноя рытье колодца продвигалось медленно и трудно, и к середине утра моя роба была сплошь в липкой желтой глине, залегавшей толстым пластом под верхним слоем песка. Эта глина не дает поступающей из недр воде испариться. Стоит прокопать поглубже, и покажется вода, сперва солоноватая на вкус, но по мере наполнения колодца она станет все чище и чище. Понятно, это морская вода. Но вся соль оседает по берегам, проходя через мелкий песок, на котором стоит наш остров. Мы уже на полпути к воде и аккуратно собираем глину для сестры Бенедикт, нашего монастырского гончара, потом она слепит из нее миски и чашки для нашей трапезной.

Наступил и закончился полдень. Поскольку мы с Жерменой заняты черной работой, то едим в обед мясо и запиваем элем, — хоть по новому распорядку, введенному Матерью Изабеллой, основную пищу мы теперь принимаем только после Часа Шестого^[42], а до того обходимся лишь небольшим куском хлеба с солью. Но даже после плотной еды я еле стою на ногах, руки загрубели от соленой воды, глаза режет. Голые ноги саднит, в ступни впиваются острые камешки, когда я слепо утаптываю землю вокруг темнеющей дыры. Нынче вода глубже, под желтой глиной липкий черный ил, на поверхности поблескивают слюдяные точки. Сестра Жермена ведрами вытягивает наверх ил, он пойдет на овощные грядки, так как эта зловонная жижа почти не содержит соли и жира, точно плодородная почва.

С наступлением вечерней прохлады и сумерек с помощью сестры Жермены я вылезла из ямы. Жермена вся в грязи, а на мне уже грязь в несколько слоев, волосы от нее задубели, несмотря на повязанную вокруг головы тряпицу, лицо измазано, как у дикарки.

— Вода там хороша, — говорю я Жермене. — Я попробовала.

Жермена кивает. От природы молчаливая, с появлением новой аббатисы она и вовсе примолкла. И еще одну странность отметила я: теперь они врозь с Клемент. В былые времена были неразлучны. Видно, поссорились, подумала я. Грустно: всего через три недели после кончины Матушки-настоятельницы ту жизнь уже можно назвать «былые времена».

— Надо укрепить края, — сказала я Жермене. — Глина ссыпается и грязнит воду. Удержать ее можно, только обложив края бревнами, камнями и потом скрепить раствором.

Она глянула презрительно, чем-то напомнив мне карлика Леборня:

— Ишь, умница какая! Если умом надеешься заслужить милость, вряд ли тебе это удастся. Уж лучше заделайся святошей, или во время исповеди разболтай про чужой грешок, или, еще того лучше, носись с картофелиной в виде дьявола, или вопи, что видала в поле чертову дюжину сорок.

Я в изумлении смотрела на нее.

— Ведь только этим у всех башка забита, разве нет? — продолжала Жермена. — Без умолку только и болтают о дьяволах да об анафеме! Она только про это готова слушать, вот они и стараются.

— «Она» это кто?

— Девчонка эта! — Слова Жермены тревожно воскресили во мне слова Антуаны в тот день, когда они забрали у меня Флер. Жермена умолкла, странная улыбка играла у нее на губах, и тут она спросила: — Скажи, сестра Огюст, ведь правда счастье так непостоянно? Сегодня есть, завтра его нет, даже оглянуться не успеешь.

Так долго и так странно Жермена не говорила никогда, я даже не знала, что ей ответить, да и хочу ли отвечать. Должно быть, она прочла это на моем лице, потому что вдруг рассмеялась отрывисто, лающе, резко повернулась и пошла себе, а я осталась стоять одна у колодца в мягком сумеречном свете. Мне хотелось ее окликнуть, но придумать, что я ей скажу, я не смогла.

Ужин прошел в строгом молчании. Маргерита, занявшая место Антуаны на кухне, была лишена ее кулинарных способностей, потому нас ждал дрянной пересоленный суп, жидковатое пиво и куча непропеченного черного хлеба. Мне было решительно все равно, но другие были явно недовольны отсутствием мяса в будний день, правда в открытую никто не роптал. В прежние времена еда оживленно обсуждалась на общем сборе, но теперь молчание, пусть наполненное всеобщим недовольством, никто не нарушил. Справа от меня сестра Антуана, хмуро сдвинув черные брови, нервно поглощала пищу, набивая рот крупными кусками. Она уже не похожа на себя: пухлую, круглую, как шар, физиономию будто свело, щеки

впали. Работа в пекарне долгая и изнурительная; руки у нее были сплошь в ожогах от раскаленной печи. Через ряд от нас в счастливом неведении, не замечая недовольных взглядов аббатисы, сестра Розамонда хлебала свой суп. Старая монахиня не долго вслух сетовала на перемены, наступившие в монастыре, теперь она пребывала в состоянии полного недоумения, исполняя свои повинности с готовностью, однако как-то вяло, призываемая к службе одной из послушниц, приставленной следить, чтоб старуха не слишком отбивалась от стада. Розамонда жила в своем мирке между прошлым и настоящим, весело путаясь в именах, лицах, временах. Частенько заговаривала о людях, давно усопших, так, как будто они живы, забывала имена сестер, присваивала себе чужую одежду, ходила за провиантом в амбар, обвалившийся после зимних штормов еще лет двадцать назад. Но все же казалась еще вполне нормальной; я много раз замечала подобные странности у людей, доживавших до глубокой старости.

Но все это раздражало аббатису. Розамонда за столом шумно хлебала и чавкала. Порой она забывала соблюдать тишину или путалась в молитвах. Одевалась небрежно, частенько заявлялась в церковь без какой-нибудь необходимой детали в одежде, и тогда к ней приставлялась послушница.

Плат особенно докучал старой женщине, которая уже лет шестьдесят носила *кишнот* и никак не могла взять в толк, почему вдруг носить его запрещено. Более же всего новую аббатису раздражало нежелание старухи признавать ее главенство и то, что та то и дело ворчала и поминала Матушку Марию. Что и говорить, Анжелика Сент-Эврё-Дезире-Арно не имела опыта в общении со старостью. Жизнь ее, пока не слишком долгая, протекала в стенах детской, где механические игрушки заменяли ей подруг, а прислуга — родителей. Окно в мир для нее было закрыто, бесконечные священники и доктора составляли ее окружение. Ее берегли от вида нищеты. Мир Матери Изабеллы исключал старость, болезни, немощность.

Сестра Томасина проговорила «Отче Наш». Мы ели в молчании, время от времени прерываемом чавканьем Розамонды. Мать Изабелла взглянула раз, затем ее гневный взгляд вернулся к тарелке. Губы сжались в ниточку, едва заметными короткими движениями она потягивала из ложки. Необычно громкое причмокивание вызвало и легкое движение на скамье послушниц, еле сдерживавших смех. Аббатиса хотела было что-то сказать, но губы ее сжались еще сильнее и она не произнесла ни слова.

В тот день Розамонда в последний раз ела вместе с нами.

Ночью я снова отправилась в сторожку к Лемерлю. Сама не знаю, что именно меня подтолкнуло, просто мне не спалось и нужда потянула,

колючими шипами вгрызаясь в душу. Что за нужда, сказать не могу. Я постучала, но никто не отозвался. Всмотревшись в оконце, увидела внутри мягкий свет догорающего очага, а на ковре фигуру — нет, две, — озаренные отблесками огня.

Одна — Лемерль. Я заметила черную повязку на его плече, скрывавшую старое клеймо. Женщина молодая, щуплая, точно мальчик, лицо отвернуто, коротко стриженные волосы, шелковисто переливавшиеся под его пальцами, его губами.

Клемент.

Я крадучись попятилась назад, в дортуар, чтоб еле слышно пробраться к постели. Казалось, все спят. Но вдруг, когда я, пылая от стыда, пробиралась к своему месту мимо отсека Клемент, мне почудился сдавленный смешок... Похолодев, я замерла на полушаге. На постели Клемент прямо и неподвижно сидела Жермена. Косой лунный луч из окна освещал изуродованное лицо: глаза блестели. Казалось, она меня не видит. Я молча скользнула мимо.



25 июля, 1610

Перетта нынче утром вернулась как ни в чем не бывало. Меня встревожило, что при новых порядках никто не обмолвился насчет ее отсутствия, даже во время капитула. Возможно, будь это кто другой, хоть кто-нибудь да хватился. Но полоумная девочка, по сути, не была ни монашенкой, ни даже послушницей при монастыре Сент-Мари-де-ля-Мер. Она всегда была странная, замкнутая, общаться с ней было трудно. Даже я, поглощенная своими бедами, не сразу сообразила, что ее рядом нет. Будто и вовсе не было. Все вычеркнули Перетту из памяти, не принимали в расчет во всех наших повседневных делах. И все же утром она появилась. Безмолвная, точно мраморная статуя, села на свое обычное место, ни на кого не взглянув.

Но кое-что я все же заметила, и меня это встревожило. Перетта стала какая-то притихшая, лицо — будто не ее, лишено всякого выражения, ясные, с золотистым обводом глазки потускнели, как церковная позолота. Я хотела было с ней заговорить, расспросить, где она пропадала эти три дня, но сестра Маргерита уже прозвонила ко всеобщей, и времени на расспросы не осталось, даже если бы Перетта отозвалась на мои расспросы.

Лемерль не появлялся вплоть до Часа Первого. Он был не из тех, кто рано встает, даже и в прежние дни, выкатывался из постели часов в восемь-девять, зачитывался до полуночи, расточительно жег свечи — восковые, не сальные, — в то время как у нас не на что порой было купить лишний кусок хлеба. Такой порядок был им заведен, и остальные принимали это, как должное. Словно он хозяин, а мы его рабы. Хуже того, нам это даже *нравилось*; мы с готовностью, почти безропотно ему прислуживали. Лгали ради него, крали ради него, всячески оправдывая его беспардонность.

— Такой он человек, — сказал мне Леборнь, когда как-то раз я не сдержала недовольства. — У некоторых это есть, а у других нет, вот и все.

— Что есть?

Карлик криво усмехнулся:

— Вальяжность, милая, или как это нынче называется. Эдакий внешний лоск, что к некоторым пристает от рождения. Особый лоск, который ставит его выше меня.

Я сказала, что не понимаю, о чем это он.

— Все ты понимаешь! — сказал Леборнь, вопреки своему обычаю без раздражения. — Понимаешь, что он ломаного гроша не стоит, что ему на все наплевать и что рано или поздно он тебя предаст. И упорно продолжаешь ему верить. Он вроде тех святых, которые в церкви, снаружи сияет позолотой, а внутри обыкновенная глина. Мы знаем, из чего они на самом деле, но притворяемся, будто не подозреваем. Потому как лучше верить в фальшивого бога, чем никакого не иметь.

— Но ведь и ты за ним идешь? — сказала я. — Разве не так?

Леборнь глянул на меня прищурившись:

— Все так. Но ведь я же шут. Какой цирк без шута?

«Что ж, Лемерль, — думала я, глядя, как все взоры жадно устремляются к нему, переступающему порог церкви, — вон сколько нынче шутов тебе подвалило». Полуночные бдения и тайные свидания не пошли ему во вред: он выглядел бодро и свежо в своем церковном облачении, волосы аккуратно перехвачены лентой на затылке. Поверх черной сутаны наброшен подобающий обряду наплечник; серебряный крест, как водится, при нем, на кресте покоятся кисти рук. Как бы невзначай Лемерль встал прямо под единственным витражным окном, оттуда на него красиво падают первые золотисто-розовые лучи восходящего солнца. И вдруг я почувствовала: сейчас что-то произойдет.

При нем была Альфонсина. После ее припадка поползли всякие слухи, хотя многие достаточно хорошо ее знали, чтобы отместить самое невероятное. Но все же появление ее рядом с Лемерлем не прошло незамеченным, и общим вниманием она не преминула воспользоваться: безумный взгляд, неверный шаг, беспрестанное покашливание в кулачок. Этим она как бы демонстрировала, что случившаяся с ней в крипте истерика не позор, а скорее некий успех, и не сводила с Лемерля обожающих глаз. Остальные также смотрели только на него: с надеждой, со страхом, с восхищением. Завороженно. И Антуана, и Клемент, и Маргерита, и Пиетэ. Правда, не все с обожанием. Лицо Жермены выражало крайнее безразличие, но глаза ее были красноречивей. Я прочла этот взгляд, и Лемерль глупец, если не сумел распознать в нем угрозу. Если бы только смогла, Жермена бы его изничтожила.

Наступившую тишину нарушил Лемерль.

— Дети мои! — произнес он. — Последние дни стали для нас днями испытаний. Тайнственное осквернение колодца; прерванные богослужения; страх перед нововведениями. — Тихий ропот пробежал по толпе. Сестра Альфонсина, казалось, вот-вот грянет в обморок. — Но время испытаний

позади, — продолжал Лемерль, начав движение от кафедры к алтарю. — Мы его пережили, и тем несомненно укрепили себя. И как символ нашей силы, нашей надежды, нашей веры, — тут он сделал паузу, и я почувствовала, как все вокруг напряглось в выжидании, — ныне мы приедем Причастие, таинство, каковое в этих стенах столь надолго было забыто. *Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus benedictam*^[43]...

Тут сестра Пиетэ, заправлявшая ризницей, медленно прошла в эту укромную обитель, где хранились наши немногочисленные сокровища, и вынесла оттуда потир и священные сосуды для причащения. Мы прибегали к ним редко. Я сама со времени вступления в монастырь причащалась всего однажды, а нашей прежней Матушке-настоятельнице изысканные сокровища, оставленные черными монахами, внушали такой благоговейный страх, что она распорядилась хранить их в целости и сохранности, так что даже смотреть на них и то редко дозволялось. Лемерль поломал эту традицию, как и все остальные. В глубине ризницы была печь для изготовления просвир, но, по-моему, ею лет двадцать уже никто не пользовался. Откуда он взял просвиры, можно было только догадываться: может, сам испек, а может, Мать Изабелла приказала испечь кому-то из сестер. Склонив голову, сестра Альфонсина поднесла гостию Лемерлю, в то время как он наливал вино в потир из тусклого серебра, сверкавший драгоценными камнями.

Мать Изабелла первой взошла на алтарь и преклонила колени перед причастием. Лемерль возложил руку ей на голову, взял просвиру с серебряного блюда:

— *Hoc est enim corpus meum*^[44].

От этих слов у меня мороз пошел по коже, и я растопырила пальцы от черного лиха. Что-то должно произойти. Я это чувствовала. Предчувствие витало в воздухе, как преддверие грозовой молнии.

— *Hic est enim calyx sanguinis mei...*^[45]

Теперь — чаша, непомерно большая в ее маленьких ручках. Обод чаши потемнел, неограниченные камни тусклы, как простой галечник. Внезапно мне захотелось броситься вперед, удержать эту девочку, сказать, чтоб не смела пить, не смела верить этому человеку, что причащение фальшивое. Но это было бы безумием; я уже и так в немилости, и так несу наказание. Я снова растопырила пальцы, уже было невыносимо смотреть, как Изабелла раскрывает рот, подносит чашу к губам, как...

— *Amen.*

Чаша двинулась дальше. Теперь место Изабеллы перед алтарем заняла

Маргерита, нога неуклюже дергается под подолом. Потом Клемент. Потом Пиетэ, Розамонда, Антуана. Неужто я ошиблась? Неужто предчувствия обманули меня?

— Сестра Анна!

Стоящая рядом Перетта вздрагивает при звуке незнакомого имени, колючего голоса. Голос аббатисы резок, властен. Если само причащение и всколыхнуло в ней что-то человеческое, теперь оно в нее впечатано и застыло, точно мед в сотах. Перетта попятилась, забыв, что за ней стоят. Послышалось чье-то ворчание, голая пятка ступила неожиданно кому-то на ногу.

— Сестра Анна, выйди вперед и прими причащение, прошу тебя, — сказал Лемерль.

Перетта взглянула на меня и замотала головой.

— Не волнуйся, Перетта, — едва слышно прошептала я. — Ступай, ступай к алтарю. — Но полоумная девочка стояла в нерешительности, зрачки с золотым ободком умоляюще смотрели на меня. — *Иди же!* — выдохнула я, подталкивая ее. — Не бойся!

Перетта в своей послушнической рясе опасливо опустилась перед Лемерлем на колени, ноздри, точно у настороженного щенка, подрагивали. Она что-то жалобно промычала, когда Лемерль положил просвиру ей на язык. Потом он подал ей чашу. Перетта сжала ее в пальчиках, кинула взгляд на меня, как бы ища поддержки. И поднесла чашу к губам.

На мгновение мне показалось, что ничего страшного уже не произойдет. Его *Amen* явственно прозвучал в звенящей тишине. Он потянулся, чтобы помочь Перетте встать. И тут она кашлянула.

Мне вспомнился монах посреди процессии в Эпинале. Толпа отхлынула тогда с таким же, как сейчас, тихим испугом: упавший монах корчится на земле, чаша выпала у него из рук.

Перетта кашлянула снова, подалась вперед. И вдруг ее вырвало. Это было так неожиданно, так ужасно. Воцарилась тишина. Полоумная девочка подняла на нас глаза, словно не веря в происходящее, и тотчас же ее потряс очередной приступ рвоты, она и рта прикрыть не успела. Зловещий багровый фонтан ударил у нее изо рта, забрызгав весь белый подол.

— *Кровь!* — простонала Альфонсина.

Перетта зажала рот руками. Она была страшно напугана, готова вот-вот сорваться с места. Я попыталась пробиться к ней, но Альфонсина преградила мне путь, крича:

— Она осквернила святое причастие! Причастие!

Как вдруг и она, согнувшись, зашлась в кашле. И я снова была в

Эпинале, и толпа передо мной разбегалась от падшего святого брата, и я слышала гул грянувшего вспять, сокрушающего все на своем пути течения толпы. Меня едва не придушили передние, оттеснив к стене поперечного нефа.

Лемерль сделал шаг вперед, сестры пугливо всколыхнулись, попятились, стихая. Альфонсина продолжала кашлять. Ее впалые щеки быстро покрывались красными пятнами. Внезапно она тоже согнулась вдвое, и ее тоже вырвало. Отвратительный кровавый сгусток шлепнулся, разбившись о мраморный пол у ее ног.

На здоровое увещевание теперь уже нечего было уповать. Напрасно я пыталась напомнить сестрам, что сестра Альфонсина и прежде харкала кровью, что таков ее недуг, — толпа отшатнулась, как в Эпинале, началась паника.

— Кровавая чума! — выкрикнула Маргерита.

— Проклятье! — отозвалась Пиетэ.

Я пыталась сопротивляться, но общий ужас поглотил и меня, я тонула в нем. Материнское знамение — *Изыди, злой дух!* — немного привело меня в чувство, хоть я и знала наверняка, что это не дух, никакой это не дух, что это человек из плоти и крови затеял всю эту кутерьму. Вокруг метались физиономии с выпученными глазами. Маргерита прикусила язык, кровь обагрила ей рот. Взметнув руки, Клемент угодила Альфонсине прямо по физиономии, та заорала, прижимая руку к разбитому носу. Как-то я видела одну картину, ее нарисовал человек по имени Босх, там души обреченных рвут друг дружку когтями в таком же неистовом, диком ужасе. Она называлась *Pandaemonium*^[46].

Вдруг Лемерль возвысил голос, и он прокатился по церкви, точно глас гнева Господнего.

— Ради Всевышнего, будем же чтить святость этой обители!

Возобновившаяся тишина подернулась рябью шепотков.

— Если это знамение, если Нечистый осмелился посягнуть на нас... — Снова занялось бормотание, но Лемерль, подняв руку, его унял. — Я говорю, если Сатана осмелился напасть на нас здесь, в этой церкви, в святая святых, осквернить чистилище Господа нашего, — то радуюсь я. — Он сделал паузу. — Как и *вы все* должны возрадоваться тому! Ибо если волк грозит напасть на стадо мирянина, то долг мирянина *изгнать того волка!* И если загнанный в угол волк ощерит пасть, что надо делать мирянину?

Все молча во все глаза смотрели на него.

— Должен ли мирянин повернуться и бежать?

— *Нет!* — глухо отозвалось, точно всплеск брызг накатившей волны.

— Должен ли мирянин стенать и рвать на себе волосы?

— *Нет!* — Теперь уже прозвучало тверже, подхваченное большинством.

— Нет! Мирянин хватает что ни есть под рукой — дубину, кол, вилы, — скликает друзей и соседей, а также братьев своих и их дюжих крепких сынов, и он гонит того волка, гонит его и уничтожает, и если Сатана устроил себе здесь логово, тогда, говорю я, пора изгнать его, чтобы он, как побитая собака, уполз к себе в преисподнюю!

Скуля от радости и восторга, теперь они все были в его власти. Черный Дрозд мгновение грелся в лучах восторженного поклонения — когда-то он так же стоял перед переполненным залом, — потом, поймав мой взгляд, улыбнулся. И продолжил, понизив голос:

— Но спросите себя, если Сатана сломил ваше сопротивление, спросите же себя, как вы позволили свое сопротивление ослабить? Какими непокаянными грехами, какими сокрытыми пороками вскормили вы его, какими грязными происками пригрелся он здесь в нечестивые времена?

Снова, на гребне уже новой волны, толпа отозвалась, бормоча:

— Скажи! *Наставь нас!*

— Нечистый способен укрыться где угодно, — он снизил голос до шепота. — Даже в самом святом храме. В воздухе. В этих камнях. Вглядитесь в себя! — Шестьдесят пар глаз принялись оглядывать друг дружку. — Присмотритесь к себе!

На этой ноте Лемерль отвернулся от кафедры, и я поняла, что представление окончено. Все в его духе — выход, действие, монолог, *гранд финале* и затем, наконец, к делу. Подобная роль, или же ее вариации, разыгрывалась передо мной многократно.

Его голос, только что такой проникновенный, будоражащий, резко переменился, перейдя на безличный, отрывистый тон начальника, выдающего распоряжения:

— Теперь ступайте, все свободны. Никаких богослужений не будет, пока место не очистится от скверны. Сестра Анна, — Лемерль повернулся к Перетте, — пойдет со мной. Сестра Альфонсина, обратно в лечебницу. Остальные могут возвращаться к своим обязанностям и молитвам. Хвала Господу Нашему!

Ничего не скажешь, даже восхищения достойно. С самого начала он уже держал их в своих руках, умело направляя из одной крайности в другую, — но зачем? Он намекал на какой-то высший мотив, позначительней, чем его прежние кражи и обманы, хотя я все еще не могла

взять в толк, зачем понадобился ему этот маленький монастырь, затерянный в глуши. Мне казалось это странным. Но что мне делать? В его руках моя дочь. Важней и насущней ее спасения для меня нет ничего. Во всем остальном пусть разбирается сама Церковь.



26 июля, 1610

Это утро прошло в трудах, молитвах и размышлениях. Во время капитула мы все публично исповедовались, и тут выяснилось, что еще пять монахинь ощутили привкус крови на языке во время причащения. Матушка Изабелла предположила, что в такой обостренности чувств могут быть повинны обильная пища и обильное питье, и наказала, чтоб ни в кухне, ни на столе отныне не появлялось ничего из содержащего красный цвет — ни мясо, ни помидоры, ни красное вино, ни яблоки, ни красные ягоды — и чтобы теперь мы все перешли на простейшую пищу. Теперь, когда новый колодец был почти завершен, эль также ограничивался, к досаде сестры Маргериты, которая невзирая на свою хворь заметно раздобрела от его питательных свойств. Сестра Альфонсина находилась в лечебнице вместе с Переттой. Сестра Виржини приглядывала за ними обеими и была уполномочена докладывать, если что не так, Матери Изабелле. Мне казалось невероятным, что кто-либо из наших сестер мог и в самом деле заподозрить Альфонсину или Перетту в одержимости. Но слухи разрастались. Зубы дракона, посеянные Лемерлем, быстро всходили.

Сегодня после ужина перед молением, исповедью и вечерним богослужением мы были предоставлены сами себе на полчаса. Я отправилась к грядкам, где росли теперь уже не мои травы; проводила пальцами по нежным кустикам розмарина и серебристого шалфея, вдыхала льющийся в меркнувшем дневном свете их тонкий аромат. Пчелы с жужжанием перелетали с лиловых шишечек лаванды на мелкие пахучие цветки тимьяна. Белокрылая бабочка на мгновение застыла, усевшись на василек. Внезапно отсутствие Флер показалось таким явным, таким неизбежным; перед глазами, будто резким переворотом дурной карты, встало ее сиротское личико. И чувство тоски, которую я отчаянно прятала в себе, накатило снова. Ничтожные мгновения, урванные в толпе: я едва успела на нее взглянуть. Капля в море. И как дорого пришлось за это заплатить. Минуло четыре дня. По-прежнему никакого знака от Лемерля, ни намек на возможность нового свидания. Я холодела от мысли: что если теперь, когда он спит с Клемент, уже нет надежды увидеть Флер? Я уже не так юна, я ему приелась. Лемерлю угодно лакомиться теми, кто помоложе. Я для него слишком холодна, слишком независима, слишком упряма. Мне

не на что больше рассчитывать.

Я опустилась на колени рядом с грядкой. Запахи лаванды и розмарина кружили голову, навевая воспоминания. Уже в который раз с растущей настойчивостью я спрашивала себя, что все-таки замышляет Черный Дрозд. Если б разгадать его мысли; тогда, возможно, я сумела бы хоть как-то ему воспрепятствовать. Может, в монастыре спрятано золото, к которому тянутся его алчные руки? Может, он каким-то образом разузнал о таящихся здесь сокровищах и надеялся, что я на них наткнуусь, копая колодец? Мы ведь все наслышаны про сокровища монахов, запрятанные в крипте, замурованные в древние стены. Опять я со своими романтическими выдумками. Джордано этого не выносил, высшей поэзией для него была математика. *Плохо кончишь, девушка*, — говорил он мне сухо. — *У тебя пиратская душа*. И добавлял, сверкнув глазом, видя, что мне такое сравнение, возможно, даже лестно: *Пиратская душа, и ослиные мозги*. *Ладно, вернемся к нашим формулам...*

Знаю, что бы сказал мне Джордано. В монастырских стенах никакого золота нет, и даже если оно и было когда захоронено в этой песчаной земле, то кануло глубоко и навеки. Клады только в сказках бывают. Но все же с Лемерлем у меня больше сходства, чем с моим наставником; в нем больше пиратского, меньше логики. Я знаю, что им движет. Страсть. Озорство. Овации. Истинный восторг делать все наперекор, обхитрить противника, низвергать алтари, осквернять могилы. Я знаю это, потому что мы все еще похожи, он и я, каждый будто окно в душу другого. В этой странной крови вспенивается и леденеет множество страстей, и жажда наживы лишь малая в них толика. Нет, дело тут не в деньгах.

Что же тогда, власть? Желание осознавать, что тебе подвластно столько женщин, использовать их, манипулировать ими? Это, пожалуй, больше в духе Черного Дрозда и вполне согласуется с его тайными свиданиями с Клемент. Но красоток у Лемерля, пожалуй, всегда было предостаточно, он никогда не страдал отсутствием внимания ни среди провинциалок, ни среди обитательниц парижских салонов. Прежде он это никогда особо не ценил, никогда не сворачивал с пути, чтоб за какой-нибудь погнаться. Что же тогда? — спрашивала я себя. — Что может двигать таким человеком, как он?

Внезапно из-за стены, окружавшей огород, раздался крик. Я вскочила на ноги.

— *Miséricorde!*

Так пронзительно, что сперва я даже не разобрала, кто кричал. Подбежав к стене, я выглянула наружу.

Фруктовый сад и огород находились как раз у западного фасада часовни, чтобы защитить деревья и растения от холодных зимних ветров. Я перегнулась через стену: западный вход был всего в пятидесяти футах от меня. Бедная старуха Розамонда, обхватив голову руками, истошно вопила:

— А-а-ай! *Тут мужчины!*

Подтянувшись с силой, я вскарабкалась на стену и встала на край. У западного входа стояло шестеро парней. У раскрытой двери лежала груда веревок с блоками, рядом куча бревен, явно предназначенных для перетаскивания тяжестей.

— Успокойся, сестра! — крикнула я ей. — Это всего лишь работники. Пришли крышу чинить.

— Чинить? — уже смущенно переспросила Розамонда.

— Успокойся, — снова повторила я, спуская ноги с наружной стороны стены. — Это работники. Крыша протекает, будут ее латать.

Ободряюще кивнув Розамонде, я легким прыжком соскочила в высокую траву.

Розамонда, озадаченно трясая головой, спросила:

— Кто ты, девушка?

— Я сестра Огюст, — сказала я. — Узнаешь меня?

— Нет у меня никакой сестры, — сказала Розамонда. — И не было никогда. Может, ты моя дочь? — Она близоруко вглядывалась в меня. — Должно быть, милая, я тебя знаю. Но все же припомнить не могу...

Я нежно обняла ее. Несколько сестер, собравшихся у входа, поглядывали на нас.

— Неважно, — сказала я. — Давай-ка мы с тобой лучше пойдем в наш капитул и...

Но едва мы с ней повернулись к часовне, как Розамонда снова истошно вскрикнула:

— Гляди! Святая Мария!

То ли зрение у Розамонды оказалось острее, чем я думала, то ли она, когда начались работы, еще была в часовне, но сперва я ничего подозрительного в сборище рабочих у западного входа не углядела. Но, присмотревшись, поняла, что оснащение, сваленное у дверей, вовсе не для починки крыши. Ни лесов не возведено, ни даже лестницы не поставлено. Один парень устанавливал катки. Двое других пытались поддеть статую с помощью рычага. Еще двое сзади ее поддерживали, а один, главный, руководил работой. И вот вся в путах, точно громадное животное, дюйм за дюймом поползла по каткам вниз Мари-де-ля-Мер.

Уже успевшие скопиться монахини в молчании наблюдали за

происходящим. Я заметила среди них и Альдегонду, и Маргериту. Розамонда смотрела на меня ошарашенно, потерянно.

— Зачем они убирают нашу святую? — повторяла она. — Куда они ее тащат?

— Наверно, хотят перевезти в более подходящее место, — сказала я, неуверенно пожав плечами.

Где как не здесь ей стоять, при нашей часовне, у этого входа, тут ее видно из любого конца монастыря, тут каждый входящий может до нее дотронуться?

Розамонда со всех ног кинулась к рабочим.

— Ее нельзя забирать! — хрипло кричала она. — Вы не смеее ее красть у нас!

Я кинулась вслед за ней:

— Осторожно, сестра! Не споткнись!

Но Розамонда меня не слушала. Ковыляя, она припустила к дверям, перед которыми орудовали работники, тщетно стараясь не расколоть мраморные ступени.

— Что вы делаете! — кричала Розамонда.

— Поберегись, сестра! — сказал один. — Не мешайся под ногами!

И осклабился, обнажив ряд кривых, почерневших зубов.

— Это же святая! *Наша святая!*

Глаза у Розамонды сделались круглые от гнева.

Отчасти я разделяла ее возмущение. Исполинская святая — если только она в действительности таковою была, — за многие годы стала неотъемлемой частью нашего монастыря. Это каменное лицо было с нами и в жизни, и в смерти. Неисчислимые молитвы шептались под этим застывшим, бесстрастным взглядом. Этот округлый живот, эти богатырские плечи, эта черная глыба немого присутствия все годы, при всех превратностях судьбы были нам в утешение, точно нерушимая крепость. Убрать ее сейчас, в пору смятения, означало бы осиротить нас, когда мы больше всего в ней нуждались.

— По чьему распоряжению? — спросила я.

— Нового духовника, сестра! — бросил парень, едва взглянув на меня. — Осторожно, поехала!

Я отпихнула Розамонду от ступеней в тот самый момент, когда статуя, поддерживаемая с обеих сторон работниками, съехала вниз по валикам и грохнулась со ступеней на дорожку. Сухая пыль поднялась столбом от земли. Работник с гнилыми зубами приподнял святую, а его подручный, молодой, весело скалившийся рыжеволосый парень, подкатил тачку, чтоб

погрузить на нее статую.

— Почему? — не унималась я. — Почему вы ее увозите?

Рыжий пожал плечами:

— Нам сказали — мы увозим. Может, вам новую поставят. Эта уж больно старовата.

— И куда вы ее денете?

— Скинем в море, — сказал рыжий. — Так приказано.

Розамонда вцепилась в меня:

— Они не смеют! Матушка-настоятельница ни за что им не позволит! Где она? Где Матушка-настоятельница?

— Я здесь, *ma fille!* — прозвучало тихо, бесстрастно, бесцветно, какова была и носительница этого голоса; но, как ни странно, Розамонда затихла, взгляд остановился, на обескураженном лице бедняги выражение надежды сменилось ужасом.

Мать Изабелла, сложив на груди руки, стояла у дверей в церковь.

— Пора освободиться от этого богохульства, — сказала она. — Она и так слишком долго простояла здесь, а островитяне — народ суеверный. Называют ее Русалкой. Возносят ей молитвы. Господи прости, ведь у нее же хвост!

Сдержаться я не сумела:

— Но, *ma mère...*

— Это изваяние не может считаться Святой Девой, — отрезала Изабелла. — К тому же нет такой святой — «Мари-де-ля-Мер». И никогда не было. — Гнусавый голос окреп: — Как можно было такое здесь терпеть? Прямо у входа в наш храм! Чтоб к ней ходили всякие паломники! Чтоб женщины, — те, что *на сносях!* — счищали с нее грязь, чтобы варить колдовские зелья!

До меня стало доходить. Дело не в самой святой, а в том, кем она здесь слывет. В том, что она — символ плодородия в выхолощенной обители Господней.

Слегка передохнув, Изабелла продолжила речь и теперь, казалось, уже не могла остановиться:

— Я увидела все, едва ступила на эту землю. Это не освященное погребение. Тайные пороки. Кровавое проклятие.

Даже эти кликушеские слова она произносила по своему обыкновению бесстрастно. У Анжелики Сент-Эврё-Дезире-Арно выработалась своя манера, она не отступала от нее ни при каких обстоятельствах.

— И вот, — продолжала она. — Зло осмелилось мне угрожать. Мне!

Страшает кровью! Мой духовник находит кровавый источник, очищает его. Но злу несть конца. Злу несть конца.

Она умолкла на мгновение, остановив взгляд на упомянутом зле. Потом, сухо бросив «Восславим Господа Нашего!», повернулась и пошла прочь.

Вскоре прозвучал колокол к вечерне, и уже было не до обсуждений. Да я бы и все равно не осмелилась роптать; страх, что я могу потерять возможность видеться с Флер, заставлял меня придерживать язык. Но даже во время молебна я то и дело возвращалась мыслью к словам, которые произнесла Изабелла на ступенях лестницы, смысл которых она и сама, похоже, не вполне осознавала.

Кровавое проклятие. Злу несть конца.

Новый колодец скоро будет готов, вода чиста и сладка, ее веление исполнено. Лемерль тщательно осмотрел саму часовню, купель, ризницу, все священные сосуды и объявил, что все чисто. Слава Богу, обмолвился в том же духе и насчет Перетты с Альфонсиной, хотя пересуды по-прежнему не утихли. Похоже, Альфонсина даже огорчена, что ее духовное здоровье не имеет изъяна, ее явная досада побудила Маргериту туманно намекнуть, что, мол, некоторые строят из себя, чтоб быть в центре внимания.

Но злу все еще несть конца.

Невольно мой взгляд то и дело устремлялся в громадную пустую нишу, где только что стояла Мари-де-ля-Мер. Жертва невелика, сказала я себе, взамен того, что мне вернут дочь; что такое каменное изваяние в сравнении с живым маленьким существом, с перепуганной девочкой?

Разумеется, за всем происходящим стоит Лемерль. Зачем ему понадобилось трогать статую, было непонятно, и все же лишение ее, служившей нам символом единения и нашей веры, еще на шаг подтолкнуло всех нас к отказу от самих себя. И я поняла: отныне Лемерль сделался нашим символом; в нем едином было наше спасение. Во время службы он вещал о святых мученицах — святой Перпетуе, святой Катерине и Кристине Чудотворной, о таинстве смерти и очищении огнем, и все мы уже были в его руках.

Аббатство Sainte-Marie la Mère^[47],

Иль-де-Нуар-Мустьер,

26 июля, 1610

Монсеньор,

С превеликим удовольствием готов известить Вашу Милость, что все, что Вы столь мудро провидели, проистекает согласно замыслу. Моя подопечная выказывает в высшей степени достойное одобрение рвение в осуществлении всех нововведений, каковые она замышляет, и аббатство почти вернуло себе прежнюю славу. Церковная крыша все еще требует некоторой затраты сил, и с прискорбием должен сообщить Вам, что западный трансепт изрядно пострадал от непогоды. Но при всем этом, мы питаем немалые надежды, что мы к началу зимы все увидим в завершенном виде.

Как заметил Монсеньор, прежнее название монастыря нами изменено и все признаки и подобию прежнего простонародного наименования вытравлены во имя нынешнего. Присоединяюсь к горячим мольбам Вашей, Монсеньор, племянницы, дабы Вы, елико позволят вам ваши хлопоты и заботы, посетили нас в ближайшие месяцы, мы же с превеликим почтением и благодарностью встретим Ваше Августейшее Появление.

Остаюсь — ваш покорнейший слуга...

И все такое прочее.

Должен признаться, изящным стилем я владею отменно. *Ваше августейшее появление.* Неплохо. Утром отошлю письмо с доверенным лицом. Или лучше сам поскачу в Порник и отправлю оттуда, — хоть на пару часов убратся из этой затхлой дыры. Как Жюльетта все это выносит, ума не приложу. Я держусь, потому что мне так надо: и еще потому, что знаю, это ненадолго. Здешние затворницы, как поганки, разрослись здесь в чудовищном изобилии; от их вонючего лицемерия меня тошнит. В этой тюрьме я едва могу дышать, я плохо сплю. Надо попросить у Жюльетты успокоительное снадобье.

Жюльетта, любовь моя. Та беляночка — как бишь ее? — Клемент? —

вполне годна для моих утех, к тому же трогательно услужлива. Но эта мелкая дичь не для меня. Начнем с того, что слишком пучеглаза. В глазах — летнее, тусклое, безоблачное небо, ни малейшего янтарного или аспидного всполоха. Волосы белые, как пена, и безнадежно — не те. Кожа слишком светла, ноги слишком гладки, на лице ни стойкого загара, ни ввевшейся пыли. Что ж, видно, я чересчур привередлив. Такая прелестница под боком, я же все рвусь к упрямой великанше с ледяным взглядом. Пожалуй, в ее ненависти я и нахожу особую прелесть.

Клемент меня не греет. Ее пыл леденит мне члены. То и дело нашептывает мне романтические сказки, мечтательно бубнит про Прекрасную Иоланду, про Тристана с Изольдой, про Абеяра и Элоизу... По крайней мере, она мне не опасна, не проговорится. Дурочка влюбилась в меня по уши. Я все чаще и чаще измываюсь над нею, но она, похоже, с каждым унижением испытывает все большее наслаждение. Я же довожу себя до экстаза на свой лад, грезя о рыжекудрых гарпиях.

Нет от нее спасенья. Прошлой ночью она приходила ко мне — подумалось: не виденье ли? Видел всего одно мгновенье — прислонилась к моему окну, в глазах сверкнули отблески каминного огня, и на миг в ее лице мне почудилась нежность.

Клемент шевельнулась подо мной с легким мычанием, что в ее понятии означало страсть. Глаза прикрыты, волосы и бедра озарил огонь. Внезапно я ощутил в чреслах жаркий прилив наслаждения, будто женщина за окном слилась с той, что в моих объятиях; как вдруг лицо в окне исчезло, и я остался всего-навсего с Клемент, жадно дышавшей в моих руках, точно рыба, выброшенная на берег. Наслаждение — хоть и без острого восторга — всколыхнулось от растущей убежденности, что лицо Жюльетты за окном вовсе не призрак. Она видала нас вдвоем. То, что я успел прочесть на ее лице — потрясение, отвращение и нечто сродни досаде, даже ярости, — глубоко запало мне в душу. Еще немного, я был готов сорваться и кинуться следом за нею, хотя это явно порушило бы мои тщательно разработанные планы. Отчаянные мысли жгли меня огнем. Я поднялся и, обнаженный, презрев протесты Клемент, подошел к окну. Наяву ли мелькнула вдоль стены полускрытая мраком, смутная тень? Я не был в том уверен.

— Коломбэн, ну же...

Я покосился через плечо: Клемент сжалась на корточках у очага, волосы по-прежнему обманчиво бронзовели в свете догорающих углей. Внезапно во мне закипела ярость, в два прыжка я оказался рядом с ней.

— Как ты смеешь звать меня по имени! — Грубо схватив ее за волосы,

я швырнул ее на пол; она глухо вскрикнула. Тогда я ударил ее, дважды, не так сильно, как хотелось бы, но щеки у нее запылали. — Вообразила себя куртизанкой из парижского борделя? Да за кого ты *меня* принимаешь?

Клемент ревела, звучно всхлипывая. Меня это почему-то разъярило еще сильнее, и я потащил ее, продолжавшую скулить, на кушетку.

Я наподдал ей, но не в полную силу. Пара алых следов на белом плече, на белом бедре. Жюльетта за жалкое прикосновение прирезала бы меня. Клемент же с кушетки ела меня взглядом, в глазах стояла мольба, и одновременно в них светилось какое-то непонятное удовольствие, будто только того она от меня и ждет.

— Простите меня, *mon père* — выдохнула она.

Детская ручка обхватила грудку величиной не более недозрелого абрикоса, с жалкими потугами на обольщение выпятив сосок. Меня чуть не стошнило от мысли, что я могу снова к ней прикоснуться. Но, возможно, я и так слишком выдал себя. Я сделал к ней шаг, вялыми пальцами провел ей по лбу, сказал:

— Вот и умница, на сей раз я тебя прощаю!



27 июля, 1610

Сент-Мари-де-ля-Мер увезли каменотесы в своем фургоне на самый дальний восточный край острова, где берег изрезан хищными приливами. Там ее останки столкнули в море. Я этого не видела — при сем присутствовали лишь Лемерль с аббатисой, — но нам сказали, что в том месте, где упала статуя, вдруг задул сильный ветер, вспенилась вода, черные облака затянули небо, и день превратился в ночь. Так сказал нам Лемерль, потому все промолчали, но я перехватила насмешливый взгляд Жермены во время его публичного выступления.

Лемерль отнял дорогое не только у меня, у нее тоже. За эти дни лицо Жермены осунулось, шрамы на бледной коже стали еще заметней. Она спит так же плохо, как и я. Я слышу в нашем дортуаре: притворяется, будто спит, но дыхание совсем неглубокое, и ворочается она судорожно, не так, как спящая.

Прошлой ночью перед всенощной я слыхала, как она что-то резко выговаривала Клемент, но очень тихо, слов было не разобрать. От Клемент не доносилось ни звука — я поняла, что та повернулась к Жермене спиной, — и все часы напролет от заутрени до предобеденной молитвы я слышала горькие затяжные рыдания Жермены, но подойти не смела.

Ну, а Лемерль... После дня, проведенного вместе на рынке, он не искал встреч со мной, и в меня мало-помалу стала закрадываться мысль, что Клемент не просто с ним спит, но, как видно, овладела его сердцем. Нет, не то чтобы *это* меня задевало. Мне уже давно наплевать, с кем он проводит ночи. Но Клемент злопамятна. И нас с Флер она никогда не жаловала. Страшно представить, какую власть может возыметь она над всеми нами, если Лемерль поддался ее чарам.

Я стирала белье в нашей прачечной, когда наконец он явился туда, явно в поисках меня. Я почуяла его; узнала стук его шагов по каменным плитам, а по звону шпор поняла, что он одет для верховой езды. Обернулась не сразу, погрузила охапку белья в один из чанов с кипящей водой, повернувшись спиной, не решаясь первой заговорить. Щеки мои пылали, но, должно быть, от пара, в прачечной было жарко, она вся была в белых клубах. Некоторое время он стоял молча, я чувствовала на себе его взгляд, но так и не обернулась, не сказала ни слова. Наконец он заговорил,

в манере, которую, как он отлично знал, я терпеть не могла:

— Бесподобная гарпия! Надеюсь, я не помешал тебе в твоём рвении к чистоте? Уж если не благочестие, то, должно быть, именно чистота, прелесть моя, и составляет сущность твоего жизненного призвания.

Взяв палку, я перемешала белье и сказала:

— Боюсь, сейчас мне недосуг с тобой в игры играть. У меня много работы.

— Правда? Какая жалость. А ведь нынче базарный день.

Я замерла.

— Ну, собственно, лично у меня ехать на базар особых причин нет, — продолжал Лемерль. — В прошлый раз я с трудом перенес рыбную вонь и дух черни.

Тут я взглянула на него, даже не пытаясь скрыть боль в своём взгляде.

— Чего тебе нужно от меня, Ги?

— Ничего, моя Летунья, кроме твоего прелестного общества. Чего ещё могу я желать?

— Откуда я знаю? Верно, Клемент могла бы меня тут просветить, — невольно сорвалось у меня с языка.

Я видела, как его передернуло; потом он с улыбкой спросил:

— Клемент? Это кто же такая?..

— Прекрасно ты знаешь кто, Лемерль. Она к тебе тайно по ночам бежит в сторожку. Уж мне ли не знать, что ты не способен долго продержаться, чтоб с кем-нибудь не переспать.

С невинным видом он пожал плечами:

— Небольшое развлечение, только и всего. Ты не согласишься, до чего мне опротивела эта церковная жизнь. Кстати, Жюльетта: девица эта уже успела мне надоесть.

Что ж, вполне в его духе. Я сдержала нежелательную усмешку. А ведь в таком месте, как наше, утаить что-либо не просто, даже Мать Изабелла не до такой степени наивна, чтобы не заметить и не заклеить разврат.

— Все выйдет наружу, можешь не сомневаться. Клемент не из тех, кто умеет держать язык за зубами. Непременно проговорится.

— А ты — нет, — сказал он.

Он по-прежнему не сводил с меня глаз, и под его пристальным взглядом мне стало не по себе. Я подлила ещё воды в чан, уставившись на взвившийся над щелоком пар. И собиралась подлить ещё воды, чтобы крахмалить белье, но Лемерль взял у меня из рук кувшин с водой и очень тихо поставил его на пол.

— Не мешай! — бросила я как могла резко, чтобы унять дрожь в

голосе. — Само белье не постирается!

— Пусть его стирает кто-то другой. Мне нужно с тобой поговорить.

Я обернулась, взглянула ему прямо в глаза:

— О чем? Что тебе еще может от меня понадобиться, разве ты не все у меня отобрал?

Лемерль изобразил на лице обиду:

— Почему ты все сводишь к моим надобностям?

Я рассмеялась:

— Так было всегда!

Ему это не понравилось, я это предвидела. Поджал губы, глаза сверкнули; вздохнул, покачал головой:

— Ах, Жюльетта, Жюльетта! Ну отчего так враждебно? Если бы ты только знала, как сурово мне пришлось в последнее время. Совсем один, поделиться не с кем...

— Жалуйся Клемент, — оборвала я его.

— Почему не тебе?

— Ты хотел мне что-то сказать? — я потянулась за палкой, чтоб потолочь белье. — Вот и скажи, где ты прячешь Флер!

— Ну нет, любимая! — с тихим смешком проговорил он. — Виноват!

— Уж это точно! — отрезала я.

— Нет, кроме шуток, Жюльетта...

Я сняла плат, чтоб удобнее было стирать; кончиками пальцев он провел мне по изгибу шеи.

— Мне нужно, чтобы я мог тебе доверять. Больше всего на свете я хочу, чтобы вы с Флер были вместе. Едва я закончу здесь свои дела...

— Закончишь? Когда?

— Надеюсь, что скоро. Замкнутое пространство чуждо моей натуре.

Я вылила еще кувшин воды в чан, громадной лавиной взметнулся душный пар. Еще немного поколотила белье, прикидывая, что он задумал на этот раз.

— Должно быть, очень они для тебя важны, — сказала я наконец. — Эти твои дела.

— Ты так думаешь? — насмешливо бросил он.

— Не для того ведь, чтоб дурить мозги монашкам, ты забрался в эту глушь!

— Возможно, ты и права, — сказал Лемерль.

Я взялась за деревянные щипцы, подцепила ими из чана белье, перекинула в корыто с крахмалом.

— Ну, говори! — я повернулась к нему с щипцами в руках. — Зачем

ты здесь? Что тебе здесь надо?

Он шагнул ко мне и к моему изумлению очень нежно поцеловал меня в лоб.

— Дочь твоя на рынке, — мягко сказал он. — Хочешь с ней повидаться?

— Только без шуток!

Я опустила щипцы, рука моя дрожала.

— Без шуток, Летунья! Обещаю.

Флер поджидала нас на краю мола. Хотя нынче и был рыночный день, на сей раз торговки рыбой и ее повозки не было видно. Теперь при Флере был седой старик, по виду крестьянин, в приплюснутой шляпе и куртке из грубой шерсти, рядом сидели ребятишки, пара мальчуганов. Интересно, куда подевалась та жена рыбака; по-прежнему ли живет у нее Флер или же все это уловка, чтоб сбить меня с толку. А, может, теперь ее опекун этот седой? Он ни произнес ни слова, когда я подошла к Флер и обняла ее. Его пустые молочно-голубые глаза не отразили ни малейшего любопытства. Он то и дело прикладывался к кусочку лакрицы, немногочисленные уцелевшие зубы окрашивались коричневатым соком. Кроме челюстей все остальное в нем оставалось недвижимым. Судя по всему он был глухонемой.

Как я и думала, Лемерль наедине с дочерью меня не оставил. Он сидел, отвернувшись, в нескольких ярдах от нас на прибрежном каменном валу. Видно, Флер немного сковывало его присутствие, но я отметила, что теперь она не так бледна, что поверх серого платица у нее повязан чистый красный фартук, а на ногах деревянные сабо. Встреча была и сладкой, и горькой; Флер уже разлучена со мной чуть больше недели и к разлуке стала привыкать, сиротский взгляд исчез, появилось нечто непонятное и пугающее. Даже за такой короткий срок она явно стала другой, повзрослела; если ничего не изменится, через месяц совсем станет на себя не похожа, это будет уже чужой ребенок, лишь отдаленно напоминающий мою дочь.

Я не осмеливалась спросить, где ее держат. Просто прижала к себе, зарылась лицом в ее волосы. Они чуть пахли сеном, и мне подумалось: не на ферме ли? Впрочем, пахло от нее еще и хлебом, значит, это может быть и пекарня. Я рискнула взглянуть на Лемерля, который, казалось, погруженный в свои мысли, смотрел на волны прибоя.

— Ты не хочешь познакомить меня с этим господином? — произнесла я наконец, кивнув на седого.

Казалось, старик не слышит. Как и Лемерль.

— Я бы хотела все-таки его поблагодарить, — продолжала я, — если это он заботится о тебе.

Лемерль со своего наблюдательного пункта замотал головой, даже не потрудившись обернуться.

— Ну-у-у... Может... Я сегодня вернусь домой?

— Не сегодня, солнышко. Но скоро. Обещаю тебе.

Я выставила знак от сглаза.

— Ладно! — Флер тоже растопырила свои пухлые детские пальчики. — А Яник меня плевать научил. Хочешь посмотреть, как получается?

— Не сейчас, прошу тебя. А кто такой Яник?

— Один мальчишка. Он хороший. У него кролики есть. Ты принесла Муш?

Я отрицательно покачала головой.

— Смотри-ка, Флер, какая красивая лодочка! А там, где ты живешь, есть лодки?

Кивок Флер и взгляд Лемерля с каменной стены.

— А ты бы *хотела*, Флер, прокатиться на лодке?

Она отчаянно замотала головой, так что запрыгали шелковые кудряшки.

Я упорно не отставала, стараясь не упустить случай:

— Ты сегодня сюда на лодке приплыла? Да, Флер? Или по дамбе пришла?

— Прекрати, Жюльетта! — оборвал меня Лемерль. — Или я устрою так, что она больше сюда не придет!

Флер сверкнула на него глазами:

— Я хочу еще прийти! Хочу обратно в монастырь, там кошка и цыплята.

— Ты вернешься туда! — Я обняла Флер, едва сдерживая слезы. — Обещаю тебе, Флеретта, ты вернешься!

По дороге домой Лемерль был необычайно со мной обходителен. Посадил позади себя на лошадь и некоторую часть пути все пускался в воспоминания о былых временах, об Элэ, о *Ballet des Gueux*, о Париже, о Пале-Рояле, о *Grand Carnival*, *Théâtre des Cieux*, о триумфах и невзгодах прежних лет. Я говорила мало, что, казалось, его не смущало. Возвращенные к жизни звуками его голоса веселые призраки прошлого витали над нами. Пару раз я даже готова была рассмеяться; странная, незнакомая улыбка застыла у меня на губах. Если бы не Флер, я позволила

бы себе рассмеяться. Но впереди сидел мой враг. Он был для меня — как дудочник из немецкой сказки, избавивший город от крыс, затем, когда горожане не заплатили ему за услугу, увлекший их детей под звуки своей дудки прямо в разверстую преисподнюю, и их крики потонули под землей. А ведь как приплясывал, какую веселую песенку наигрывал им...



27 июля, 1610

Когда мы вернулись, в монастыре царил полный переполох. Мать Изабелла поджидала нас у сторожки, бледная, встревоженная. Сказала, что у них происшествие.

— Что случилось? Что? — озабоченно спросил Лемерль.

— Было явление! — с трудом выговорила Изабелла. — Нас искушали дьяволы! Сестра Маргерита молилась в часовне. За упокой души моей предшественницы. За упокой души М-матери Марии.

Лемерль молча слушал ее спотыкающийся рассказ. Настоятельница рассказывала сбивчиво, отрывисто, то и дело повторяясь, как бы сама пытаясь постичь смысл происшедшего.

Маргерита, все еще взбудораженная после утренних событий, отправилась одна в часовню молиться. Преклонила колени на маленькой *prie-dieu*^[48], стоявшей перед закрытой дверью в крипту. Прикрыла глаза в молитве. Через какое-то время ее отвлек металлический звук. Открыв глаза, она увидела у входа в крипту фигуру в коричневом плаще монахини-бернардинки с белой льняной манишкой. Лицо было скрыто под накрахмаленным кишнотом.

В тревоге вскочив, Маргерита крикнула монахине, чтоб та назвала свое имя. Но от страха колени подкосились, и Маргерита осела на пол.

— Отчего ты так испугалась? — удивился Лемерль. — Верно, это был кто-то из наших престарелых сестер. Например, сестра Розамонда или же сестра Мари-Мадлен. Каждая иногда, особенно в жаркую погоду надевает кишнот.

— Теперь его не надевает никто! — выпалила Мать Изабелла. — Никто!

Но на этом рассказ не закончился. Отвороты белого головного убора, манишка, даже руки неведомо откуда возникшей монахини были забрызганы кровью. Мало того, — тут Мать Изабелла даже перешла на шепот — крест монахини-бернардинки, обычно нашитый спереди, был сорван, следы ниток еще можно было разглядеть на забрызганном кровью батисте манишки.

— Это была Мать Мария, — холодно отрезала Изабелла. — Мать

Мария, восставшая из мертвых.

Не сдержавшись, я сухо бросила:

— Все это выдумки! Вы же знаете Маргериту. Ей вечно всякое чудится. В прошлом году привиделось, будто из трубы пекарни вылетают черти, — а там под крышей свили гнездо обыкновенные галки. Люди с того света не возвращаются.

— А вот и нет, возвращаются! — резко, с детским упрямством перебила меня Изабелла. — Мой дядя, епископ, сталкивался с подобным много лет назад в Аквитании.

— С чем же? — Насмешку скрыть мне не удалось. Изабелла метнула на меня взгляд, явно прикидывая, какую еще епитимью наложить на меня теперь:

— С черной магией!

Я в изумлении уставилась на нее, не зная что и сказать.

— Такое не укладывается в голове, — произнесла я наконец. — Матушка Мария была женщина добрейшая, праведнейшая. Как это можно, чтобы...

— Лукавый может принимать разные обличья по своему усмотрению, — холодно припечатала Изабелла. — Все эти знаки — осквернение кровью, мои сны и теперь это дьявольское явление... Какие могут быть сомнения? Какие еще нужны доказательства?

Слушать это было выше моих сил:

— Человек с больным воображением способен видеть то, чего на самом деле нет. Если бы не только Маргерите явилось это... видение, то...

— Вот именно, не только! — победно прозвучал детский голосок. — Это видели все. Все мы.

В этом вполне можно было усомниться. Скорее всего, вопли Маргериты услышали находившиеся где-то поблизости монахини, в том числе и сама Мать Изабелла. Вбежав после слепящего солнца в темную часовню и не успев свыкнуться с полумраком, что могли они явственно разглядеть: фигуру? монашеский белый головной убор?.. При их появлении тень якобы метнулась и скользнула в крипту. К тому моменту в церковь вбежало еще несколько монахинь. Потом каждая клялась, что и она что-то видела, видали даже те, кто застал лишь полный переполох. Попалась одна очевидица, которая вообще весь день работала в поле. Но Мать Изабелла, вооружившись распятием и фонарем, с семенившими за нею Маргеритой и Томасиной, вошла в крипту, чтобы проверить, нет ли там кого, предварительно заперев дверь, чтобы никто из смертных не проскользнул. Поиски не дали результатов. Призрака монахини обнаружить не удалось.

Но на могиле Матушки Марии, печать на которой была цела и известка еще не застыла, обнаружили следы жидкости кровавого цвета со сладковатым запахом, обогрившей и монастырскую воду, и вытекала она явно из-под каменного склепа, где стоял гроб с Матушкой Марией...

Лемерль, приняв озабоченный вид, настойчиво приказал немедленно осмотреть место происшествия. Я вернулась к своим обязанностям. Мать Изабелла была явно недовольна, что я сопровождала Лемерля в Барбатр, — хоть и приняла скрепя сердце его заверения, будто я была нужна, чтобы отнести еду и лекарства бедным людям; меня отослали работать на кухню, чистить овощи для вечерней трапезы. Там у меня было достаточно времени, чтобы обдумать происходящее.

Слишком много выходило совпадений. На прошлой неделе я отправилась в Барбатр, и Перетта на несколько дней исчезла. На этой неделе Маргерите явилось видение, и снова в мое отсутствие. И оба раза я была с Лемерлем. Специально ли он это подстроил, чтоб я не смогла помешать? Несомненно, окажись в монастыре, я попыталась бы как-то вмешаться в оба события. Все-таки зачем ему все это? Обычный розыгрыш, говорил он, давая мне красящие таблетки для колодца. Так и явление монахини, скрывавшей лицо, возможно, очередной подстроенный розыгрыш? Вполне вероятно, что в этой комедии принимала участие Клемент. Но в чем смысл этой череды жестоких розыгрышей? Ясно, что не в его интересах привлекать внимание к монастырю или к самому себе. Но ведь Лемерль чертовски хитер. Если что замыслил, значит, зачем-то ему так нужно. Зачем — как ни билась, понять я не могла. Если бы мне удалось выяснить, кто выступил в роли призрака и как ему удалось будто сквозь землю провалиться... Но эта проказа и так уже возбудила к себе столько внимания, и поэтому будут молчать те, кто мог бы хоть что-то сказать. Может, и это он также просчитал? И сколько еще мелких почестей раздал он, сколько мелких льгот насулил? И сколько прислужниц у него среди нас? И кто они? Альфонсина? Клемент? Антуана? Я?



29 июля, 1610

Теперь в наших рядах полный разлад, сестринский союз разбился вдребезги, и осколков уже не видать, как и статуи нашей покровительницы. И Клемент далеко: в наказание за нерадивость ее услали рыть канавы для отхожих мест. Я поймала себя на мысли: не душок ли нынешних ее повинностей отвадил от нее Лемерля? Или жестокость и привередливость просто в его натуре? Черный Дрозд привык портить плоды на ветках, истычет своим клювом все, изгадит, но ни один плод целиком его не удовлетворит. Любит ли она его? Судя по тому, какая она потухшая, неприкаянная, при том, что Лемерль на нее даже и не взглянет, — пожалуй, да. Ну и дура. Жермена ей явно опротивела, а ведь та готова с ней вместе рыть отхожие канавы, отчаянно хочет быть рядом.

Едва проснувшись, я попробовала заговорить с Переттой, но та была какая-то дерганая, рассеянная, ничего у меня не получилось. Верно, сердится на меня; с Переттой всегда разобраться трудно. Я хотела было рассказать ей про Лемерля, и про Флер, и про зараженный колодец, но мое молчание — залог того, что с Флер ничего дурного не случится. Пока я в своем уме, об этом забывать нельзя. Потому я таюсь от своей подружки и стараюсь не принимать близко к сердцу ее замкнутость. Мне ее недостает, но Флер мне недостает еще сильнее. Видно, в моем черством сердце есть место лишь для одной любви.

Розамонда теперь уже не с нами. Два дня назад ее перевели в лечебницу, где содержатся больные и умирающие. Сестра Виржини, молодая послушница, приставленная к Розамонде, уже приняла постриг, и теперь ее обязанность ухаживать за больными. Я знаю ее, она училась у меня латыни: девушка простая, ничем не примечательная, без искры божьей; в ее угловатости уже угадывается грубоватая топорность местных жительниц. Думаю, Мать Изабелла предупредила Виржини на мой счет. Это видно по колючим взглядам девицы и уклончивым ответам. Виржини нет еще и семнадцати. Розамонда для нее — ископаемое существо. По годам ей ближе новая аббатиса, которой она во всем холопски подражает.

Вчера через стену я видала Розамонду в саду лечебницы. Она сидела на маленькой скамеечке, вся съежившись в комочек, будто так достанется меньше зла от окружающего мира, и вид у нее был еще более потерянный,

чем всегда. Розамонда подняла на меня глаза, но не узнала. Лишенную повседневных обязанностей, тонкой нитью связывавших с действительностью, ее несло по течению в потоке пустых тревог, и единственной связью с нашим миром остались сестра, приносявшая ей еду, да приставленная к ней девица, хмурая, неулыбчивая.

Меня так возмутило жалкое положение Розамонды, что я рискнула заговорить о ней этим утром на собрании капитула. Обычно Лемерль на капитуле не присутствовал, и я надеялась в его отсутствие попытаться как-то повлиять на аббатису.

— Сестра Розамонда вовсе не больна, *ma mère*, — смиренно произнесла я. — Милостиво ли отказывать ей в той малости, что еще может принести ей радость? Заботы, подруги...

Аббатиса взглянула на меня из далека своих немногочисленных лет.

— Сестре Розамонде уже за семьдесят.

Как же, для Изабеллы это целая вечность!

— Она едва помнит, какой сегодня день. И никого не признает.

Ага! Это уже ближе к делу. Тебя она не узнает.

— К тому же немощна, — продолжала Изабелла. — Даже простое поручение ей выполнить трудно. Разве не милостивей отправить ее на отдых, вместо того, чтобы в ее годы заставлять работать? Полагаю, сестра Огюст, — добавила она, хитро сверкнув глазками, — *ты* не завидуешь сестре Розамонде и ее заслуженному отдыху?

— Чему тут завидовать! — обиженно буркнула я. — Оказаться в лечебнице под замком, просто потому, что она стара и, случается, ест неаккуратно...

Я позабыла, с кем говорю. Аббатиса вздернула подбородок.

— Под замком? — повторила она. — Не хочешь ли сказать, что сестра Розамонда содержится как узница?

— Боже избави!

— Что же... — протянула Изабелла. — Каждая, кто пожелает навестить нашу хворую сестру, может к ней наведаться, разумеется, если сестра Виржини сочтет, что та в достаточном здравии, чтобы общаться с посетительницей. Отсутствие же сестры Розамонды за нашим обеденным столом означает лишь, что ей, учитывая ее годы и немощность, позволителен более питательный и более частый рацион, чем всем остальным. — Она насмешливо взглянула на меня: — Разве, сестра Огюст, ты против, чтобы твоя престарелая подруга имела право на некоторые привилегии? Ты сама, дожив до ее лет, уверяю тебя, с благодарностью примешь подобное благо.

Умненькая мерзавка! Неплохо Лемерль ее выдрессировал. Что бы я сейчас ни сказала, все будет воспринято не иначе, как зависть. Я смиренно улыбнулась, хоть внутри у меня все кипело.

— Надеюсь, *ma mère*, мы все до этих лет доживем! — сказала я и с радостью отметила: Изабелла поджала губы.

Так закончилась моя попытка сделать доброе дело. При этом я преступила дозволенное: весь остаток капитула Мать Изабелла то и дело косилась в мою сторону, и я едва избежала очередной епитимьи. Вместо этого я приняла дежурство в пекарне — повинность не из приятных при таком зное: там душно и грязно. Изабелла была, видно, удовлетворена. По крайней мере на сей раз.

Пекарня — круглое приземистое строение на дальнем конце монастыря. Вместо окон — неостекленные щели в стенах, а свет исходит в основном от громадных печей в центре единственной комнаты. Мы печем хлеб, как прежде черные монахи, в глиняных печах, на плоских камнях, раскаленных докрасна пылающими под ними грудями хвороста. Дым из печей поднимается через трубу, такую широкую, что в раструбе видно небо, и если идет дождь, капли, падающие на круглые печи, с шипением превращаются в пар. Когда я вошла, две молоденькие послушницы готовили тесто: одна выбирала долгоносиков из каменной чаши с мукой, другая мешала в тазу дрожжи, налаживая опару. Печи уже были готовы, растоплены, жар от них поднимался мерцающей пеленой. Сквозь нее просматривалась сестра Антуана с закатанными рукавами на жирных красных руках; волосы спрятаны под тряпицу, обвязанную вокруг головы.

— Здравствуй, сестра!

Антуана казалась не такой, как всегда: добродушный, умильный взгляд стал твердым, сосредоточенным. В алых отблесках пламени что-то зловещее появилось в ее облике; могуче ходили мускулы под жирной прослойкой, когда она месила тесто.

Я принялась за работу, выкладывала тесто на огромные поддоны и ставила хлеб на полки в жаркую печь. Дело это требует сноровки; камни должны быть нагреты исключительно равномерно, так как от слишком сильного жара тесто сверху подгорает, внутри остается сырым, а при слишком слабом жаре буханки получаются плоские, неказистые и твердые, как камень. Некоторое время мы работали молча. Дрова в печи потрескивали и шипели. Кто-то кинул внутрь зеленую ветку, и дым пошел кисловато-удушливый. Пару раз я обожгла себе пальцы о раскаленный противень, чуть слышно выругалась. Антуана сделала вид, будто не

слыхала, но я готова поклясться, что она улыбнулась.

Мы покончили с первой порцией хлебов и приступили ко второй. Монастырю требуется по меньшей мере три замеса на день, каждый — двадцать пять белых или тридцать черных буханок. Вдобавок сухое печенье на зиму, когда топлива в обрез, и еще сладкие пироги про запас и для особых случаев. Несмотря на едкий, евший глаза дым, от хлебов исходил густой, сочный запах, и у меня заурчало в животе. До меня дошло, что с момента исчезновения Флер к еде я почти не притрагивалась. Пот струился по волосам, пропитывая повязанную поверх тряпицу. Все лицо покрыли капельки пота. И вмиг поплыло перед глазами; я потянулась было рукой к голове удержать равновесие, но вместо лба коснулась раскаленной формы. Металл слегка остыл, но был еще достаточно жарок, резко ожгло нежную перемышку между большим и указательным пальцем. Я вскрикнула от боли. Снова поймала взгляд Антуаны. На сей раз сомнения быть не могло: она улыбалась.

— Трудно с непривычки, — сказала она еле слышно, так, что только я и услышала. Юные послушницы сидели у раскрытой двери, достаточно далеко от нас. — Со временем свыкнешься. — Губы у нее были ярко-красные, непривычно сочные для монашеских, в глазах отражалось пламя. — Со всем мало-помалу свыкнешься.

Я потрясла в воздухе обожженной рукой, но ничего не сказала.

— Жалко, если кто прознает про тебя, — продолжала Антуана. — Уж лучше тебе тут так и остаться. Как и мне.

— Узнает? Ты о чем?

В изгибе губ Антуаны появилось что-то волчье, и я вдруг поняла, как ошибалась, считая ее дурехой. Маленькие глазки блеснули хитрым злорадством, и тут я даже слегка испугалась.

— Как «о чем»! О твоих тайных свиданиях с Флер! Думала, я ничего не вижу? — В ее тоне даже послышалась некоторая обида. — Все считают, будто толстуха Антуана простофиля. Что толстуха Антуана только и думает, чтоб себе брюхо набить. И у меня было дитя, только мне не позволили оставить его при себе. А тебе, значит, можно? Чем ты лучше всех нас? — Она понизила голос, отблески красного пламени по-прежнему плясали в ее глазах. — Если Мать Изабелла узнает, всему конец, даже отец Сент-Аман ничего поделать не сможет. Не видать тебе больше Флер.

Я будто впервые видела перед собой Антуану: ни малейшего сходства с прежней тучной квашней, распускавшей нюни, стоило ущипнуть ее за жирную руку. В ней появилось что-то мрачное, каменное, будто от нашего прежнего идола.

— Не выдавай меня, Антуана! — прошептала я. — Я дам тебе...

— Что дашь? Сладостей? Леденчиков? — резко взорвалась она, и юные послушницы с любопытством подняли головы.

Антуана тотчас шикнула на них, головки мигом опустились.

— За тобой должок, Огюст, — произнесла она еле слышно. — Запомни это. Ты моя должница.

Тут она отвернулась и, как ни в чем не бывало, направилась к своим хлебам, и весь остаток утра я только и видела, что ее черную согнутую спину.

Пожалуй, мне как раз тревожиться не следовало. Было ясно, что Антуана не собирается раскрывать мою тайну. И все же ее отказ от даров как-то неприятно на меня подействовал; особенно та, произнесенная ею фраза: *Ты моя должница*. Излюбленная уловка Черного Дрозда.

В тот вечер после вечернего богослужения я пошла к колодцу набрать кувшин воды, чтоб помыться. Солнце село, и темнеющее небо в красных прочерках задумчиво лиловело. Монастырский двор был пуст, так как многие сестры уже удалились, кто в каминную, кто в дортуар готовиться ко сну, в сумерках голые монастырские окна светились теплым желтым светом. Колодец был все еще не доделан, осталось обложить камнем грубые глиняные стенки и обнести вокруг защитной изгородью. Сейчас в сумраке он был почти невидим со своей наскоро сбитой деревянной оградкой вокруг ямы, чтобы никто по случайности не свалился внутрь. Поперечина с ведром, веревкой и воротом, будто слабая тень на лиловой земле. Двенадцать шагов. Шесть. Четыре. Внезапно слабая тень взметнулась от колодца. Маленькое бледное личико лиловело на фоне гаснущего неба; от внезапности смятенный — и, готова поклясться, виноватый, — взгляд.

— Что ты тут делаешь? — настороженно прозвучал ее голос. — Ты должна быть, где все. Ты что, следишь за мной?

Она что-то держала в руках, какой-то ворох, похоже влажных тряпок. Мой взгляд задержался на них, и она попыталась скрыть тряпки в складках облачения. В сумраке я разглядела, что белье запачкано, темные пятна в гаснущем свете казались черными. Указав на свой кувшин, я сказала как можно спокойней:

— Я пришла за водой, *Матушка*. Я вас и не заметила.

Только сейчас я разглядела ведро с водой у ее ног, вода переливалась через край, образуя лужицу на ссохшейся земле двора. В ведре тоже как будто лежали какие-то тряпки или белье. Поймав мой взгляд, Изабелла

подхватила тряпки из ведра. Мокрые тряпки уткнулись ей прямо в подол, но она даже выжать их не потрудилась.

— Ну и бери свою воду, — резко бросила она, неуклюже отпихнув от себя ногой ведро. Оно опрокинулось, по черной земле разлилось темное пятно.

Я хотела было зачерпнуть воды, но что-то в Изабелле настораживало меня. Она глядела на меня широко раскрытыми и как-то странно горевшими глазами, и в последних отблесках света я увидела, что все лицо у нее в испарине. И еще почувствовала запах, тепловатый, сладковатый, знакомый.

Кровь.

— Что с вами?

Мгновение она молча смотрела на меня, силясь изобразить на своем лице величие и достоинство. Даже выпятила грудь. Весь перед ее юбки потемнел, пропитавшись водой от тряпок.

Внезапно она принялась рыдать, заливаясь неутешными, жалостными слезами, как может плакать только испуганная девочка, горько и отчаянно, и уже все равно было, кто стоит перед ней. На мгновения и я позабыла, с кем имею дело. Передо мной уже была не Мать Изабелла, прежде представительница дома Арно, а ныне аббатиса монастыря Сент-Мари-де-ля-Мер. Я шагнула к ней, и она припала ко мне, и на миг мне показалась, будто я обнимаю Флер или Перетту, в безысходном горе, всамделишном или надуманном, как это случается с малыми детьми. Я погладила ее по голове.

— Ну, ну, девочка, не плачь! Все будет хорошо. Не бойся.

Она что-то бормотала, уткнувшись мне в грудь, слова было трудно разобрать. Мокрые тряпки, — их она по-прежнему сжимала в кулаке, — я чувствовала у себя на спине, вода затекала за ворот.

— Ну что с тобой? Что стряслось?

От нее резко исходил терпкий дух лихорадки, какой витает над болотами после дождя. Лоб у нее был так жарок, что я подумала, уж не в самом ли деле она больна.

— Что болит?

— Живот... — с трудом выдавила из себя Изабелла. — Живот сводит. И кровь. *Кровь!*

В последнее время у нас столько было всякой паники по поводу крови, что сначала я даже не поняла. Вдруг до меня дошло. И ее слова — *кровавое проклятие* — и испачканные тряпки, которые она силилась спрятать. Сводит живот. Господи, ну, конечно!

Я прижала ее к себе.

— Что это, я умираю? — спросила она дрожащим голосом. — Значит, мне дорога в ад?

Ни одна душа не просветила эту девочку. Мне повезло; моя мать ложной стыдливостью не отличалась. Она и объяснила мне: кровь не значит проклятье, кровь не значит нечисть. Это дар Божий. Мало того, Жанетта научила меня сворачивать прокладку, показала куда и как подвязывать ее. Это *мудрая* кровь, приговаривала она таинственным шепотом. Чудотворная. Проворные пальцы раскладывали карты, новые карты Таро, которые Джордано привез с собой из Италии. Глаза ее помутнели от катаракты, но острее глаз, чем у нее, не было ни у кого. Видишь карту? Это Луна. Джордано говорит, приливы и отливы зависят от лунного цикла: сюда, туда, высоко, низко. Так и у женщин, сухо при убывании луны, и наполняется, когда луна прибывает. Боль уйдет. Чтоб обрести этот дар, возможно, придется немного пострадать, совсем немного. Но это и есть та чудесная жемчужина, о которой толкует наш *Философ*. Фонтан жизни.

Конечно, ничего подобного говорить Изабелле нельзя. Но я растолковала ей все, как могла. Рыдания ее стали стихать, обмякшее, прильнувшее ко мне тело мало-помалу обретало силу, и вот она уже отпрянула.

— Твоя мать должна была бы тебе про это рассказать — терпеливо продолжала я. — Ведь иначе это такое потрясение. Но то же происходит со всеми девочками, когда они становятся женщинами. Ничего в этом стыдного нет.

Она взглянула на меня, уже вся напрягшись. Лицо исказилось отвращением, злобой.

— Ничего в этом нет дурного! — Я хотела помочь этой девочке, чтоб она все правильно поняла. — Поверь, Дьявол тут ни при чем. — Я попыталась улыбнуться, но Изабелла смотрела на меня с жгучей ненавистью. — Это всего раз в месяц, всего на несколько дней. Прокладку надо свернуть вот так... — я показала, подхватив подол своей рясы, но Изабелла уже вряд ли меня слушала.

— Ты лгунья!

И отшатнулась от меня, пнув мой кувшин с такой силой, что он перелетел через штaketник ограды и угодил в колодец.

— Ты лгунья!

Я попыталась что-то сказать, но Изабелла кинулась на меня с кулаками:

— Все это ложь! Это не так! Не так!

И тут я поняла, что совершила непоправимый промах. Увидала ее беззащитную. Пожалела ее. Хуже того, теперь я узнала ее тайну, тайну, которую она считала постыдной: я увидала, как она скрытно застирывала свои запачканные тряпки...

Все это я прочла в том последнем взгляде, который она бросила, на миг взглянув мне прямо в глаза.

— Ты лжешь! Подлая ведьма! Да, да, ведьма! Ты пособница Дьявола, и я это докажу!

Я попыталась было вставить слово.

— Не желаю ничего слушать! — выкрикнула она, но даже в этот момент мне было жаль ее; такую юную, хрупкую, такую ужасно одинокую... — *Хватит!* Ты сразу меня возненавидела. Вижу, с каким презрением ты вечно смотришь на меня. Оцениваешь! — Она яростно всхлипнула. — Но нет, меня не обманешь! Я знаю, куда ты клонишь, и я не стану... *Не стану!*

И умчалась в темноту.

Часть третья

Изабелла



1 августа, 1610

Несколько дней прошло в вязком ощущении кошмара. После той встречи у колодца Мать Изабелла заговаривает со мной редко, ни разу не помянув, что между нами произошло. Но я чувствую ее неприязнь и недобрый взгляд. Обвинений и угроз, обрушившихся тогда на меня, больше я от нее не слышу, ни прилюдно, ни наедине. Я бы сказала, ее отношение ко мне вполне терпимо, и это так на нее непохоже. Но выглядит она скверно: все лицо в алых прыщах, глаза красные, веки набухшие.

Лемерль уже дважды зазывал меня в свой домик. Намекает о милостях, которые надо заслужить, но меня пугает то, что именно на этот раз ему вздумается запросить взамен. К этому дню призрак, явившийся Маргерите, уже замечен в разных местах монастыря, каждый случай обрастает новыми подробностями, теперь являющуюся монахиню расписывают, как настоящее чудовище: красные глаза и прочие страсти из популярных небылиц.

Неудивительно, что ее видала также и Альфонсина; она описывает призрак гораздо обстоятельней. Любопытно, насколько обогатился первоначальный образ благодаря соперничеству рассказчиц. Альфонсина, которая с каждым днем становится все бледней и истеричней, клянется, что она узнала под дьявольским чепцом лицо Матушки Марии, только искаженное злобой и сатанинским ликованием. Думаю, Маргерита не заставит себя долго ждать, придумает о видении что-нибудь похлеще, чем снова затмит триумф Альфонсины; а пока она все свободное время проводит в уборке и молениях, да и ее соперница тоже постоянно молится и постится, и с каждым днем кашель у нее во время исповеди все сильнее и сильнее.

Что с нами случилось? Только и бубним, что о крови да о призраках. Нормальные отношения разладились. Епитимьи теперь чудовищны по своей жестокости: сестре Мари-Мадлен, например, было назначено двойное всенощное бдение только за то, что она осмелилась усомниться в рассказах одной из послушниц. Наша пища теперь только ржаной хлеб да жиденький суп. Мать Изабелла объявила, что сытная пища разжигает пагубные наклонности. Припечатала это так свирепо, что фривольные шутки, которые прежде, при Матушке Марии могли вызвать подобные

слова, застряли в горле.

Нас, как на дрожжах, разносит от страсти к сплетням и к скандалам. Клемент с завидным рвением во время исповеди выкладывает все и обо всех. Стоит сестре Антуане куснуть хлеб, не дослушав «Отче Наш», Клемент тотчас подметит. Подмечает и то, что Томасина во время всенощной клюет носом, что Пиетэ огрызается, когда ей мешают молиться, что Жермена пренебрежительно отзывается о видениях... Последний донос — крайне жесток. Поведанное с глазу на глаз было пересказано вслух вкрадчиво и с самодовольной улыбкой. Мать Изабелла хвалит Клемент за проявленное чувство долга. Лемерль будто ничего не замечает.

Жермена приняла епитимью с холодным равнодушием. Словно окаменела: на безобразном лице застыл суровый, тяжелый взгляд, как у Мари-де-ля-Мер, святой, не существующей в природе. Все же нам, в нашем монастыре, открытом суровым западным ветрам, привычной верить в эту Богиню Моря, бдящую, грозную богиню с впадинами вместо глаз. Более близкая нам, чем Богоматерь, эта Дева и сейчас не перестает быть для нас матерью-защитницей.

Третьего дня в телеге с материка привезли роскошную мраморную статую Святой Девы взамен отнятой у нас. Как сказала Мать Изабелла, — это дар ее любимого дядюшки, которому в благодарность за его щедрость нам предстоит сорок раз отслужить мессу. Новая Мария с ног до головы белая, нежная и гладкая, как очищенная картофелина. Она восседает у входа в часовню на месте прежней Марии, губы изогнуты в легкой, бессмысленной улыбке, рука воздета в вялом благословении.

Однако на следующее утро после прибытия новая Мария была обнаружена с облупленным лицом, а поперек черным жирным карандашом для грима были выведены непристойности. Жермена, отбывавшая в ночь происшествия в церкви покаянное бдение, утверждала, что во время бдения ничего такого не видела, хотя при этом рот у нее кривился в усмешке. Может, дерзко сказала она, это дело рук той таинственной монахини, или проделки китайской обезьянки, или веление Святого Духа. И засмеялась, вначале тихонько. Мы смотрели на нее, изумленные, обескураженные. Красные пятна мраморным узором выступили у нее на щеках. На миг она с мольбой повернулась к Клемент своим изуродованным лицом. И вдруг, хватаясь руками за воздух, повалилась навзничь, прямо на каменные плиты.

После этого Жермену отправили в лечебницу. Сестра Virжини объявила, что у Жермены закупорка крови, гнусаво предположив, что выздоровление возможно, однако с глазу на глаз качала головой и, понизив

голос, говорила, что больная едва ли протянет месяц. Здоровье Розамонды также вызывало опасения. За последнюю неделю она удручающе сдала; теперь лежит целыми днями почти без движения, отказывается от пищи. Конечно, она уже очень старая, — почти как Матушка Мария, — но до того, как забрали нашу святую, была еще бодра и крепка телом, если не умом, и с завидной непосредственностью наслаждалась малыми радостями, что были ей доступны.

Странно, я чувствую себя в ответе за нее, я готова вмешаться, помочь ей, но знаю, ни к чему это не приведет. Ведь Мать Изабелла скорее всего изобразит сострадание к Розамонде, и окажется, что я просто не понимаю, до чего она немощна.

Уверена, это часть его разбойного замысла. С каждым днем яма, которую я себе рою, становится все глубже. Лемерль это знает; можно не сомневаться, он к этому вел. Ему претит моя преданность сестрам, но одновременно он понимает, что я не покину их, пока Флер в безопасности, а они нет. Теперь я тюремщица самой себе, и хотя все во мне с новой силой твердит, что надо бежать, меня страшит то, что здесь может произойти, если я утрачу бдительность. Каждую ночь я раскидываю карты, но они показывают только то, что мне уже известно: Башня, объятая пламенем, и с самого верха вниз с раскинутыми руками падает женщина; Отшельник в плаще с капюшоном; грозная Шестерка Мечей. Беда, нависшая над нами, словно готовая рухнуть скала, и я ничего не могу поделать, чтобы предотвратить ее крушение.

1 августа, 1610

Наконец-то ответ на мои письма. Видно, монсеньор не торопится или не видит причин выразить благодарность мне за мой тяжкий труд. Мне, якобы, оказана честь — посвятить жизнь достойной династии Арно. Хотя, его щедрый дар, мраморная статуя, сопроводившая письмо, негласно есть выражение его благосклонности. Монсеньор крайне удовлетворен известием о проводимых его племянницей реформах. Еще бы он не был — уж как я ему расписал юную аббатису: непорочный свет, неземная красота; монахини боготворят; птицы слетаются на ее голос. Намекнул на чудеса; потоки розовых лепестков; мгновенные исцеления. Сестра Альфонсина порадовалась бы, услышав, что восстановила свое здоровье после неизлечимого недуга. И сестра Розамонда также будто бы обрела прежнюю силу в высохшей руке. Не должно слишком спешить в отношении чудесных исцелений. Но надеяться необходимо всегда, и если Господу будет угодно...

Наживка подброшена. Почти уверен, что он клюнет. Я предложил в качестве приемлемой даты пятнадцатое августа. Чтобы отпраздновать возрождение монастыря — вполне подходящий день, праздник во славу Пресвятой Девы.

Между тем мне следует трудиться денно и нощно, чтобы вовремя поспеть. К счастью, у меня есть помощницы: мощная Антуана — неторопливая и нетребовательная; придумщица и распространительница слухов Альфонсина; подстрекательница Маргерита. Не забудем про Пиетэ, которая у меня на посылках, маленькую сестру Анну, а также Клемент...

Хотя, пожалуй, *тут* я несколько просчитался. Несмотря на кроткий вид, она много требовательней прочих моих учениц, и мне весьма нелегко управлять ее переменчивым нравом. Нынче мурлычет, как котенок, завтра отталкивающе холодна; она словно получает удовольствие, побуждая меня поднимать на нее руку, и тотчас после этого пускается в заверения неземной любви и покаяние. Похоже, считает, мне это должно нравиться. Уверен, любителей найдется немало. Но я уже не семнадцатилетний юнец, чтоб попасть в сети дешевой жеманнице со смазливym личиком. К тому же у меня просто нет на нее времени. Часы мои столь же растянуты и изнурительны, как и у монашек. Ночь моя наводнена тайными занятиями,

день заполнен благословениями, изгнанием нечистой силы, публичными исповедями и прочей повседневной дребеденью. Вслед за первым явлением Нечестивой Монахини случилось в дальнейшем еще несколько происшествий, которые могут иметь сатанинское происхождение, а могут и не иметь: срывание по ночам крестов с монашеского облачения; появление непристойных надписей в часовне на статуях святых; красные пятна на купели и на могильных плитах перед алтарем. Отец Коломбэн, однако, не дрогнул перед лицом этих новых возмутительных осквернений, и каждый день многие часы проводит в молитвах; время от времени выпадающий мне краткий сон спасает меня от крайнего переутомления, сестра Антуана заботится о том, чтоб я не страдал от голода.

Ну а ты, моя Жюльетта? Послушно ли ты будешь следовать моим наставлениям и как долго? Рынок в Барбатре свою роль отыграл. Очередной поход туда уже вызовет подозрения. Изабелла следит за мной несколько ревниво, сказал бы я, и ее отменно наводстренная бдительность, точно стрелка компаса, неизменно направлена на меня. Считает, что отец Сент-Аман при всей его житейской мудрости слишком невинен и может не устоять перед женским коварством. Более жестокая к представительницам своего пола, чем любой мужчина к своим, Изабелла знает о присущей мне слабости и расценивает ее как доказательство моего милосердия. Если бы она сейчас прознала про мою связь с Клемент, то наверняка встала бы на мою защиту, будучи уверена, что сама девица совратила меня. Но поглядывает она на Жюльетту. Инстинкт указывает ей на истинного врага. Моя Крылатая трудится в пекарне — работа считается тяжелой, но все же это легче, чем рыть колодец. Жюльетта ко мне не подходит, хотя наверняка жаждет узнать хоть что-нибудь о дочери, и по-прежнему упорно напускает на себя вид тупой покорности, а это вовсе не вяжется с тем, что я знаю о ней. Лишь раз не удержалась, привлекла к себе внимание, когда старую монашку забирали в лечебницу. Наслышан, наслышан. Дурацкая выходка, и ради чего? Что так привязывает ее к этим существам? Душа у нее всегда была чересчур нежная. Ко всем, только не ко мне.

Нынешним утром я целых два часа, которые едва смог выкроить, провел у Изабеллы, чтобы ее исповедовать и вместе помолиться. У нее небольшой кабинет рядом со спальней; алтарь, свечи, ее портрет кисти Туссэна Дюберейля и серебряная фигурка Девы Марии, взятая из ризницы. В прежнее время я бы за милую душу прибрал к рукам и эту фигурку, как и все сокровища ризницы, но времена мелкого воровства давно миновали. Теперь я с серьезным и сострадательным видом выслушивал, усмехаясь про себя, пустословие балованной девчонки.

Мать Изабелла в тревоге. Она сообщает мне это с неосознанным высокомерием высокородного отпрыска: детские страхи под маской взрослого тщеславия. Ее преследует страх, признается мне она. О своей душе; о своем спасении. Сны ей, видите ли, снятся. Спит всего три-четыре часа за ночь — видно никак не угомонится природа, — и даже если забывается сном, он наполнен пугающими сновидениями, каких она прежде не знала.

— Какими же? — прищуриваясь, чтобы спрятать улыбку, спрашиваю я.

Хоть она всего лишь дитя, но чувства ее остры, интуиция поразительна. В другие бы времена я мог бы сделать из нее неплохую картежницу.

— Кровь! — тихо произносит она. — Мне снится, что кровь льется из-под могильных плит крипты и струится прямо в часовню. Потом снится черная статуя у дверей, и кровь хлещет из-под нее. Потом снится сестра Огюст, — говорю же, интуиция у нее поразительна, — и колодец. Снится, что кровь течет из колодца, который роет сестра Огюст, и *кровь заливает меня всю с ног до головы!*

Отлично. Мог ли я ожидать от своей маленькой ученицы воображения такой мощи? Замечаю, что у нее вокруг носа и на подбородке проступают прыщики, она явно нездорова.

— Ты не должна так изнурять себя, дочь моя, — мягко говорю я ей. — Самоотречение лишь может довести тебя до нервного срыва, что никак не способствует надежному завершению наших здешних трудов.

— В снах есть истина, — угрюмо бормочет она. — Разве не была окрашена колодезная вода? А причащение?

Я скорбно киваю. Трудно представить, что ей всего лишь двенадцать лет: изможденное личико, красные глаза — как у немощной старухи.

— Сестра Альфонсина видела в крипте нечто, — снова тихо произносит она, мрачно и в то же время властно.

— Тени, — коротко отзываюсь я, подливая масла в огонь.

— Нет, не тени!

Она сжимается вся, кривя рот, прикладывает руку к низу живота.

— Что с тобой?

Рука моя чуть задержалась у нее на спине; она отпрянула.

— Да нет! *Нет, нет!* — повторяет она, словно я ей в чем-то перечу.

Говорит, спазмом светло. Сильные боли, вот уже несколько дней. Пройдет. И будто хочет еще что-то мне сказать, на мгновение старушечья маска исчезает, я вижу лицо ребенка, каким она могла бы быть. Но вот она

берет себя в руки, и в этот момент в ней явственно проступают черты ее дядюшки. Сходство меня радует; оно напоминает мне, что передо мной не простой ребенок, а отпрыск мерзкого, вырождающегося племени.

— Теперь оставьте меня! — высокомерно произносит она. — Я хочу помолиться одна.

Я склоняю голову, пряча улыбку. Молись, молись, сестренка! Роду Арно твои благие молитвы пригодятся скорей, чем ты думаешь.



3 августа, 1610

Прошлой ночью Жермена наложила на себя руки. Мы обнаружили ее нынче утром повесившейся на поперечине, наполовину спустившейся с нею в колодец. Под тяжестью тела деревянная стойка провисла, но не вырвалась из глиняных стенок. Еще немного, и труп осквернил бы колодезную воду гораздо опасней, чем краска Лемерля. Смерть Жермены была так же загадочна, как и ее жизнь. Поблизости мы обнаружили едва различимые непристойные послания на стенах часовни, а также на статуях, выведенные тем же черным жирным карандашом, которым была изуродована новая Дева Мария. Бернардинский крест был сорван Жерменой с манишки, остатки ниток из ткани аккуратно выдернуты, словно она хотела уберечь нас от позорного вида самоубийцы с крестом на груди.

Я лишь мельком видала ее лицо, когда ее извлекали из ее висячего упокоения, но мне показалось, что оно мало изменилось. Даже и в смерти рот ее хранил высокомерно-презрительное выражение, то, с которым всегда ожидают, как и получают, от жизни только самое худшее, и за которым прячется никому не ведомая нежная, легко ранимая душа.

Ее погребли без отпевания перед Часом Первым у скрещения дорог за монастырскими стенами. Я сама рыла ей могилу, вспоминая, как мы с ней рыли колодец, и очень тихо я произнесла слова скорби, обращенные к Сент-Мари-де-ля-Мер. Томасина хотела было проткнуть сердце усопшей осиновым колом, чтоб та не восстала из мертвых, но я не позволила. Пусть Жермена упокоится как может, сказала я; мы монахини, не дикари какие-нибудь.

Томасина зло огрызнулась себе под нос.

— Что ты сказала?

— Ничего!

И все же мне опять было как-то беспокойно. Это чувство преследовало меня весь день: в монастыре, в саду, в часовне; оно не оставляло меня в пекарне и в поле. Не стало легче и когда спала жара. К ночи воздух сделался плотен и влажен, солнце тусклой монетой светило из-за укрывшего его простыней облака. Под этой простыней мы обливались потом, от нас воняло. Никто вслух ни про самоубийство Жермены, ни даже

про Нечистую Монахиню не заговаривал, но от этого никуда не уйдешь: еле слышно роптали, испытывая страх, лишивший нас покоя. Ведь это была уже вторая за многие месяцы смерть — и обе смерти случились при необычных обстоятельствах. Казалось, очередное несчастье не заставит себя долго ждать.

Оно произошло в тот же вечер. Из лечебницы сестра Виржини принесла печальную весть: пока все были на капитуле, скончалась сестра Розамонда. Что ж, при таких летах этого можно было ожидать, и все же это был удар. И конечно, это послужило поводом для новых слухов: Розамонда умерла от страха при очередном появлении Нечестивой Монахини; ее извел до смерти тот же злой дух, что умертвил и Матушку Марию; она наложила на себя руки; она скончалась от холеры, а все это пытаются скрыть; она погибла от потери крови, припечатала Мать Изабелла.

Пожалуй, я больше всего склонялась к этой версии. С самого начала Виржини плохо обращалась со старухой. Оторванная от своих подруг, отрезанная от жизни монастыря, Розамонда быстро и неотвратно начала дряхлеть. Правда, смерть ее прилась не на самые лучшие времена. Никакими словами невозможно было убедить сестер, что им опасность не грозит. Смерть — не заразна, убеждала их я; это просто кончина. Уступив настоянию сестры Пиетэ, я подобрала ей снадобья, чтоб защитить от пагубных жизненных соков, пообещала микстуры для укрепления сил Альфонсине, а также Маргерите, которая сильно исхудала под опекой Виржини. После вечерней трапезы несколько послушниц подошли ко мне за советом и помощью; я советовала им не слишком истово поститься, пить только воду из колодца и мыться с мылом по утрам и перед сном.

— Это еще зачем? — вскинулась сестра Томасина.

Я объяснила, что регулярное мытье иногда предотвращает болезнь.

Она взглянула недоверчиво:

— Как это может быть! Чтобы изгнать духов, нужна святая вода, а вовсе не мыло с водой!

До чего же трудно порой бывает, с грустью подумала я, объяснить простые вещи так, чтоб тебя не заподозрили в ереси.

— Иные злые духи живут в воде, — старательно подбирала я слова, — другие летают по воздуху. Если вода или воздух нечисты, от них исходит зараза.

И протянула ей изготовленный мною ароматический шарик, с помощью которого можно заглушить дурные запахи и отогнать насекомых. Она с недоверием покатила его в ладони:

— Гляжу, ты много всякого знаешь.

— Учусь у людей.

Нынче ночью во время всенощной Лемерль произнес речь нам, утомленным бесконечным днем поста и молитв. При звуках его голоса усталые, напуганные сестры слегка оживились, но отец Сент-Аман, словно не желая напоминать нам о тревожных событиях этого долгого дня, с наигранной живостью, звучавшей не слишком убедительно, завел речь о мучениях святой Фелициаты.

Потом к нам обратилась Мать Изабелла. Я заметила: чем убежденней Лемерль говорил об осмотрительности и сдержанности, тем беспокойней становилось выражение ее лица, как будто она открыто бросала вызов новому духовнику. Сегодня ее речь была и длинней, и сбивчивей, чем обычно, и хотя она говорила о Божественном Свете посреди тьмы, слова ее никого особо не зажгли.

— Мы должны стремиться обрести этот Свет, — говорила она чуть дрожащим от усталости голосом. — Но сегодня, сдается мне, сколь бы мы ни старались его изжить, порок поразил нас глубоко, до самого сердца. До самой души. Пусть помыслы наши чисты. Но и благими намерениями может быть вымощена дорога в ад. А грех вездесущ. Никому от него не уберечься. Даже отшельник, полвека проживший в темной пещере, и тот, возможно, не безгрешен. Грех — это чума, грех — это зараза.

— Так являются сны, — прошептала она. Бормотание занялось ядовитым смрадом над толпой.

— Сны и кровь.

Бормотание вновь отозвалось голосом нашей тоски:

— *Кровь, кровь...*

— И ныне этот адский гной свободно растекается среди нас, вселяя в нас чудовищные мысли, чудовищные желания...

— *Да-а-а!* — шепотом единым порывом подхватывает толпа. — *О-о-о, да, да, да-а-а-а!..*

Лемерль рядом с Изабеллой, мне показалось, улыбнулся, — или это отблеск свечи? — от горящего в ризнице светильника вокруг его головы встало нимбом легкое сияние.

— И распутство! — выкрикнула Мать Изабелла. — Богохульство! Скверна! Сможет ли кто это отрицать?

Стоявшая перед нею сестра Альфонсина простерла руки и взывала. Также и Клемент простерла руки, будто в мольбе. За ними хором потянулось еще несколько голосов:

— Все мы греховны!

— *Греховны! Да-а-а-а-а!* — вырвалось в экстазе.

Все мы нечисты!

— *Нечисты! Да-а!*

Горящие свечи, курящийся дым, зловонный дух пьянящего страха. Темнота, пляска теней. Порыв ветра со стуком захлопнул дверь, свечи оплыли. Сотни теней двоятся по стенам, троятся, вот уж их три сотни, три тысячи, полчища ада. Раздался чей-то вскрик. Под истеричные возгласы Матери Изабеллы, крик разнесся по часовне многократным эхом.

— Глядите! Вот оно! Вот оно! Оно здесь!

Все обернулись на крик. В стороне от других с воздетыми кверху руками стояла сестра Маргерита. Плат с головы сброшен, голова запрокинута, перекошенное тиком лицо мелко трясется. Под плотными складками подола ходуном ходит левая нога; казалось, дрожь пробирает ее всю насквозь, трясется каждый мускул, каждый нерв.

— Что такое, сестра Маргерита? — спросил Лемерль спокойно и ровно. — В чем дело?

С явным усилием худосочная монашка перевела на него взгляд. Открыла рот, но не произнесла ни звука. Нога затряслась с новой силой.

Сестра Виржини сделала шаг к ней на подмогу.

— Не трогай меня! — крикнула Маргерита.

— Сестра Маргерита! — озабоченно сказал Лемерль. — Прошу тебя, подойди сюда. Если это возможно.

Она явно хотела последовать на зов. Но была не в силах сдвинуться с места. Я видала похожее в Монтобане, в Гаскони, там несколько человек были охвачены пляской святого Витта. Но здесь случай был иной. Только одна нога Маргериты дергалась и приплясывала, будто какой злой кукольник дергал ее за постромки. Лицо кривилось в судорогах.

— Она притворяется, — бросила Альфонсина.

Маргерита повернулась к ней с перекошенным лицом. При этом ее тело продолжало находиться в той же неестественной позе.

— Помогите! — пролепетала она.

Тут подала голос сначала молча наблюдавшая за этой сценой Изабелла.

— Разве теперь могут быть сомнения? — тихо сказала она. — В нее вселился бес!

Лемерль промолчал, но, по-видимому, он был весьма удовлетворен собой.

Собравшиеся вокруг сестры загалдели. Слова, которые до этого момента никто не произносил, назойливыми мухами взвились ввысь.

Лишь Альфонсина хранила недоверчивый вид.

— Все это глупости, — сказала она. — Тик у нее или паралич. В первый раз, что ли?

В душе я с ней согласилась. В последнее время в монастыре произошло достаточно волнующих событий, чтобы взвинтить до предела такую восприимчивую натуру, как сестра Маргерита. К тому же у Альфонсины кровохарканье заметно усилилось, и с ней тягаться Маргерите было уже нелегко.

Но Изабелла насупилась.

— Мне подобные случаи известны! — отрезала она. — Как смеешь ты сомневаться? Что ты в том понимаешь?

Ошарашенная таким напором, Альфонсина зашлась кашлем. Судя по звукам, нарочито напрягая горло до хрипоты. Была бы поумней, не стала бы отказываться от предложенной мной микстуры от кашля и сделала бы себе теплый компресс. Хотя я и понимала, что мои средства ее не излечат, пусть хотя бы замедлят развитие болезни. Чохотка — не тот недуг, который можно вылечить сладкой водицей.

Между тем напасть, поразившая Маргериту, не отступала. Дрожь перешла уже на правую ногу, теперь обе ноги дергались в мучительной пляске. В ужасе она смотрела на ноги: казалось, ее ступни ходят сами собой, раскачивая тело из стороны в сторону. Выкрик — *бе-е-с-с-ы!* — прокатился под сводами, набирая скорость.

Изабелла повернулась к Лемерлю:

— Ну, что это?

Тот покачал головой:

— Пока сказать не могу.

— Как можете вы сомневаться?

Черный Дрозд взглянул на нее.

— Я могу сомневаться, дитя мое, — сказал он, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться, — так как, в отличие от тебя, я многое повидал, и знаю, как легко нетерпение и необдуманность затмевают истинный смысл.

Мгновение Изабелла с вызовом смотрела на него, потом опустила глаза.

— Простите, отец мой, — процедила она сквозь зубы. — Как прикажете поступить?

Он не торопился с ответом, раздумывая. Потом как бы нехотя выдавил из себя:

— Ее надо осмотреть. И немедленно.

4 августа, 1610

Лишь я одна могла оценить, как виртуозно провел Черный Дрозд эту ночную сцену. Сделав вид, будто отстранился, приняв в противовес общей атмосфере страха и смятения, которую сам же и создал, сдержанную позицию, он все повернул так, будто бы они, а не он, принимают решение. Сестру Маргериту забрали в лечебницу, где она пробыла всю ночь и весь следующий день вместе с Лемерлем и сестрой Виржини. По слухам, тик у Маргериты продолжался еще целый час после прерванной службы. По предложению сестры Виржини ей дважды пускали кровь, после чего она совершенно обессилела, осмотр вынуждены были прекратить и уложили ее в постель.

Я выслушивала рассказы с плохо сдерживаемым чувством досады. Эта Виржини явно глупа, как можно ей позволять заправлять лечебницей. Уже и без того ослабленной постом и нервным истощением Маргерите сейчас пускать кровь никак нельзя. Ей необходим отдых, покой и хороший уход, полноценная пища: мясо, хлеб, немного красного вина, — по сути, все то, что нам запретила Мать Изабелла. Демоны падки на кровавые токи, утверждала сестра Виржини, и потому, чтобы избежать проникания демонов внутрь, надо разжижить кровь. Красный цвет и так был практически исключен из нашей жизни, остались лишь красные кресты, нашитые на наши облачения; Мать Изабелла с подозрением косится на любую, чьи щеки в противовес ее бледности румяны. Красный цвет — цвет Дьявола: он опасен, непристойен, вульгарен. Впервые я радуюсь, что на мне монашеский плат, это вселяет надежду, что Изабелла не увидит цвет моих волос.

В нынешней душной, мрачной атмосфере точно чума распространяются желчность и подозрение. Есть заветные способы вызвать дождь, но я не осмелюсь ими воспользоваться; я уже ощущаю неприязнь со стороны сестры Томасины и некоторых других, и мне ни к чему привлекать к себе ненужное внимание. Позже, к вечеру, одна у часовни, я присела у ног новой Марии, поставила свечку за упокой Жермены и Розамонды, пытаюсь как-то собраться с мыслями.

Кш-ш-ш, прочь! Но заставить Шесть Мечей исчезнуть не так-то просто. Они нависли над моей головой, как проклятье, и этим не

удовольствуются. Я заглядываю внутрь, смотрю на то место, где вчера на Маргериту напала трясучка, и дурное, борющееся с любопытством предчувствие возникает в душе. Не задумал ли все это Лемерль? Не очередной ли это акт его таинственного замысла?

Я попыталась произнести короткую молитву, — иной бы назвал это ересью, но прежняя святая меня бы поняла. Однако новая святая застыла в своем холодном молчании, никак не дав мне понять, что слышит мои слова. Она понимает лишь регулярную латынь, эта новая Мария, молитвы же такой простолюдинки, как я, ей безразличны. Снова я подумала о Леборне — и еще о Жермене и Розамонде, и вдруг поняла, почему кто-то захотел поднять руку на новую святую: захотелось низвергнуть статую, изуродовать ей лицо, чтоб стала больше похожа на нас. Пристальнее к ней приглядевшись, я обнаружила, что она не целиком бела и гладка, как прежде мне казалось. По краю мантии Святой Девы шла узкая полоска позолоты, и ее нимб тоже был отделан золотом. Высеченная из нежнейшего мрамора с едва заметными розовыми прожилками, она стояла на таком же мраморном пьедестале, где было выбито и украшено позолотой ее имя и название нашего монастыря. Ниже выгравирован герб, в котором при тщательном рассмотрении я узнала герб рода Арно. Но на этот раз я разглядела и еще один, совсем крохотный, скромно примостившийся в самом низу, и он — белый голубь и лилия Богоматери на золотом фоне, — вдруг показался мне странно знакомым...

Дар ее дядюшки, сказала Изабелла; любимого дядюшки, в благодарность которому нам предстоит отслужить хвалебную мессу сорок раз. Но почему мне знакома эта эмблема? Отчего зарождается чувство, будто я на пороге открытия, которое сможет пролить свет на все, что происходит у нас в последнее время? Еще более загадочным было возникшее наряду с этим чувством полуосознанное воспоминание: запах пота и воска, обилие света и духота, головокружение, шум толпы — *Théâtre-Royal* и тот счастливый год в Париже...

Париж! Все будто одним щелчком встало на свои места. Я явственно видела этого человека: высокий, с изможденным лицом, свойственным вырождающейся аристократии, глаза, будто от созерцания бесконечных жертвенников, высветлены, как бы подернуты тусклой позолотой. На моей памяти я лишь раз слышала его, но помню слова, брошенные им в ярости в ночь, когда мы представляли свой *Ballet des Gueux*, когда он посреди шквала аплодисментов покидал зал:

— *Песенку Черного Дрозда ничего не стоит оборвать. Пусть эта дичь годна только для слуг, но если напев оскорбителен...*

Откуда такая гордыня у моего Черного Дрозда, при том что всякая мораль ему чужда; что за причудливое сочетание в нем высокомерия и плутовства. Столь многое для него всего лишь игра; столь многое в жизни ему безразлично. Но чувство мести ему не чуждо. В конце-то концов, и мне оно свойственно, и если я сейчас избрала покорность, то только потому, что Флер занимает слишком большое место в моей душе, и я не могу себе позволить растрачиваться на мелочи. У Лемерля нет Флер и, насколько мне известно, отсутствует душа. Гордыня — вот все его достояние.

Я возвратилась в дортуар в тишине, в голове моей наконец-то прояснилось. Теперь я знала, зачем Лемерль появился в монастыре. Я знала, зачем он принял на себя роль отца Сент-Амана, зачем отдал распоряжение окрасить колодезную воду, зачем доводил сестер в часовне до безумия, зачем предпринимал столько усилий, чтобы не дать мне уйти. Но знать «зачем» — это еще не все. Теперь я должна раскрыть, *что именно* он намерен предпринять. И какова моя роль в этой пьесе-травести? И чем она обернется — трагедией или фарсом?

5 августа, 1610

Неплохо, моя Элэ! Я понимал, что сопоставить факты для тебя лишь дело времени. Значит, помнишь епископа? У монсеньора оказался дурной вкус, ему не понравился мой *Ballet Travesty*. Приказал выдворить меня из Парижа. С позором.

Его возмутил мой *Ballet des Gueux* и дамы в блестках; а мой *Ballet Travesty* и того пуще, — там, где обезьяна в сутане епископа, а придворные дамы в коротких юбчонках с корсетами. Признаться, я сделал так намеренно. Какое право имел он быть цензором? Мы никому не сделали зла. Жалкая кучка надутых ханжей в ярости покинула зал. Но зато какие овации! Казалось, им не будет конца. Целых пять минут простояли мы, расточая улыбки, у рампы под софитами, грим растекался по нашим щекам. Вся сцена блестела от обилия монет. И ты, моя Элэ, еще слишком юная, еще не обретшая крыльев, но такая прелестная в своих обтягивающих зад панталончиках, со шляпкой в руке, глаза, точно звезды. Это был наш величайший триумф. Помнишь?

Как вдруг, совершенно неожиданно для нас, ему пришел конец. Открытое письмо Эврё Де Бетюну. Прячут взгляды, бормочут извинения все те, кого я считал друзьями. Вежливые послания: *Мадам выехала из города. Месье нынче вечером нет дома* — а между тем более желанные визитеры входили и выходили, бросая на меня плохо скрываемые презрительные взгляды.

Они считали, я должен исчезнуть тихо, незаметно, проглотив свой позор. Но песню Черного Дрозда оборвать не так-то легко. Когда они сжигали моего воскового двойника на ступенях Арсенала, я обновил свой гардероб. И продефилировал вызывающе обнаженным через весь город. По обеим рукам у меня висело по паре моих женщин, в качестве украшения. Пусть салон мадам Скюдери был теперь для меня закрыт, что ж, есть и другие, менее спесивые. Епископ глядел на меня в ярости, но что он мог поделать?

Довольно скоро я получил урок. Избиение посредством лакеев, ни более ни менее, когда возвращался хмельной после ночной пирушки. Лишившись своего благодетеля, Де Бетюна, я оказался беззащитен, не защищен даже законом, ибо кто осмелится принять мою сторону и встать

против монсеньора епископа? Я был безоружен, даже без обычной шпаги. Их было шестеро. Но я оказался не так пьян — или же более неистов, — чем они думали. Я был вынужден бежать, прятаться в переулках, где кишмя кишели крысы, вжиматься в сточные канавы, пробираться в тени домов, сердце нещадно билось, голову ломило, во рту пересохло.

Ну чем не фарс в духе итальянцев: Ги Лемерль спасается бегством от епископских лизоблюдов, скользя башмаками с золотыми пряжками по уличным нечистотам, атласный камзол весь в грязи!

Впрочем, это лучше, чем если бы Лемерль лежал с переломанными ребрами в мусорной куче. Но мне хватило: я проиграл. А монсеньору, возможно, представится другой удобный случай. И не один. Мне нечего уже было ставить на кон, мы оба знали это.

Но дорога, когда твои попутчики лишь шлюхи да карлики, долго ничего не дает забыть. И дорога длинна, скрещивания и перекрещивания, полные таинств кровосмешения. Она сводила нас и раньше, помните, в деревушке близ Монтобана, и потом в монастыре под самым Ажаном. Все дороги ведут в Париж, мы встречались и там, и не единожды. Однажды я лишил вас серебряного креста, — я до сих пор ношу его, вам приятно будет узнать, — но снова у вас на руках оказались тузы, и возмездие последовало мгновенно. Как не совестно, *отец мой!* Я потерял актера и один из фургонов. Но вы лишь чуть подпалили перья Черному Дрозду. И после этого ставки наши сделались выше.

У каждого человека, монсеньор епископ, имеется своя слабость. Я не сразу нащупал вашу. Но черная звезда моя привела меня наконец к колыбели ваших амбиций. Должен вас поздравить. Ах, какое набожное семейство! Два братца, вознесшиеся в высшее духовенство, сестричка — настоятельница одного из южных монастырей. Многочисленные кузены нашли себе местечко в монастырях и храмах по всей Франции. Надо быть слепым, чтобы не узреть тягу к кумовству, пронизывающую все благородное семейство Арно. Между тем столь богатая девственниками ветвь обречена на скорое вырождение. Единственное, о чем вам стоило бы сожалеть, *отец мой*, это то, что вы никогда не имели сына, чтобы продлить свой род. Взамен вы всю свою любовь обратили на дочь своего покойного братца: Анжелику Сент-Эврё-Дезире-Арно, с нынешних пор известную как Мать Изабелла, настоятельница монастыря Сент-Мари-де-ля-Мер.

Она вся в вас. Та же недоверчивая мина, белесые глаза. Она унаследовала ваше презрение к простому человеку, как унаследовала и вашу спесь, — под вашей набожностью все вы, Арно, прячете напыщенность, достойную образцов классической трагедии. Лишь именем

отличается она от вас. Вы вышколили ее отменно. Она читает ваши письма с самозабвенностью Элоизы, поглощавшей послания Абеляра^[49]; уже с младенчества набожность ее превосходила все ожидания. Она не ест мяса, не пьет вина, кроме как во время причащения, постится каждую пятницу. Такая племянница делает вам честь, а подобная честь может — кто знает? — обернуться приличной выгодой. В конце-то концов не вечно же вам пребывать в епископах. Кардинальская шапочка очень бы вам пошла, монсеньор, или, на худой конец, архиепископская митра. Вы хитроумно вымостили племяннице дорожку к Матушке-Церкви: распустили слухи о видениях, ангельских голосах, а также упомянули не слишком громко, но все же вполне звучно, — о случаях исцеления. Ваша тайная мечта: добиться причисления кого-либо из семьи к лику святых — не имея наследников, это единственная возможность увековечить свой род, — а в отношении матери Изабеллы такая возможность отнюдь не исключена. Хоть покойная ее матушка считала, что слишком рано девочке принимать постриг, вы взяли ее под свою опеку; заставили девчонку возмечтать о монастырской жизни, подобно тому как нормальный ребенок мечтает о кукольном домике.

Видали бы вы ее лицо, когда я сообщил ей известие. Боже, как она была хороша: глазки сварливо сузились, уголки рта презрительно опустились.

— Аббатисой? Куда? — взвыла она. — В эту *глухомань*? Ни за что на свете!

Вы избаловали ее, монсеньор. Заставили поверить в ее детские годы, что она достойна высшего. Возможно, дерзкая девчонка возжелала видеть себя в Париже, с его высокими шпилями, тщеславием и светскими шлюхами, которые падут пред нею на колени. Такое пришлось бы ей по душе.

Или, может, это из-за наказания, которое я назначил ей за вспышку гнева, за то, что отчитал ее, а потом, по истечении епитимьи, с мягкостью простил, но я заметил в ней некий голод, о котором вы, я уверен, и понятия не имеете, где-то внутри у нее греховность затачивается о святость, образуя единое острое лезвие. Наступит время, и она созреет, чтобы воспользоваться им, монсеньор д'Эврё. Учтите, наступит.

Ночью ко мне, как я и предвидел, явилась Жюльетта. Это было рискованно; она могла ожидать, что застанет со мной Клемент, однако, раскрыв мою тайну, уже не могла сдержаться.

Как это в ее духе, тотчас начать с нападения. На ее месте я бы

послушался моего совета и вел себя посдержанней; моя Крылатая, как всегда, в самый острый момент рвется в атаку, выдавая все свои козыри, только чтобы противостоять мне. Это сильное упущение в ее игре, — характерное для начинающего игрока, — и хотя это мне на руку, я не могу освободиться от чувства некоторой разочарованности. Мне казалось, я был ей хорошим учителем.

— Так *вот* почему ты здесь! — выпалила она, едва я открыл дверь. — Епископ Эврё!

— Кто-кто? — с невинным видом переспросил я, но получилось фальшиво; глаза ее победно блеснули.

— Прежде ты лгал *много* искусней, — сказала она, врываясь мимо меня в дом.

— Может, это от недостатка практики, — пожал я плечами.

— Не думаю.

Она уселась на ручку моего кресла, качая ногой. На голой загорелой ступне была заметна пыль; лицо светилось радостью воображаемой победы.

— Ну, — спросила она, — когда же нам его ждать? И что ты будешь делать, когда он явится?

— Разве мы его ожидаем? — спросил я с улыбкой.

— Если нет, ты утратил свой нюх.

Я повел плечами, обдумывая ответ:

— Ты не поверишь, я собирался тебе все рассказать. Хотя ведь особого доверия ты ко мне до сих пор не испытывала, не так ли?

— Еще бы! После Эпиналя...

— Жюльетта, ты несносна! Я ведь уже тебе объяснял.

— Объяснял, но это тебя не оправдывает.

Она была резка, но что-то появилось в ней, отдаленно угадываемое смягчение, словно ее открытие вместо того, чтобы увеличить ко мне подозрение, напротив, вселило в нее некоторое доверие.

— Расскажи про епископа, — сказала она уже значительно мягче. — Ты же знаешь, я тебя не предам.

Я улыбнулся:

— Я заслужил преданность? Весьма тронут, я...

— Не в том дело, — отрезала она. — У тебя моя дочь.

Уф! Еще удар. Однако, если игра затягивается, намеренная уступка уже может расцениваться как победа.

— Отлично, — сказал я, слегка привлекая ее к себе. Она не отпрянула.

Я исповедовался достаточно долго, чтоб смягчить ее страхи и

польстить ей — хотя бы чуть-чуть, — хотя она полагала, что, пока слушает меня, ее лицо остается каменным. Часто женщины слышат то, что им хочется услышать, даже моя Гарпия, у которой есть все основания верить в худшее. Но полуправда нередко куда действенней, чем откровенная ложь.

Разумеется, она разгадала самое очевидное. В этом я ручаюсь. Возможно, даже слегка стала меня понимать — несмотря на напускаемую на себя святость, она бунтарка по природе, и у нее не больше оснований питать симпатию к епископу, чем у меня. Единственное, чего я добиваюсь от нее сейчас, — потянуть время; в конце концов, хороший скандал, как и хорошее вино, требует времени для нужной выдержки и созревания. Шато д'Эврё — хоть и не изысканное, не многолетней выдержки вино, но обладает неким очаровательным металлическим привкусом, который ты, моя милая Жюльетта, возможно, сочтешь недурным. Дай же ему как следует настояться, чтоб как следует вспенилось. Пусть он только появится, и оно потопит его в своей безудержной пене.

Что ж, мой рассказ был убедителен. Сначала Жюльетта слушала недоверчиво, потом с одобрением, потом, хоть и неявно, но с долей симпатии.

Мне удалось изобразить скорбное лицо:

— Я не люблю проигрывать.

— А ты считаешь, *это* — победа? — спросила она. — Ты хоть представляешь, сколько бед сотворил? И продолжаешь творить?

— Кто? Я? — Я повел плечами. — Да я просто готовил сцену. Все остальное делали вы сами.

Она поджала губы; поняла, что я прав.

— Ну, а после спектакля? — резко спросила она. — Что потом? Потом вы снова, вы оба разъедетесь в разные стороны и оставите нас в покое?

— Почему бы нет? Если ты вдруг не вздумаешь меня сопровождать. — Она оставила мои слова без ответа, как я и ожидал. — Послушай, Жюльетта, — сказал я, отметив выражение ее лица. — Ты ведь не можешь отказать мне в благоразумии? Неужто ты считаешь, что я способен зайти далеко в своем возмездии епископу? Ты слыхала, как они поступили с Равальяком? К тому же, если бы я задумал прикончить Эврё, сама посуди, ведь я бы уже давно мог найти способ, как это сделать. — Я помолчал, дав ей возможность обдумать мои слова. — Я хочу видеть его униженным, — тихо сказал я. — У монсеньора непомерные амбиции; претензии на возвеличивание своего рода. Я хочу их сокрушить. Хочу столкнуть этих Арно в грязь, где все мы пребываем, и я хочу, чтобы они знали, что именно я это сделал. Смерть епископа это уже почти канонизация. Я же желаю ему

долгой, долгой жизни.

Я умолк. Какое-то время и она молчала. Потом наконец, тряхнув головой, сказала:

— Ты чертовски рискуешь. Сомневаюсь, что епископ предоставит тебе и время, и такую возможность.

— Тронут твоей заботой, — сказал я. — Но игра без риска — вовсе не игра.

— Сколько можно играть?

Так искренне она спросила, что я готов был ее расцеловать.

— Ах, Жюльетта, — мягко сказал я. — А что еще нам в жизни остается?



6 августа, 1610

Прошлой ночью наконец-то пролился дождь, но он разразился западнее, в Ледевэне, нас прохлада обошла стороной. Мы же изнемогали от духоты в дортуаре, глядя, как жаркая молния кометой взлетает над заливом. Духота и зной вызвали нашествие мелких moskitov из болотистых низин, в ту ночь они роями нагрянули в наши окна, и, усеивая каждый дюйм неприкрытой кожи, сосали нашу кровь. В ту ночь мы спали плохо, вернее, вовсе не спали; одни яростно прищипывали на себе moskitov, другие просто лежали измученные, уже не в силах сопротивляться. Чтобы отогнать насекомых из своей кельи, я натерлась листьями цитронеллы и лаванды, и несмотря на духоту мне удалось немного соснуть. Мне повезло больше многих; проснувшись утром, я почти не обнаружила на себе укусов, в то время как Томасина находилась в плачевном состоянии, а обладательница горячей крови Антуана являла собой опухшую, студенистую, сплошь в багровых укусах массу. На нашу беду часовня оказалась также полна этих летучих тварей, на которых, казалось, не действуют ни ладан, ни дымящие свечи.

Прошла заутреня. Начался день, и moskity вернулись на свои болотные позиции. Однако к Часу Первому воздух раскалился еще сильнее, небо было жаркое, белое, предвещало худшие страдания. Никто не мог спокойно сидеть. У всех все чесалось и зудело; даже я, сумевшая избежать этой кары, будто из солидарности чувствовала зуд у себя на коже. Как раз в этот утренний час и предстал перед нами холодный и степенный Лемерль. По левую руку — сестра Маргерита, по правую — Мать Изабелла.

Шепоток пронесся по часовне. Впервые после того припадка Маргерита была допущена к службе, и все мы по-прежнему ожидали официального вердикта: что с ней такое приключилось. Мнения разделились. Одни считали, что пляска святого Витта, другие — что паралич, но большинство было убеждено, что это колдовские чары или происки дьявола. Маргерита выглядела вполне нормально — никакого тика, зрачки необычно темны и расширены. Наверное, сказала я себе, это от мака, который я подмешала ей в укрепляющую силы микстуру. Надеюсь столько, сколько надо.

Но всех шестьдесят пять страждущих я обеспечить не смогу.

Альфонсина возбуждена, беспокойна. Томасину так искушали москиты, что ей буквально не сидится на месте. Антуана беспрестанно расчесывает себе ноги. Даже обычно смиренная Клемент будто в лихорадке. Видно, смерть Жермены глубже задела ее, чем мы думали, веки у нее набухли, лицо осунулось. Я заметила, что Клемент не сводит глаз с Лемерля, он же старательно избегает с ней заговаривать и даже встречаться взглядом. Может, она ему и *впрямь* надоела? Мысль меня обрадовала, за что я тотчас вознегодовала на себя.

— Дети мои, — начал Лемерль, — вот уже трое суток вы терпеливо ждете сообщений о сестре вашей Маргерите.

Мы закивали, задвигались, переминаясь с ноги на ногу. Трое суток — долгий срок. Трое суток слухов и неизвестности; трое суток микстур и теплых настоек. Предрассудки, даже и во времена Матушки Марии, не были вовсе забыты. Нынче, лишившись успокоительного присутствия нашей прежней святой, мы прибегали к их помощи все чаще и чаще. Нам был необходим порядок, порядок и твердая рука перед лицом тяжелых испытаний. Инстинктивно мы потянулись за этим к Лемерлю.

Но отец Коломбэн был явно встревожен.

— Я сам внимательно осмотрел сестру Маргериту, — сказал он. — И не обнаружил никакого изъяна — ни в теле, ни в душе ее.

Шепот недовольства прошелестел по толпе. *Должно же что-то быть.* Он сам подводил нас к иному, пичкал крохами, побуждая с жадностью ждать его вердикт. Ведь в монастыре поселился бес: кто смеет это оспаривать?

— Я все вижу, — сказал Лемерль. — Мне понятны ваши сомнения. Я молился; постился. Я перечитал немало мудрых книг. Но если в сестру Маргериту и вселились духи, я не в силах заставить их подать голос. И единственное, что могу вам сказать, — в одиночку мне не справиться с темными силами, населившими ваш монастырь. Я не оправдал ваших ожиданий.

— *Нет!* — зашелестело по толпе, словно ветром взметнуло колосья.

Черный Дрозд, склонив голову в лицемерном смирении, не смог сдержать улыбку.

— Я думал, что смогу изгнать Дьявола лишь с помощью своей веры и вашего ко мне доверия, — сказал он. — Но не сумел. У меня нет иного выхода, как известить высшее духовенство и передать происходящее — как и себя самого, — в их руки. Хвала Господу нашему!

С этими словами он сошел с кафедры и подал знак Изабелле занять его место.

Мы переглядывались, помня последнее обращение Изабеллы к нам, и рябь недовольства и протеста пробежала по толпе. Мы понимали: доверить Изабелле наведение порядка невозможно. Лишь Лемерль способен править нами.

Изабелла и сама была застигнута врасплох его словами.

— Куда же вы? — спросила она дрожащим голосом.

— Теперь я здесь вам более не нужен, — сказал Лемерль. — С утренним отливом я отправлюсь на материк и уже через неделю вернусь к вам с подмогой.

Изабелла явно запаниковала:

— Вы не можете нас оставить!

— Но я должен. Больше ничем я помочь вам не могу.

— *Отец мой!* — Клемент с тревогой смотрела на него.

Стоявшая рядом с ней Антуана в молчаливой мольбе обратила искусанную москитами физиономию к Лемерлю. Брожение, уже достаточно звучное, охватило толпу. Мы и так всего лишились. Мы не можем потерять отца Коломбэна. Без него хаос, точно стая диких птиц, грянет на нас.

Он пытался нам втолковывать, перекрывая нараставший шум. Если нечистого найти не удастся, если возмутитель спокойствия не будет обнаружен... Но мысль, что святой отец может покинуть их, отдать во власть нечистому, повергла сестер в неистовство. И поднялся вой, жуткие кошачьи завывания; начавшись откуда-то сбоку, они, нарастая, охватили всю часовню.

Мать Изабелла уже не владела собой.

— Злой дух, покажись! — истошно выкрикнула она. — Покажись, подай голос!

Мощная волна криков накатила снова, и стоявшая рядом со мной Перетта зажала уши руками. Спрятав руку за спину, я расставила два пальца против лиха. К несчастью дикие стенания подступили слишком близко, заветному знаку было не совладать. Я чуть слышно зашептала материнское благое заклинание, но в таком хаосе оно вряд ли подействует.

Лемерль же наблюдал за происходящим с холодным удовлетворением. Теперь они целиком зависели от него, я это видела. Они готовы были исполнить любое его приказание. Вопрос был только в том: кто начнет? Я огляделась. Я видела молящее лицо Клемент, малахольные лица Антуаны, Маргериты, у которой уже подергивался рот, микстура уже теряла свое воздействие, и Альфонсину...

Альфонсина! Сначала, казалось, она стоит как вкопанная. Но вот по

ней пробежала легкая судорога, еле уловимая, как трепет крыла мотылька. Казалось, она не отдает себе отчета в том, что происходит вокруг; мелко дрожало все тело. Как вдруг медленно, очень медленно, дрожь стала переходить в некий танец. Началось с ног. Альфонсина засеменила, раскинув руки, словно удерживая равновесие, как будто переступая босыми ногами по канату. Потом двинулись в едва заметном волнообразном движении бедра. Потом пальцы: взвились руки, ходили плечи.

Заметила не я одна. Томасина передо мной чуть не поперхнулась от изумления. Кто-то пронзительно выкрикнул:

— Глядите!

Все стихло. Но тишина была зловещей: будто над нами нависла готовая рухнуть скала.

— Бесовство! — простонала Бенедикт.

— Как с сестрой Маргеритой!

Бесы!

Я не могла молчать:

— Альфонсина, прекрати, это смешно!

Но остановить Альфонсину уже было невозможно. Она поворачивалась, крутилась под неведомый ритм, то влево, то вправо, то на одном месте, как волчок, то неторопливо и важно петляла или ходила кругами, юбки взмывали, обнажая ноги. Она мычала что-то непонятное, готовое сложиться в слово.

— М-м-м-м-м...

— Это они! — взывала Антуана.

— Они говорят с нами...

— М-м-м-м-м...

Кто-то за моей спиной принялся читать молитву. Мне показалось, что произносится Ave Maria, только слова странно искажаются, сливаясь в беспорядочность гласных звуков:

— Ма-ари-и! Ма-ари-и!

Первый к кафедре ряд уже подхватил распевный клич. Клемент, Пиетэ и Виржини, откинув головы назад, почти одновременно начали раскачиваться ему в такт:

Ма-ари-и! Ма-ари-и!

Они качались медленно, тяжело, как перекачивается на волнах громадный корабль. Качание было заразительно. За первым последовал второй ряд, потом — третий. Катила неумолимая волна, приводившая каждый ряд — клирос, скамьи, передние сиденья, — в неукротимое колыхание. Оно охватило и меня, пробудив инстинкт танцорки; страхи,

звуки, мысли, все топил этот убаюкивающий, затягивающий водоворот. Я откинула голову назад: на мгновение увидала звезды в глубине церковных сводов, и мир призывно опрокинулся предо мной. Я ощущала вокруг жаркие тела. Мой собственный голос тонул в вязком рокоте голосов. В осоловелом безумии этого танца вершилось полное, безмолвное единение; прилив тянул нас вправо, потом влево, каждая держала ритм, каждая угадывала его нутром. Я чувствовала зов этого танца, он манил влиться, окунуться всем естеством в темный омут движений и звуков.

Я слышала, как Мать Изабелла что-то кричит толпе, но слов ее не разбирала. Единственный явный инструмент в общем оркестровом хаосе, где голоса то меркли, то вздымались, ее голос звучал пронзительным контрапунктом на фоне утробного рева толпы с редкими вкраплениями протеста, — моего в том числе, — взывающим приливом, призывом; но и он угас, слаженная мощь адской утробной гармонии поглотила нас всех...

И все же в голове моей теплилась какая-то ясность, отстраненно паря, точно птица, над происходящим. Я слышала голос Лемерля, хотя не полностью различала слова; они звучали рефреном в этом всеобщем безумии, определяя рисунок и ритм всего *Ballet des Bernardines*^[50].

Может, это и есть тот спектакль, к которому он так стремился? Впереди Томасина споткнулась, упала на колени. Танец грациозно двинулся в ее направлении, какая-то монашка наткнулась об нее. Обе тяжело рухнули на пол, и в той, другой растянувшейся на мраморных плитах, я узнала Перетту; вокруг вились и кружились, точно в забытьи, остальные.

— Перетта!

Я кинулась к ней. Упав, она расшибла голову, на виске уже синело пятно. Я подхватила ее с пола, и мы вместе стали пробиваться к дверям. Наше ли вмешательство в толпу — или же иссякшие силы, — побудили некоторых участниц действия остановиться, волна зашаталась, рассыпалась. Я поймала на себе взгляд Изабеллы, но уже не было времени разгадывать, что сулил мне нынешний колючий взгляд. Перетта побледнела, была холодная, как лед. Я заставила ее глубже дышать, опустив голову в колени, дала понюхать мешочек с ароматическими травами, который носила в кармане.

— Что это у тебя? — спросила Мать Изабелла среди внезапного затишья.

Шум понемногу спадал. Я увидела, что часть монашек, вышедших из транса, сбились в кучку и смотрят прямо на меня.

— Это? Обыкновенная лаванда, анис и пахучий бальзамник, и еще...

— Зачем это?

Я подняла повыше мешочек с травами:

— Вот! Это просто пахучий мешочек. Наверняка вы не раз такие видели.

Стало тихо. Шестьдесят пар глаз уставились на меня. Кто-то — кажется, Клемент — произнес негромко, но очень отчетливо:

— *Колдовство!*

И я почти услышала гул молчаливого одобрения, глас, исходивший не от людей, а от судорожных движений многих трепещущих, крестящихся рук, ш-ш-ш-ш! — от шелеста пальцев по батисту манишек и шороха шершавых языков по пересохшим губам, от возбужденного дыхания. *Та-а-к!* — мнился мне шепот. Сердце, как сухой осенний лист, сорвалось вниз.

— *Та-ак!..*

6 августа, 1610

Я мог бы одним словом это остановить. Но сцена была настолько захватывающая, настолько классически безупречна в своем развитии, что у меня язык не повернулся ее оборвать. Дьявольские предзнаменования, видения, зловещая смерть и ныне — драматизм разоблачения и жажда крови... Восхитительное, почти библейское зрелище; даже я не смог бы так роскошно развить сценарий.

Интересно, понимает ли она, какую именно живую картину в данный момент она являет? Гордо поднятая голова, плат съехал назад, на виду густое пламя ее пышных волос, дурочка прижалась к ее груди. Ах, как жаль, что живые картины теперь выходят из моды; еще более прискорбно, что столь немногие здесь способны оценить по существу такую сцену. Правда, я питаю некоторые надежды в отношении крошки Изабеллы. Способная ученица, несмотря на бездарное воспитание, сам не ожидал от нее такого волнующего представления.

Естественно, это я научил ее всему, я пестовал ее, терпеливо подводил ее к этому, повиновавшуюся раболепно. Как видно, у меня к этому явная склонность. Чувство гордости охватывает меня, стоит вспомнить, каким сговорчивым ребенком она когда-то была. Но, говорят нам, послушных детей всегда следует опасаться. Наступит момент, когда даже самые тихие из них достигают таких высот, что составители карты нашего разума уже не в силах запечатлеть ту точку. Это, возможно, провозглашение независимости. Утверждение собственного «я».

Она, подобно дядюшке, мыслит идеальными понятиями. Мечтает о святости, о борьбе с демонами. Дитя, несмотря ни на что, впечатлительное, мучимое неявным томлением, свойственными ее возрасту вопросами, а также жесткими рамками своей родословной. Я подозревал, что сегодня она заявит о себе. Можно сказать, сам срежиссировал это: небольшой *дивертисмент* между двумя актами вселенской драмы. Но и тут она изумила меня. И в не меньшей степени тем, что в своенравии своем избрала в качестве козла отпущения ту самую, которую бы я меньше всего хотел подставлять под ее удар.

Немыслимо, чтобы девчонка могла что-то заподозрить. Это говорит в ней инстинктивное, детское желание перечить. Она ощущает потребность

доказать мне правоту своих подозрений (мне, который вечно чертовски спокоен, чуть ли не насмешлив перед лицом ее растущей убежденности), заслужить мою похвалу, даже повергнуть меня в замешательство. Ибо сейчас для нее это важней, чем покорное обожание. Самовыражение возвысило ее в собственных глазах, лелея в ней семена протеста, которые я должен возвращать, одновременно стараясь не выпускать узды из рук. Преклонения передо мной она не утратила, но ныне оно окрашено мрачными красками возобновившегося подозрения... Мне надо поостеречься. С ее прозорливостью она способна с равной легкостью обрушиться на меня, как и на тебя, моя Элэ, и в этом вы, ты даже представить себе не можешь, до какой степени схожи. Она — кинжал, с которым мне приходится обходиться с осторожностью. Достаточно капризна, способна возрадоваться, стоит ей лишь намекнуть, что я был унижен в давних замыслах, — столь крепко сидит в ней врожденное, столь неколебима в ней гордыня.

Как видишь, Жюльетта, мы с тобой не можем с этим не считаться. Никто не должен замечать моих поблажек тебе. Могут полететь обе наши головы. Я должен полностью затаиться, в противном случае мои планы обречены на крах. Правда, признаюсь, мне больно за тебя. Быть может, когда все это закончится... Но сейчас риск слишком велик. Теперь, даже если ты захочешь поднять на меня свое оружие, оно уже не возымеет силы. Одно робкое слово, способное утихомирить часовню, заглушит любые обвинения, которые ты попытаешься произнести в мой адрес. Ты это понимаешь; вижу по твоим глазам. И все же несмотря на это мне претит подчиниться девице Арно, даже если такое поспособствует продвижению моих планов. Это вызов моей власти. А, как тебе известно, если брошен вызов, я не могу на него не ответить...

— Пока нет причин обвинять в колдовстве сестру нашу, — мой голос ровен и немного строг. — Вами руководит лишь слепой страх. Перед лицом его даже невинный мешочек с лавандой становится орудием темных сил. Жест милосердия обретает зловещие черты. Что вопиюще неразумно.

На миг я тревожно ощущаю их протест. Клемент выкрикивает:

— Ведь было же видение! *Кто-то* же должен был его наслать?

Ее поддержали:

— Ну да, я почувствовала!

— И я!

— Был порыв ветра...

— А пляска?..

— Пляска!

— Ну да, да, было видение! И не одно! — Я уже импровизировал, пользуясь своим голосом, точно уздой, чтобы сдержать эту дикую, возбужденную многоликую кобылу. — Видения, высвободившиеся, едва мы отворили крипту! — Глаза заливал пот, я стряхивал его, боясь, что заметят, как уже дрожат мои сжатые кулаки. — *Vade retro, Satanas!*^[51]

Латынь обладает властью, какой обычные языки, увы, лишены. Жаль, что необходимость заставляет меня вещать на родном языке, но сестры-монахини, как ни прискорбно, невежественны. Им не до этих тонкостей. А в данный момент слишком обезумели, не до изысканности тут.

— Послушайте меня! — Мой голос перекрыл их бормотание. — Под нами бездна скверны! Столетний адский бастион узрел угрозу в лице наших реформ, и Сатана страшится его потерять! Но не теряйте надежды, сестры! Нечистый бессилен перед чистыми душами. Он орудует через порчу в душах, но ему не дано коснуться истинной веры!

— Отлично сказано, отец Коломбэн! — Мать Изабелла подняла на меня свои бесцветные глаза. В ее взгляде я прочел нечто не слишком приятное: расчетливость, чуть ли не вызов. — Рядом с этакой мудростью нам подобает стыдиться своих женских страхов. Сила отца Коломбэна не позволит нам пасть.

Странные слова, не из моего лексикона. Интересно, к чему она клонит.

— Но благочестию позволительно иметь свои страхи. Целомудрие нашего святого отца мешает ему увидеть истинное, понять истину. *Он* не испытал того, что мы испытали сегодня! — Она перевела взгляд на вход в часовню, у которого, замерев в грациозной летаргии, стояла новая, заново отмытая Мария. — Здесь все прогнило, — продолжала она. — Прогнило настолько, что я даже не осмелюсь высказать вслух свои подозрения. Но теперь... — Она понизила голос, как ребенок, перед тем как поведать свой секрет. Видно, она взяла от меня гораздо больше, чем я ожидал, так как голос ее был слышен каждому, — сценический шепот, долетавший до самого потолка. — Теперь я могу их открыть.

Затаив дыхание, они ждали ее признаний.

— Все началось с Матери Марии. Разве первое видение не возникло из крипты, где мы ее погребли? Разве призраки, которые вам явились, не предстали в ее облике? И разве злые духи не зывали к нам ее именем?

Толпа отозвалась еле слышным, вялым согласием.

— Что скажете? — спросила Изабелла.

Мне это не понравилось.

— Что значит, «что скажете»? Ты утверждаешь, будто Мать Мария связана с Сатаной? Это чушь. Что за...

— Она перебила меня — *меня!* — топнув при этом маленькой ножкой.

— Кто именно отдал распоряжение похоронить Мать Марию в неосвященном месте? — воскликнула она. — Кто постоянно подрывает мой авторитет? Кто, подобно сельской колдунье, обращается к снадобьям и заговорам?

Итак — слово сказано. Вокруг нее сестры переглядывались, некоторые выставили два пальца от лиха.

— Может ли быть простым совпадением то, — продолжала Изабелла, — что сестра Маргерита как раз перед тем, как впала в странную пляску, приняла одно из ее зелий? Или то, что сестра Альфонсина обратилась к ней, после чего стала кашлять кровью?

Изабелла взглянула на меня, побледнела, увидев выражение моего лица, но все-таки продолжала:

— Рядом с кроватью у нее тайник. Она держит там свои колдовские средства. Проверьте сами, если мне не верите!

Я склонил голову. Что ж, она высказалась, и я ничего не смог сделать, чтобы это предотвратить.

— Быть по сему, — процедил я сквозь зубы. — Мы все осмотрим.



6 августа, 1610

Лемерль отправился за ней в дортуар, сестры, точно куры за петухом, засеменили следом. Он обычно умел отменно прятать гнев, но сейчас походка его выдавала. На меня не взглянул. Но то и дело стрелял глазами в сторону Клемент, которая, смиренно опустив глазки, семенила рядом с Изабеллой. Пусть он думает что хочет; мне-то было предельно ясно, кто осведомитель. Возможно, Клемент видала, как прошлой ночью я выходила из его домика; может, просто мстила инстинктивно, из злости. Как бы то ни было, она с деланным смирением держалась рядом с матерью Изабеллой, пока та, взволнованно, но с решимостью вела нас прямо к тому самому свободно отходящему камню в глубине моей кельи.

— Здесь! — провозгласила она.

— Посмотрим!

Потянувшись к камню, Изабелла не слишком уверенно взялась за него маленькими пальчиками. Камень не поддавался. Мысленно я перебирала содержимое своего тайника. Карты таро, настойки, снадобья, мой дневник. Одного его хватило бы, чтоб заклеить меня, нас обоих. Интересно, знает ли о дневнике Лемерль; внешне он был невозмутим, но плечи у него пружинисто напряглись. Интересно, попытается ли он сбежать, — у него это отлично получалось, — или же рискнет блефовать. Блеф, подумалось мне, больше в его стиле. Правда, для этого требуется партнер.

— Обыскивать будете всех? — резко спросила я. — Если всех, имейте в виду, что у Клемент под матрацем можно обнаружить немало любопытного.

Клемент злобно взглянула на меня, и кое-кто из сестер явно заволновался. Я знала почти наверняка, добрая половина что-то прячет.

Но Изабелла не дрогнула.

— Я сама решу, кого следует обыскать, — отрезала она. — А сейчас...

Она раздраженно морщила носик, продолжая сражаться с неподдающимся камнем.

— Позволь мне, — сказал Лемерль. — У тебя не слишком получается.

Под ловкими пальцами картежника камень подался без труда; вытащив камень, Лемерль отложил его в сторонку, на кровать. Просунул руку внутрь.

— Пусто!

Изабелла с Клемент с недоверчивым видом подскочили к нему.

— Позвольте мне взглянуть! — сказала Изабелла. Иронически улыбаясь, Черный Дрозд отступил.

Изабелла протиснулась мимо, и личико у нее даже перекосилось, едва она убедилась, что тайник действительно пуст. У нее за спиной Клемент трясла головой:

— Но там же было, было...

Лемерль повернулся к ней:

— Так вот кто распространяет всякие слухи!

Клемент огорошенно смотрела на него.

— Злобные, необоснованные слухи, которые порождают недоверие и посягают на наше содружество.

— Это не я... — выдохнула Клемент.

Но Лемерль уже двинулся прочь, оглядывая ряды спальных отсеков.

— Любопытно, что можешь *ты* припрятывать, сестра Клемент? Что там таится под твоим матрацем?

— Не надо... — побелевшими губами прошептала Клемент.

Но собравшиеся вокруг сестры уже принялись скатывать ее постельное белье. Клемент взвыла. Сжав зубы, Мать Изабелла наблюдала за происходящим.

— Вот! — внезапно раздался торжествующий крик.

Кричала Антуана. В кулаке ее был зажат карандаш.

Тот самый, жирный, черный, каким были изуродованы лица статуй. Но это было еще не все: кучка красных тряпок, на некоторых еще виднелись следы черных ниток, — кресты, безжалостно сорванные с наших облачений, пока мы спали.

Воцарилась грозная тишина: все монашки, на кого за этот урон была наложена епитимья, повернулись к Клемент. И вдруг все разом начали кричать. Антуана, которая на руку проворней, чем на слово, залепила Клемент звонкую пощечину, от которой ту отнесло в самый конец кельи.

— Ах ты пакостная мерзавка! — вопила Пиетэ, ухватив Клемент за подол. — Вздумала подсмеяться над нами, да?

Клемент отбивалась и визжала, инстинктивно тянувшись за помощью к Лемерлю. Но Антуана вмиг на нее наскочила, повалила на пол. Я вспомнила, между ними и прежде не все было гладко: дурацкие стычки во время капитула.

Мать Изабелла в тревоге воззвала к Лемерлю.

— Остановите их! — взмолилась она, стараясь перекричать гвалт. —

О, отец Мой, молю вас, остановите их!

Кинув на ее холодный взгляд, Черный Дрозд припечатал:

— Ты сама это затеяла. Ты довела их до этого. Вспомни, я ведь пытался привести их в чувство!

— Но вы сказали, что демонов не было...

— *Что за чушь*, конечно, они есть! — вскинулся Лемерль. — Но еще не время для полного разоблачения! Если бы ты меня послушалась раньше!

— Простите меня! Прошу вас, остановите их! *Пожалуйста!*

Но потасовка и так уже заканчивалась. Клемент скрючилась на полу, закрыв лицо руками, Антуана возвышалась над ней, покрасневшая, с разбитым в кровь носом. Обе тяжело дышали; вокруг сестры, во время стычки и пальцем не пошевелившие, чтобы хоть как-то вмешаться, из солидарности тоже звучно сопели над ними. Я рискнула кинуть беглый взгляд на Лемерля, но увидела самую непроницаемую из его масок, лицо не отражало ничего. Но все же тогда мне не привиделось: его едва заметное изумление, когда он обнаружил, что тайник пуст. Кто-то опустошил его без его ведома; это было бесспорно.

Клемент и Антуану по велению Лемерля отвели в лечебницу, а меня на весь остаток дня отправили работать в пекарню. Но три часа непрерывного труда в ней почти не давали мне возможности осмыслить происшедшее. В эти часы я месила тесто, раскладывала по порциям, формировала длинные хлеба на поддонах, засовывала их в глубокие, узкие ниши, похожие на темные отсеки в крипте, где гробы с усопшими.

Я пыталась не думать о событиях утра, хотя мысли устремлялись туда вновь и вновь. Пляска Альфонсины, раскачивающиеся фигуры, страшные признаки истовости. Взгляд Лемерля, встретившийся с моим; хоть он едва сдерживался от смеха, — где-то там в глубине прятался страх. Будто он, оседлав дикого жеребца, знает, тот его неминуемо сбросит, и при этом улыбка не сходит с лица, потому что скачка ему в радость.

Сначала я была убеждена — Лемерль за меня не вступится. Почему-то он не управлял происходящим, хотя я была убеждена, что всеобщее безумие — это часть его замысла. Ему ничего не стоило допустить, чтоб обвинение пало на меня, и тем самым обеспечить полное повиновение остальных. Но он этого не сделал. Смешно испытывать чувство благодарности. Я должна ненавидеть его за то, как он поступил со мной, со всеми нами. И все же...

Утренняя часть работы была почти завершена. Я была одна в пекарне; стоя спиной к дверям, я вычищала длинной деревянной планкой золу из последней печи. Услышав шаги, обернулась. Почему-то я уже знала, кто

это.

Идя сюда, она рисковала, хотя и не слишком; здание лечебницы находилось как раз рядом с пекарней, и, должно быть, ей пришлось перелезть через стену. Полуденный зной по-прежнему жег глаза; большинство сестер во двор не показывались.

— Никто меня не видел, — как бы в подтверждение моим мыслям, сказала сестра Антуана. — Нам поговорить надо.

Перемены, которые я заметила в ней неделю назад, сейчас были особенно очевидны. Лицо осунулось, обрисовались скулы, губы решительно сжаты. Худышкой ей никогда не стать, но теперь она казалась более сбитой, не рыхлой толстухой, как прежде; под розовым жиром ходили мощные мускулы.

— Тебе нельзя сюда, — сказала я ей. — Если сестра Виржини тебя здесь увидит...

— Клемент рта не закрыть, — перебила меня Антуана. — Все утро я выслушивала ее рассказы в лечебнице. Она знает про Флер. Она знает про тебя.

— Я не понимаю, о чем ты, Антуана. Возвращайся к себе...

— Да слушай ты! — прошипела Антуана. — Я тебе не враг. Как ты думаешь, кто вынул все твое из тайника? — В изумлении я уставилась на нее. — Что? — продолжала Антуана. — Думаешь, я такая тупая, что не знаю, где ты прячешь свои тайные вещички? Жалкая, глупая толстуха Антуана, мол, не сообразит что к чему, если дело происходит ночью у нее под самым носом? Я вижу гораздо больше, чем ты думаешь, сестра Огюст!

— Куда ты спрятала? И мои карты, и...

Антуана погрозила мне пухлым пальцем:

— В надежное место, сестра моя, надежней не бывает. Но пока еще не время мне их тебе отдавать. Ведь ты и без того моя должница.

Я опустила голову. Я и не ждала, что она про это забудет.

— Клемент все выложит, Огюст, — продолжала Антуана. — Пусть не сейчас. Сегодня, похоже, она в немилости, но Мать Изабелла ей доверяет. Рано или поздно она разоблачит нас. А когда поймет, что отец Коломбэн ей не защита, то достанется и ему.

Антуана сделала паузу: проверить, дошло ли до меня. У меня путались мысли.

— Антуана, — спросила я. — Но как же ты...

— Это неважно, — оборвала меня она. — Девчонка поверит ей. Уж я-то знаю девчонок. Сама когда-то такой была. И еще я знаю, — и тут ее румяное лицо исказила горькая улыбка, — знаю, что в один прекрасный

день даже самая тихоня, самая смиренница может восстать против своего отца.

Наступило долгое молчание.

— Чего ты хочешь? — спросила я наконец.

— Ты разбираешься в травах, — Антуана заговорила тихо, вкрадчиво. — Знаешь, как с ними обходиться. Я могла бы подсунуть кое-что Клемент в лечебнице, пока она не заговорила. Никто и не узнает.

Я смотрела на нее, не веря своим ушам:

— Ты хочешь... *отравить ее*?

— Ни одна душа не дознается. Ты бы рассказала мне, что да как. — Почувствовав мое негодование, она сильнее сжала мне плечо. — Это же ради всех нас, Огюст! Если она расскажет про тебя, ты потеряешь Флер. Если расскажет про меня...

— Что расскажет?

Снова долгая пауза.

— Жермена... — наконец проговорила она. — Она знала про Клемент и отца Коломбэна. Она хотела рассказать.

Я силилась понять. Но мысли путались; я слишком устала; слова Антуаны плохо до меня доходили.

— Я не могла допустить, чтоб она уличила его. Я сильная, уж гораздо сильнее ее. Все быстро и сделалось.

Антуана криво усмехнулась.

Это было невероятно, непостижимо. И вместе с тем брезжил некий смысл. Я уже говорила, Черный Дрозд обладал способностью побуждать людей видеть в нем то, что им больше всего хотелось увидеть. Бедная Антуана. Лишившись в четырнадцать лет своего ребенка, весь пыл нерастраченных страстей обратив на кулинарные радости, она обрела наконец выход своей материнской любви.

Внезапно меня пронзила тревожная мысль, я спросила:

— Скажи, Антуана, так это *он* велел тебе это сделать?

Сама не знаю, почему, но эта мысль ужаснула меня. Он убивал и раньше, и за меньшие прегрешения. Но Антуана затрясла головой:

— Нет, он ничего об этом не знает. Он чистый человек. Правда, не святой, — добавила она, жестом как бы отменяя возможность совращения Клемент. — Он мужчина, настоящий мужчина. Но если эта девка повернет против него... — Она быстро взглянула на меня. — Ты поняла, почему это надо сделать, поняла, Огюст? Немного зелья, никакой боли...

Необходимо остановить ее.

— Послушай, Антуана! — Она глядела на меня, как послушная собака,

склонив голову набок. — Это же смертный грех. Неужто это для тебя ничего не значит?

Пожалуй, и для меня это значило немного, но Антуану я всегда считала истинно верующей. Щеки у нее запылали, она выкрикнула, позабыв про осторожность:

— Мне все равно!

И мне вдруг подумалось, что для меня опасно может быть само ее присутствие здесь.

Я приложила палец к губам и тихо сказала:

— Послушай, Антуана. Пусть я знаю нужную траву, но, подумай сама, кого в первую очередь они заподозрят? Всякий яд, ты же знаешь, действует не мгновенно, любой дурак поймет, что ее отравили.

— Зато мы не позволим ей все *разболтать*! — упрямо твердила Антуана. — Если ты не захочешь мне помочь, мне самой придется кое-что предпринять.

— Что?

— Я припрятала твои сокровища, Огюст, — сказала она. — Но я всегда могу их найти. Когда тебя уличат, тебе и шагу не дадут ступить. Ты думаешь, он снова за тебя вступится? И если обнаружат твои вещи, сама подумай, что может случиться с Флер?

В Аквитании на костер вслед за ведьмой отправляют все ее имущество. Свиней, овец, домашних кошек, кур... Раз я видала одну гравюру, изображавшую сожжение в Лоррэне: ведьма над костром, а под нею маленькие, грубо прорисованные фигурки стоят на коленях, с протянутыми руками. Интересно, какой обычай на этот счет здесь на островах.

Антуана с жестокой невозмутимостью наблюдала за мной.

— У тебя нет выбора, — сказала она.

Я кивнула. Я вынуждена была согласиться.

7 августа, 1610

Итак, монастырь, пусть не надолго, но снова в моих руках. Она со слезами на глазах, встав на колени, склонив голову под моим обличающим взором, проговорила свое Чистосердечное Раскаяние. Но это не те слезы; это были слезы обиды, не искреннего покаяния. Она уже однажды взбунтовалась против меня; надо быть начеку, это может повториться.

— Этот срыв твоих рук дело!

Мой голос грозно прозвучал в каменных стенах кельи. Серебряный крест мерцал в пламени свечей. Небольшое серебряное *encensoir*^[52] источало во мраке пары ладана.

— Твое нежелание прибегнуть к помощи уже поставило под угрозу Бог знает сколько безвинных душ!

— *Mea culpa, mea culpa, mea maxima*^[53]...

Даже в том, как она произнесла эту латинскую фразу, я почувствовал легкий вызов.

— Он стоил жизни сестре Жермене! — беспощадно продолжал я. — Он вполне мог погубить душу сестры Клемент!

Я слегка сбавил тон. Жестокость — особое оружие, с ее помощью лучше не рубить с плеча, а свежевать.

— Что же до тебя самой, — тут она боязливо покосилась на меня, и я понял, еще немного, и она в моих руках, — лишь ты можешь оценить, сколь глубоки и грех твой, и скверна в душе твоей. Грознейший из демонов овладел тобой. Люцифер, демон Гордыни.

Изабелла вздрогнула, хотела было что-то сказать, но опустила голову, пряча глаза.

— Разве это не так? — продолжал я холодно, вполголоса наступать. — Разве не помышляла ты в одиночку, без всякой помощи разрешить свои беды? Разве не рисовала себе в воображении свой победный триумф, чтобы весь католический мир восхищался тем, как девица двенадцати лет от роду одна разделалась с адскими полчищами? — Я наклонился, зашептал ей в самое ухо. Жаркий запах ее слез взвеселил меня. — Какие мысли, Анжелика, наваял тебе нечистый? — шептал я. — Какими соблазнами он ослепил тебя? Ты лелеяла мечты о славе? О могуществе? Быть может, о

том, чтоб быть причисленной к Лику Святых?

— Я хотела... — слезливо, по-детски гнусавила она. — Я думала...

— О чем думала ты? — Теперь я говорил вкрадчиво, обволакивающе, так, верно, в воображении этих глупых девственниц, глаголет Сатана. — О чем помышляла ты, Анжелика?

Казалось, она не замечает, что я перешел на имя, данное ей при рождении.

— Ты возмечтала сделаться святой? Превратить эту обитель в святыню, в место паломничества? Чтоб молящиеся стирали в кровь колени, ползая перед тобой в благоговейном преклонении?

Она съежилась.

Как видите, я отлично ее знал. Я углядел в ней ее тщеславие раньше, чем его обнаружила она сама, и пестовал как раз для такого момента.

— Я не... — Ее душили рыдания, жаркие, терзающие душу ребенка, каковым она и была. — Я не думала, не понимала...

Тогда я поднял ее с колен, и она зарыдала, уткнувшись мне в плечо. Поверьте, к таким, как она, во мне нет ни капли сострадания, но так было нужно. Необходимо. Быть может, в последний раз я имел возможность восторжествовать своею властью над нею. Следующий день может принести очередную волну самоутверждения, новый бунт. Я уже представлял, как увижу в ее бесцветных глазах оценивающий, почти пронизывающий меня насквозь взгляд... Но пока я по-прежнему оставался добрейшим отцом, ласковым, прощающим, укоряющим...

— Что же мне делать?

Устремленные на меня глаза были полны слез и доверия.

Я атаковал без промедления.



8 августа, 1610

Я растерла несколько семян ипомеи с растительным маслом, заимствованным из кухни, ключ от которой по-прежнему оставался у Антуаны. В результате образовалась паста, которую, если смешать с едой, трудно выявить. Я сдобрила ее щепоткой сладкого миндаля, чтобы убрать горечь, и передала Антуане, чтоб та запрятала в хлеб. Она сказала, что подмешает немного Клемент в вечернюю пищу.

Судя по всему, Антуана не сомневалась в действенности моего средства, и внезапная перемена моего решения тоже не вызвала у нее подозрений; мне оставалось только молиться, чтоб ее доверие продлилось достаточно долго, чтоб я успела надежно укрепить свою оборону. Семена ипомеи, хоть и не вовсе безопасны для здоровья, но совершенно не смертельны. Я надеялась, что когда Антуана это поймет, она будет держать язык за зубами. Хотя бы некоторое время.

Обман мой был достаточно прост. Небольшая доза тертой ипомеи уже через двенадцать часов после употребления сделает Клемент на следующий день неспособной отвечать на вопросы во время капитула. Симптомы тяжелые, от рвоты и галлюцинаций до полного беспамятства, длящегося примерно сутки. Этого времени мне будет достаточно, чтобы бежать.

В ту ночь дортуар долго не мог уgomониться. Перетта все стояла у моей кельи, смотрела на меня — как будто чего-то ждала, глядя на меня своими ясными птичьими глазками, — пока я наконец не махнула ей, чтоб отправлялась спать. Ей это явно не понравилось, маленькое личико сжалось в тревоге, в нетерпении, мне показалось, будто она хочет что-то сообщить. Но сейчас не время. Я снова махнула рукой, чтоб она ушла, и отвернулась к стене, сделав вид, будто засыпаю. Но долго еще после того, как потухли свечи, я слышала в темноте, что многим не спится, — вздохи, переворачивания с боку на бок, цоканье четок Маргериты, — и уже стала сомневаться, удастся ли мне вообще выбраться из дортуара. Небольшой вытянутый кусочек неба в оконце над моей кроватью сиял пурпурной синевой — в августе в наших краях оно почти не темнеет, — вдалеке виднелась блеклая россыпь звезд и через болота доносилось мягкое дыхание прибоя. Неподалеку застонала Альфонсина, и мне показалось,

будто она смотрит прямо на меня. Может, это она во сне, а может, нарочно, чтобы притупить мою бдительность. Еще целый час эта мысль не давала мне покоя, пока наконец отчаяние не погнало меня вон. В конце концов, не могу же я ждать целую вечность, сказала я себе, а к утру, быть может, исчезнет моя последняя возможность бежать.

Стараясь дышать как можно тише, я встала и босиком прошла через дортуар. Никто не шевельнулся. Я тихонько сбежала по ступенькам и кинулась через двор, готовая в любую минуту услышать окрик за спиной; но во дворе было прохладно и тихо, лишь осколок луны криво освещал кирпичную кладку, темные окна.

Домик Лемерля был тоже темен, но я разглядела отблески пламени на потолке, и поняла, что он не спит. Я постучала; через несколько секунд он осторожно приоткрыл дверь и в изумлении уставился на меня. Он был в сорочке, в бриджах, вместо привычного облачения. По плащу, небрежно брошенному на стоявшее рядом кресло и грязным сапогам, я поняла, что и он зачем-то рыскал вокруг монастыря, но с какой целью, было неясно.

— Какого черта ты играешь с огнем! — зашипел он, втягивая меня в дом и запирая за мной дверь на засов. — Мало тебе, что я рисковал головой ради тебя?

— Положение изменилось, Ги. Если я останусь, мне, похоже, не избежать обвинений.

Я сказала ему о разговоре с Антуаной и о ее зловещем предложении. Рассказала, что нашла выход, про ипомею, про двадцать четыре часа.

— Понял теперь? Ты понял, что мне необходимо забрать Флер и бежать?

Нахмурившись, Лемерль покачал головой.

— Но ты должен мне помочь! — должно быть, от страха я уже перешла на крик. — Не вздумай, что я буду молчать, если меня обвинят! Я ничем тебе не обязана, Лемерль! Нисколько!

Он сел, небрежно закинув ногу в сапоге на ручку кресла. Гнев его прошел, теперь он казался усталым и — искренне, как мне показалось, — уязвленным.

— Как? — сказал он. — Ты все еще не доверяешь мне? Неужто ты считаешь, что я не вмещаюсь, что я позволю им выставить против тебя обвинения?

— Так уже бывало, разве не помнишь?

— Все в прошлом, Жюльетта. Я был наказан за это, поверь.

«Мало тебе!» — подумала я и невольно выпалила это вслух.

— Прости, но отпустить тебя я не могу, — припечатал он.

— Я не выдам тебя.

Молчание.

— *Клянусь, Ги!*

Он встал, положил руки мне на плечи. Внезапно я ощутила его запах, терпкий запах пота и влажной кожи его сапог, и то, что несмотря на мою рослость, я кажусь крошечной рядом с ним.

— Пожалуйста, — сказала я тихо. — Ведь я не нужна тебе.

Прикосновение его руки — как жаркое дыхание печи, пальцы перебирали волосы у меня на затылке.

— Поверь, — произнес он. — Нужна.

Лет десять назад я все бы отдала, только чтоб услышать эти слова. Чуть встревожило то, что оказывается где-то в глубине я все еще их ждала. Я прикрыла веки, чтоб прогнать наваждение. Я попала в западню. Неужто я его совсем не знаю? Кожа у него была гладкая, как в моих снах.

— В качестве кого? Заложницы в твоих играх с епископом?

Обеими руками я оттолкнула его от себя, но тело почему-то так и льнуло к нему, и так стояли мы, сплетясь; он свел пальцы у меня на затылке, они вырисовывали пламенные знаки на моих всклокоченных вихрах.

— Не так, — очень нежно сказал он.

— Тогда почему ты говоришь «нет»?

Он молча покачал головой.

— Почему, Лемерль? — вскричала я в гневе и отчаянии. — К чему эти загадки? Ради своей мести ты ставишь на кон обе наши жизни? И все потому, что кто-то выгнал тебя из Парижа? Из-за этого балета?

— Нет, Жюльетта! Это здесь ни при чем.

— Тогда что?

— Тебе не понять.

— Ты объясни, попробуй!

Должно быть это было какое-то колдовство. А может, безумие. Я сопротивлялась, царапала ногтями ему руки, и при этом так и льнула к нему, впиваясь губами в его губы, как будто готова вобрать его в себя целиком. В оглушительной тишине мы, он и я, сбросили с себя одежды, и я увидела, что его тело по-прежнему упруго и сильно, как и тогда, и меня поразило, с какой нежностью я вспоминаю каждую метку, каждый шрам, как будто все это — мое. Старое клеймо у него на плече змеиной чешуей серебрилось в лунном свете, и хотя мой внутренний голос упорно твердил, что я совершаю недопустимую ошибку, я едва могла расслышать его в реве собственных чувств. На какое-то время я стала больше чем плоть. Я была

— воспламененная сера, столб пламени, яростный, жадный, алчущий. Это было как раз то, от чего всегда предостерегал меня Джордано: подспудное дикарство моей природы, которое он так старательно подавлял, правда, без особого успеха. Тогда мне приходила мысль, что хоть Джордано и познал свойства природных веществ, в жизни существует куда более мощная алхимия, чем осваиваемая им: алхимия, которая охватывает плоть, сжигает прошлое и вновь, словно взмахом волшебной палочки, обращает ненависть в любовь.

Потом, когда пламя в нас иссякло, мы лежали в нежности, как любовники. Гнев мой прошел, новая истома охватила все мои члены, словно эти последние пять лет были всего лишь сном и ничем больше, неявной игрой теней на стене, как будто движением мальчишечьей руки в солнечном луче.

— Расскажи мне все, Лемерль, — проговорила я наконец. — Я хочу понять.

В свете месяца я увидела, что он улыбнулся.

— Это долгая история, — сказал он. — Если я расскажу, ты останешься?

— Расскажи! — повторила я.

Не переставая улыбаться, он начал свой рассказ.

8 августа, 1610

Что ж, пришлось ей кое-что поведать, в конце концов она и сама бы до всего додумалась. Жаль, что она женщина. Была бы мужчиной, я счел бы ее ровней себе. Как выяснилось, в моем распоряжении еще оставалось кое-какое оружие, и битва была даже сладка. Ее волосы пахнут жженым сахаром, ароматы теста и лаванды теплы на ее коже. Клянусь, в тот момент я был готов сдержать свое обещание. Едва наши губы слились, я почти верил, что так оно и будет. Я обещал, что мы снова пустимся в странствия; вместе взмоем в поднебесье. Элэ, возможно, взлетит снова — признаюсь, в этом я никогда не сомневался. Сладкие мечты, моя Крылатая. Сладкие мечты.

Ей хотелось сказки, и я рассказал ее теми словами, которые хотелось ей услышать. Возможно, рассказал даже больше, чем намеревался, убаюканный ее коварными ласками. Больше, возможно, чем следовало бы. Но моя Элэ — романтическая душа, готовая во всем видеть только добро. Даже в этом. Даже во мне.

— Мне было семнадцать. — Трудно такое представить! — Моя мать была из местных, отец — заезжий аристократ; я был нежеланный и непризнанный ребенок. По обычаю таких детей отдавали на попечение Церкви. Меня никто не спрашивал. Я родился неподалеку отсюда, близ Монтобана, и в пять лет меня отослали в монастырь, там-то я и изучил латынь и греческий. Наш аббат был человек слабый и мягкий; некогда он покинул высший свет, а через двадцать лет после того примкнул к ордену цистерцианцев. Но у него сохранились хорошие связи; и хоть он от своего мирского имени отрекся, оно некогда было весьма влиятельным. Монастырь, конечно же, благоденствовал под его руководством и был огромен. Я вырос в двойном окружении — как среди монахов, так и среди монахинь.

Рассказ почти правдив — имя другой главной героини стерлось в памяти, но я помню ее личико под послушническим покрывалом, прелестную россыпь веснушек на носике, глаза цвета жженого янтаря, с золотистым обводом.

— Ей было четырнадцать. Я трудился в саду, еще слишком юн, с еще

не выстриженной тонзурой. Она была озорница; все поглядывала насмешливо, пока я работал, на меня через стену.

Как я сказал, это полуправда. Было и еще кое-что, моя Элэ, более мрачные, неприглядные течения и противотоки, в которых тебе не так-то просто разобраться. В библиотеке я подолгу засиживался за чтением Песни Песней, пытаюсь не думать о ней, а мои наставники пристально следили за мною, предупреждая мои восторги.

Я нарцисс Саронский, лилия долин!

Даже после были для меня невыносимы ароматы этих цветов. Летний сад полон горьких воспоминаний.

— Какое-то время это была чистая идиллия.

Вот что хочет она услышать, сказку о соvertedной невинности, о попоранной любви. Трубадур для моей Крылатой милее пирата, несмотря на то, что коготки ее остры. Но эту историю, Жюльетта, с твоим сладким и безмятежным детством среди рисованных тигров, ты поймешь.

Для меня же идиллия обратилась своей темной стороной, запахи летних цветов были окрашены запахами моего одиночества, моей ревности, моей тюрьмы. Я пренебрегал занятиями; я нес наказания за малейший грех, который они во мне обнаруживали, в остальном же во мне зрели протест и томление. Вслушиваясь в звуки бегущей воды за стенами монастыря, я прикидывал, в какую сторону течет река.

— Стояло лето.

Пусть ты поверишь, что это была любовь. Почему бы и нет? Себя я почти убедил. Меня пьянил лунный свет, новые ощущения: ее локон, срезанный тайно и переданный мне в молитвеннике, примятая ее ножкой трава, ее запах, который я себе воображал, лежа на своем соломенном тюфяке, уставившись вверх на звезды в квадратном проеме...

Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник.

Мы встречались тайно в садах, окруженных стенами, обмениваясь стыдливymi поцелуями и знаками, будто любовники, давно поднаторевшие в таинствах любви. Мы были невинны... Даже я, в своем роде.

— Так больше продолжаться не могло.

Тут, моя Элэ, наши истории расходятся.

— Нас обнаружили вместе; видно, опьяненные восторгом запретных наслаждений, мы утратили осторожность...

Она, глупышка, вскрикнула. Они объявили это насилием.

— Я пытался все объяснить.

Я распустил ее длинные волосы; они свисали локонами до самой

талии. Под ее облачением я нащупал маленькие груди. Соломон удивительно сладкозвучно это описывает:

Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.

Откуда было мне знать, что она такая недотрога? Она закричала, и я заставил ее умолкнуть, прижав обе ее руки к телу, приложив ладонь ей к губам.

— Слишком поздно!

Они оттащили меня от нее, я вырывался. Клялся, что не виноват. Если кто и виноват, так это Соломон со своими двойнями серны. Моя монастырская розочка-пассия твердила, что невинна; что это я во всем виноват, что чуть ли не в первый раз меня видит, что никак меня не завлекала. Меня заперли в моей келье. Я написал ей записку, та вернулась ко мне нераспечатанной. Слишком поздно я осознал, что мы просто не поняли друг друга. Моей неуступчивой возлюбленной в мечтах являлся Абеляр, а вовсе не Пан.

— Три дня я просидел взаперти, ожидая приговора. Все это время никто не перемолвился со мной ни единым словом. Брат, приносивший мне еду, отворачивал при этом от меня лицо. Но, к моему изумлению, меня не морили голодом и не секли. Мое прегрешение было слишком серьезно, чтобы назначить обычное наказание.

Однако я всегда страстно ненавидел запертые двери, и заключение мое было тем более горько, что я ощущал ароматы сада, льющие из окна, и слышал звуки лета, доносившиеся из-за стен. Возможно, они бы выпустили меня, если бы я покался, но мое упрямое бесстыдство отсекало меня от них. Я не буду отрекаться от своих слов. Я не подчинюсь их суду. Да кто они такие, чтобы судить меня?

На четвертые сутки один мой товарищ изловчился передать мне записку, в которой сообщалось, что аббат обратился за советом к приезжему духовному лицу — одной уважаемой персоне знатного рода — в отношении того, какое наказание мне определить. Меня не слишком беспокоило это известие. Если бы пришлось, я вынес бы порку кнутом, хотя добрый аббат всегда был ко мне снисходителен и к подобным мерам прибегал редко.

Только к вечеру в тот день меня наконец вывели из моей кельи. Встревоженный, угрюмый и бесконечно измотанный, я стоял, моргая на ярком солнечном свете, когда аббат привел меня темным коридором в свой кабинет, где меня ожидал рослый высокопоставленный гость.

Он был в черной рясе приходского священника, поверх скромный плащ, на груди серебряный крест. Наш аббат был сед, а волосы гостя были

черны, как смоль, но лицо с такими же выдающимися скулами и светлыми, будто посеребренными глазами. Глядя на них обоих, стоявших рядом, не возникало никаких сомнений, что это два родных брата.

Некоторое время гость равнодушно меня разглядывал.

— Итак, отрок. Как имя твое?

— Ги, если вам угодно знать, святой отец!

Губы у него сжались, как бы в подтверждение, что сие ему вовсе не угодно.

— Ты избаловал его, Мишель, — бросил он аббату. — Я должен был это предвидеть.

Аббат не произнес ни слова, хотя это стоило ему некоторых усилий.

— Человеческую природу изменить нельзя, — продолжал незнакомец. — Но ее можно — и должно — подавлять. По твоему недосмотру юная девица была предана разврату, и честное имя нашего рода...

— Я не подвергал ее разврату, — вмешался я.

Это была правда; скорее она ввергла меня в разврат.

Гость взглянул на меня, как будто я нечисть какая. Я дерзко ответил взглядом на его взгляд, и его холодные глаза сделались еще холоднее.

— Он упорствует, — сказал гость.

— Он молод, — сказал аббат.

— Это его не оправдывает.

В очередной раз отказавшись признать свою вину, я был снова отправлен в свою келью. Я взбунтовался против очередного заключения под замок; вступил в драку с братьями, которых послали отвести меня, богохульствовал, сыпал ругательствами. Явился аббат меня урезонить, и я бы выслушал его, если бы тот был один, но с ним был его гость. И все взбунтовалось во мне, я не желал оправдываться перед этим человеком, который осудил и возненавидел меня с первого взгляда. Разозленный, выбившись из сил, я заснул; меня разбудили на рассвете, — я решил, что к заутрене, — меня вывели из кельи двое братьев-монахов, пряча от меня взгляды.

В монастырском дворе меня поджидал аббат, вокруг него полукругом стояли братья и сестры-монахини. Рядом с ним — тот самый священник, серебряный крест посверкивал в бледном свете утра, руки сложены на груди. Среди монахинь я разглядел свою маленькую послушницу, но она все время стояла, отворотившись от меня. На лицах я читал жалость, испуг и даже легкое злорадство; все, затаив дыхание, чего-то ждали. Затем аббат отступил в сторону, и я увидел, что скрывалось за его спиной. Жаровня,

нагретая кучей насыпанных сверху горящих углей так жарко, что походила на ярко-желтый цветок. И брата в толстых рукавицах, защищавших от жара руки и плечи. Он вытягивал из-под углей железный прут. Вздох — А-ах-х-х-х! — будто с затаенной радостью вырвался из толпы собравшихся. И тут заговорил гость. Я почти не помню, что именно он сказал; я был слишком поглощен тем, что происходило перед моими глазами. Я снова перевел взгляд на квадратное железное тавро, раскаленное до цвета твоих волос. Постепенно до меня начало доходить. Я рванулся, но меня удержали; один из братьев завернул мне рукав, обнажив руку.

И тут я публично покаялся. Из гордости или, в конечном счете, из глупости. Но было слишком поздно. Аббат отвернулся, скривившись; его брат подступил ко мне на шаг и что-то зашептал мне в ухо, и в этот момент железо свершило свое адское прикосновение.

Временами я горжусь изысканностью своей фразы. Однако есть вещи, которые невозможно в точности описать. Достаточно сказать, что я до сих пор чувствую, как все было. Слова, которые гость сказал мне в тот момент, зажгли во мне искру, она не затухает и по сей день.

Возможно, монсеньор, я ваш должник; в конце концов, вы сохранили мне жизнь. Но монастырская жизнь — это вовсе не жизнь, что и Жюльетта подтвердила бы вам, вне всякого сомнения, мне же освободиться от такой жизни было, возможно, настоящим подарком судьбы. Не скажу, что вы действовали, исходя из моих интересов. По правде говоря, вы сомневались, что я смогу выжить. Что я в жизни умел? Знал латынь, читал книги, был своенравен по природе. *Это-то* мне, в конечном счете, и помогло; вы желаете, чтоб я умер? Так нет же, буду жить вам назло. Еще тогда, как видите, я отличался наглостью. Вот так и родился Черный Дрозд, пронзительный и неукротимый, запускающий свою идиотскую песню в лицо всем тем, кто его презирает, опустошая их сады под самым их носом.

Прошли годы, и я под именем Ги Лемерля появился при дворе. Теперь мой враг звался епископ Эврё. Я мог бы предвидеть, что провинциальный приход надолго его не удержит. Монсеньору нужно было большее. Ему нужен был двор; мало того, он должен был стать ближе к уху короля. Вокруг Анри собралось слишком много гугенотов, монсеньору это было не по нраву. Это оскорбляло ваши нежные чувства. А какова будет слава для всего рода Арно — небесная и земная, — если удастся привести в стадо заблудшего венценосного агнца!

Раз обжегшись, дважды поостережешься. Но это не для меня. Второго такого случая я избежал, хотя был на грани. Я уже чувствовал еле

уловимую вонь жженого оперенья. Но на сей раз — мой черед. Говорят, Нерон тренькал на струнах перед лицом неотвратимой опасности. Какое жалкое, однако, зрелище он, верно, являл. Когда наступит мой час, уж я, черт побери, поприветствую монсеньора д'Эврё истинным оркестром.

Я был весь в поту. Рука неловко лежала у нее на груди. Та боль была осенена ароматами цветов. Это окрасило достоверностью мой рассказ, Жюльетта. Она смотрела на меня широко распахнутыми, полными жалости и сочувствия глазами. Остальное было просто. Чувство мести уж как-нибудь понятно нам обоим.

— Месть? — спросила она.

— Я хочу унижить его. — Думай, что говоришь, Лемерль. Отвечай так, чтоб она тебе поверила. — Я хочу вовлечь его в такой скандал, из которого даже огромное влияние не поможет ему выпутаться. Я хочу растоптать его.

Она резко повернулась ко мне:

— Но почему именно сейчас? Ведь прошло столько лет?

— Представилась возможность.

Это, как и остальное в моем рассказе, близко к реальности. Но мудрый человек предоставляет себе возможности сам, как первоклассный игрок сам вычисляет свою удачу. А ведь я, Жюльетта, игрок первоклассный.

— Одумайся, пока не поздно, — сказала она. — Из этого замысла, кроме вреда, ничего не выйдет. И для тебя, и для Изабеллы, и для монастыря. Неужто ты не можешь оставить все как есть и освободиться от прошлого? — И, потупившись, добавила: — Возможно, и я бы с тобой... Если ты решишь уехать.

Заманчивое предложение. Но я уже столько вложил в свой план, что назад пути нет. Я с искренним сожалением покачал головой, тихо сказал:

— Всего неделю. Дай мне неделю!

— А как же Клемент? Не могу же я бесконечно подпаивать ее?

— Тебе не стоит бояться Клемент!

Жюльетта подозрительно взглянула на меня:

— Я не позволю тебе причинить ей зло. Ни тебе, ни кому другому.

— Не стану. Поверь.

— Я не шучу. Ги! Если кто-нибудь пострадает — от твоей руки или по твоему указу...

— Доверься мне!

Почти непостижимо, чтоб я мог заслужить прощение. Однако ее улыбка говорит мне, что, к счастью, все может быть, как прежде. Ги Лемерль, — если бы я только им оставался, — мог принять такое

предложение. Через неделю уже будет слишком поздно; к тому времени на моих руках будет уже столько крови, и даже она уже не сможет простить.



9 августа, 1610

Воздух свеж, и на палитре ночи обозначились синевато-серые мазки мнимого рассвета. Скоро прозвонят к заутрене. Но голова моя слишком переполнена, не спится, в ушах по-прежнему звучат слова Лемерля.

Что это было? Колдовские чары, подсунутая мне во время сна дурманная пилюля? Неужто я сейчас и в самом деле ему поверила, неужто каким-то путем ему удалось вновь заполучить мое доверие? Беззвучно я ела себя поедом. Все, что я говорила, все, что делала, — все это только ради Флер. Что бы я ни обещала, это только ради нас с нею. А прочее — и я гнала от себя видения, где мы с Лемерлем снова в пути, снова друзья, возможно, любовники... Нет, этого не будет никогда. Никогда на свете.

Как бы мне хотелось раскинуть карты, но Антуана надежно их запрятала; мои поиски в ее постельном белье и в пекарне ни к чему не привели. И тогда я вспомнила о Джордано, попыталась расслышать его голос, несмотря на оглушительно бившееся сердце. Старый друг, сейчас, как никогда, нуждаюсь я в твоём умении здраво мыслить. Ничто не нарушит твой геометрически четко организованный мир — ни утрата, ни смерть, ни голод, ни любовь... Колеса, вращающие вселенную, не в силах сдвинуть тебя с места. Посредством чисел и точных вычислений ты способен узреть на миг сокровенные имена Всевышнего.

Кыш-ш-ш, прочь, прочь! Но мои заклинания беспомощны перед лицом величайшей магии. Нынче ночью, едва взойдет луна, я сорву розмарин и лаванду, чтоб просветлить мысли. Я составлю себе амулет из листков розы и морской соли, обвяжу красной лентой, схороню в кармане. Я буду думать о Флер. И глазами с ним больше не встречусь.

Клемент не явилась этим утром к заутрене, не было ее и на утреннем богослужении. Об ее отсутствии никто не обмолвился, но я заметила, что и сестры Виржини тоже не было ни в тот, ни в другой раз, и стала строить свои заключения. Значит, снадобье все еще действует. Интересно, как долго это продлится?

Мои мысли были так поглощены Клемент, что лишь спустя несколько часов я заметила, что и Альфонсина тоже отсутствует. Сначала я не придавала этому особого значения; в последнее время Альфонсина весьма сдружилась с сестрой Виржини и часто рядилась к ней в помощницы. К

тому же Лемерль так часто навещался в лечебницу, что этого было достаточно, чтоб Альфонсина то и дело торчала там.

Но к Часу Первому Виржини явилась одна и с известием: Клемент серьезно занемогла. Она впала в глубокий беспробудный сон, из которого ничто не может ее вывести, и с самого рассвета ее сотрясает лихорадка. Пиетэ, покачивая головой, стала уверять, что это, несомненно, холера. Антуана безмятежно улыбалась. Маргерита заявила, что все мы во власти чар, утверждая, что всем нам требуется епитимья, и посуровой.

Но этим неприятные новости не исчерпывались. Альфонсина уже в который раз опять занемогла. Правда, лихорадки у нее нет, но она сделалась бледная, точно мел, и всю ночь ее изводил сильный кашель. Пускание крови слегка успокоило кашель, но она все еще очень слаба и отказывается от пищи. Навестив ее, Мать Изабелла объявила, что Альфонсина не в состоянии исполнять свои обязанности, хотя та убеждала ее, что вполне здорова. Но, как сказала сестра Виржини, тут и недоумку ясно, что это у нее от *застоев крови* и если дурную кровь не спустить, больная может преставиться уже через неделю.

Это взбудоражило меня гораздо сильнее, чем известие о Клемент. Здоровье Альфонсины и так уже расшатано до крайности событиями и самоистязанием. Кровопускание и пост сведут ее в могилу гораздо быстрее, чем ее болезнь. Я сказала об этом сестре Виржини.

— Тебе бы лучше помалкивать, — ответила та. — На сестру Маргериту мое лечение подействовало весьма благотворно.

— Сестра Маргерита была на волосок от смерти. Кроме того, она поздоровей сестры Альфонсины. Легкие у нее чисты.

Виржини взглянула на меня с усмешкой:

— Уж если говорить о чистоте, *сестра моя*, оборотись-ка на себя.

— О чем ты?

— О том, что хоть вчера тебе и удалось вывернуться, но некоторые у нас считают, что твое *увлечение* всякими зельями и порошками вовсе не так безобидно, как думает отец Коломбэн.

После этого я уже не осмелилась больше предлагать свою помощь ни Альфонсине, ни в лечении Клемент. Слова Виржини были недалеки от истины, и хоть Лемерль говорит с усмешкой о возможной опасности, для меня все очевидней рискованность пути, на который я вступила. Виржини пользуется благосклонностью аббатисы; в чем-то они похожи, хотя бы тем, что обе много моложе всех нас. К тому же на меня Виржини всегда смотрела косо. Достаточно одной малости — пары слов, произнесенных Клемент, хотя бы в бреду, — и мне не избежать новых обличений.

Надо поговорить с Лемерлем, но его сегодня пока не видно, то ли он в лечебнице, то ли в своем кабинете, в окружении книг. Если я не ошибаюсь в свойствах растения, очень скоро лихорадка у Клемент пройдет и к ней вернется сознание. Все остальное зависит от Лемерля. Он дал понять, что сумеет удержать Клемент в узде; я его уверенности не разделяю. Он при всех предпочел защитить не ее, а меня; такие вещи женщина обычно не прощает.

Я плохо спала, меня изводили сны. Меня будил мой собственный голос, и мне было страшно открыть глаза: что если я снова заговорю и выдам себя. В домике Лемерля мерцает огонек. Я уже готова была отправиться к нему, но Антуана поднялась, чтоб отправиться в отхожее место в глубине дортуара; я замерла, лежа на спине с закрытыми глазами и делая вид, будто сплю. Она еще дважды за ночь поднималась с постели — очевидно, наш дрянной черный хлеб и суп плохо сказывались на ее желудке, — потому мы с ней обе вскочили по тревожному сигналу, прокатившемуся через двор из лечебницы.

Клемент наконец проснулась.



9 августа, 1610

Мы с Антуаной первыми вбежали в лечебницу. Не глядя друг на друга, мы понеслись по крытой аркаде в сторону обнесенного стеной сада и, уже подбегая, услышали истошные крики Клемент. В одном из окон был виден свет, мы кинулись туда, за нами вскоре последовали Томасина, Пиетэ, Бенедикт и Мари-Мадлен.

Лечебница состоит из всего одной комнаты, огромной и довольно душной. По одной стене ряд кроватей — их шесть, хотя еще достаточно места и для других. Кровати не отделены друг от друга перегородками, так что заснуть тут едва ли возможно среди вздохов и кашля и тихого плача тяжелых больных. Сестра Виржини сделала попытку изолировать Клемент; ее кровать стоит в дальнем конце комнаты, с одной стороны к ней приставлена ширма, так чтоб не бил в глаза свет и чтоб хоть как-то отделить нашу больную от прочих.

Альфонсина заняла позицию у двери, подальше от Клемент; я поймала ее взгляд, идя мимо: две горящих точки в темноте.

Аббатиса была уже там. Виржини с Маргеритой, которые, видно, и подняли тревогу по ее указанию, стояли рядом, в испуге и смятении. Лемерль — поодаль, величественный в своем черном облачении, поддерживая рукой свой серебряный крест. На кровати, с щиколотками, стянутыми вместе и подвязанными к деревянной раме двумя ремнями, раскинув руки, лежала Клемент. На маленьком столике при кровати валялся разбитый кувшинчик с водой; под кровать задвинут таз, от которого воняло. Лицо Клемент было белое, зрачки расширены так сильно, что голубоватая радужка почти не видна.

— Помоги сестре Виржини связать ей руки, — приказала аббатиса Маргерите. — А ты — да, ты, сестра Огюст! Принеси успокаивающую микстуру.

Я заколебалась:

— Я... может быть лучше, чтоб...

— Иди же, ты что, ополоумела? — прозвучал резкий гнусавый окрик. — Принести успокоительное, сменить белье. Быстро, быстро!

Что было делать? Избавиться от пагубных последствий семени ипомены можно только при пустом желудке. Но я подчинилась; через

десять минут я принесла слабый настой пустырника и чистое одеяло.

Клемент металась в бреду:

— Оставьте меня! Оставьте меня! — кричала она, высвободившейся левой рукой отмахиваясь от протянутой чашки.

— Придержите ее! — крикнула Мать Изабелла.

Едва Клемент открыла рот, чтоб закричать в очередной раз, сестра Виржини влила ей туда почти все содержимое чашки.

— Вот, сестра моя. От этого тебе полегчает, — сказала она громко, слегка заглушая вой Клемент. — Ну же, успокойся...

Но не успела Виржини договорить, как Клемент вырвало с такой силой, что рвотные потоки обдали стену палаты. Я внутренне содрогнулась. Виржини, которую также окатило, вскрикнула, и Мать Изабелла стукнула ее, как капризный ребенок в порыве злости свою няньку.

Клемент стошнило снова, на новом одеяле протянулся след слизи.

— Приведите отца Коломбэна! — хрипло выкрикнула она. — Приведите его скорее!

Лемерль, до этого стоявший молча и не двигаясь, приблизился, осторожно обходя рвотные лужицы на полу.

— Позвольте!

Хотя никто не мешал ему пройти. Все обернулись на его властный голос.

Приподняла голову и Клемент; повернулась к Лемерлю и тихонько заплакала.

Лемерль воздел свой крест.

— Отец мой!

На мгновение показалось, что ее помутившийся рассудок проясняется. Она проговорила хриплым шепотом:

— Вы говорили, что поможете мне... Вы говорили, что...

Тут Лемерль обратился к ней по-латыни, продолжая, как оружием, отгораживаться от нее крестом. Я узнала этот отрывок заклинания против нечистой силы, которое он, без сомнения, произнесет целиком, но только значительно позже:

«Praecipio tibi, quicumque es, spiritus immunde, et omnibus sociis tuis hunc Dei famulum obsidentibus...»^[54]

Клемент в ужасе воскликнула:

— Нет!

«Ut per mysteria incarnationis, passionis, resurrectionis, et ascensionis Domini nostri...»^[55]

Несмотря ни на что, я вдруг испытала чувство вины перед страдающей Клемент.

«*Per missionem Spiritus Sancti, et per adventum ejusdem Domini*»^[56].

— Умоляю, я не хотела, я никому не расскажу...

«*Dicas mihi nomen tuum, diem, et horam exitus tui, cum aliquo signo...*»^[57]

— Это все Жермена... она ревновала, хотела, чтоб я была только с ней...

Когда во время каких-нибудь обрядов или ворожбы Жанетта пользовалась снадобьями, она брала их по капле и то только после долгого периода раздумий. Клемент была к этому не готова. Я попыталась представить всю глубину ужаса, охватившего ее. Теперь наконец снадобье достигло финальной стадии. Скоро приступ пройдет, и она снова забудется сном. Лемерль осенил Клемент крестным знаменiem:

«*Lectio sancti Evangelii secundum Joannem*»^[58].

Но его полное равнодушие к ней, казалось, усилило ее жар. Она вцепилась зубами в его рукав, едва не выбив крест у него из рук.

— Я все расскажу им! — прорычала она. — Будешь гореть в огне негасимом!

— Глядите, она отпихнула крест! — проговорила Маргерита.

— Она больна, — сказала я. — Она в беспамятстве. Не ведает, что творит.

— Нет, это одержимость! — с горящими глазами упрямо трясла головой Маргерита. — В нее вселился дух Жермены! Ты разве не слыхала, что она сказала?

Не до пререканий было теперь. Мать Изабелла косо поглядывала на нас, ясно было, что она ловит каждое слово. Но Лемерль не смилостивился:

— Демоны, вселившиеся в эту женщину, назовите себя!

— Нет никаких демонов, — с плачем проговорила Клемент. — Вы же сами сказали...

— Назовите себя! — повторил Лемерль. — Приказываю вам! Во имя Отца!

— Я просто хотела... я не думала...

— И Сына!

— Прошу вас, не надо...

— И Святого Духа!

И тут Клемент сломалась.

— Жермена! — завопила она. — Мать Мария! Бегемот! Вельзевул! Астарта! Велиар! Саваоф! Иегова!

Захлебываясь рыданиями, отчаянной скороговоркой она выкрикивала эти имена, многие из которых были знакомы мне по книгам Джордано, а Клемент вне всяких сомнений заимствовала их из припадочных выкриков Альфонсины.

— Аид! Бельфегор! Маммона! Асмодей!

Лемерль опустил руку ей на плечо, но Клемент неистово вскрикнула и вырвалась от него.

— Одержимость! — снова прошептала Маргерита. — Смотрите, как ее корежит от прикосновения Святого Креста! Вон сколько дьявольских имен назвала!

Лемерль повернулся ко всем нам и сказал:

— Увы, утешить вас не могу! Вчера я был слишком слеп, не поверил, что причина ее болезни совсем в ином. Но теперь мы слышали это из ее собственных уст. Сестра Клемент населена нечистой силой.

— Позвольте, я останусь помочь ей!

Я понимала, что привлекать к себе внимание сейчас нелепо, но выносить это было выше моих сил. Пускай не сводят с меня глаз Виржини и стоящая за нею маленькая аббатиса.

Лемерль покачал головой.

— Мне надлежит остаться с нею одному.

Вид у него был усталый, рука, держащая крест, заметно подрагивала под его тяжестью.

— Каждая, кто останется тут, подвергнет душу свою большой опасности.

Не переставая рыдать, Клемент принялась читать «Отче Наш».

Лемерль отступил на шаг.

— Видите, как демоны испытывают нас? Ты назвал себя, демон, теперь покажи нам лицо свое!

При этих словах холодом подуло от дверей, взметнулось пламя свечей и светильников, освещавших комнату. Я инстинктивно обернулась; остальные — вслед за мной. За дверью в темном коридоре, вдали от света, падавшего из комнаты, замерла в нерешительности белая фигура. Очертания ее во мраке были неясны. Нечетким силуэтом она проплыла по коридору, тщательно стараясь не попасть в луч света, потому мы не разглядели ничего, кроме схожего с нашим облачения, да светлевшего кишнота, полностью скрывавшего лицо.

— Нечестивая Монахиня!

Выхватив у Виржини светильник, я ринулась вперед, зажав маленький светоч в руке. Маргерита взвизгнула, ухватив меня за рукав. Я увернулась и

сделала несколько шагов по коридору, освещая себе путь.

— Кто ты? — выкрикнула я. — Покажись!

Нечестивая Монахиня обернулась, и я успела заметить под облачением черные чулки. Руки также были в черных перчатках. И тут она кинулась бегом по коридору, легко и быстро ускользая от света.

Кто-то у меня за спиной нетерпеливо спросил:

— Что ты видала?

Еще кто-то потянул меня за плат, за плечо. С некоторым усилием я вырвалась, отбиваясь от рук, пытавшихся отнять у меня светильник. Когда я снова обернулась в коридор, видения и след простыл.

— Сестра Огюст! Что ты видала? — спросила Изабелла, вцепившись в меня мертвой хваткой.

При близком рассмотрении она выглядела ужасно, маленькие яркие прыщи алели вокруг рта и носа. Жанетта прописала бы ей прогулки на свежем воздухе и физические упражнения. *Свежий воздух и солнце*, приговаривала она, и ее знакомое кудахтанье звучало у меня в ушах. *Самое лучшее для растущей девчонки. Потому я такая красавица и по сей день.* Если бы Жанетта была сейчас рядом со мной.

— Так все-таки, сестра Огюст, что же ты видела? — вежливо спросил Лемерль с легкой насмешкой, которая была заметна лишь мне одной.

— Я?.. — мой голос явно дрожал. — Точно не могу сказать...

— Сестра Огюст вечно сомневается, — сказал Лемерль. — Видно, даже сейчас она не верит, что в сестру Клемент вселились демоны.

Я упрямо смотрела на пламя светильника, не смея обернуться, только чтоб не видеть эту улыбку.

— Сестра Огюст! — пронзительно воззвала Изабелла. — Немедленно сообщи нам. Что ты там видела? Это была Нечестивая Монахиня?

Медленно, неохотно я кивнула. Меня тут же закидали вопросами. Почему я кинулась следом? Почему остановилась? Что именно я там увидела? Была ли кровь на ее головном уборе? А на манишке? Лицо разглядела?

Я пыталась ответить каждой. Если ложь неизбежна, я буду лгать. С каждым произнесенным словом я все сильнее запутывалась в сетях Лемерля, но выбора у меня не было, как не было сил сопротивляться. Я лгала по неизбежности. Ибо в момент, когда видение обернулось ко мне, оказавшись со мной лицом к лицу, так близко, что мы почти касались друг дружки в полумраке коридора, я узнала Нечестивую Монахиню. Мою любимую подружку. Распахнутые глазки с золотым ободком смотрели на меня с каким-то веселым лукавством. Будто это всего лишь игра, где на кон

поставлена пригоршня блестящих камешков.

Все встало на свои места. Ее простодушие было ей заслоном. Ее немота служила отличным прикрытием. И лишь я одна расслышала тихий птичий смешок, когда видение улетучилось во тьме; еле слышное курлыканье, которое никто больше не способен в точности воспроизвести.

Я узнала эти звуки, эти глаза.

Перетта.

Часть четвертая

Перетта

10 августа, 1610

Пока все идет хорошо. Но еще осталось одно дело, притом весьма деликатное. В моем распоряжении до его приезда всего пять дней, между тем нити моего ажурного плетения все чаще перекручиваются и путаются. Клемент прикована к кровати в лечебнице; она молчит, но, подозреваю, это долго не продлится. Я провел немало часов у ее постели, Виржини помогала мне, держа наготове ладан и святую воду. Острая игла, которую я прячу в рукаве, обеспечивает нам с Клемент взаимопонимание на заключительной стадии действия лекарства; с четкостью хирурга я колю ее иглой, если от нее требуется вопль или сквернословие, а в бреду она не способна отличить боль мнимую от реальной, произведенной скрытым орудием.

С особой серьезностью я провозгласил, что в Клемент вселилось две с половиной сотни демонов. Большую часть оставшихся мне утренних часов я провожу в своей библиотеке, погруженный в чтение некоторых трактатов по данному предмету, потом выкраиваю немного времени до полудня, чтобы составить список демонических имен. Каковой я зачитываю Клемент медленно, отчетливо, в то время как Виржини пялится, в благоговении разинув рот, а обреченная девица на кровати корчится в мольбах.

Я знал, Жюльетта откажется выдать очередную порцию ипомены, поэтому сам запасся ею в достаточной мере для неотложного случая. И на исходе дня, когда я замечаю, что Клемент начинает приходить в себя, возникает необходимость повторения процедуры. Знаю заранее, Элэ этого не одобрила бы. Но как она сможет мне помешать?

Разумеется, мессу пришлось отменить. Я «тружусь» в своих апартаментах, где под обложкой «Молота ведьм» прячу «Максимы» Аристотеля. Полагаю, службы без моего участия протекают скучно, но я разыграл перед ними, будто бы страшусь повторения безумств и плясок во время мессы.

Между тем Маргерита дежурит у постели Клемент и, невзирая на строжайшие мои запреты, чтоб наружу не просочилось ни единого слова о том, что происходит, распространяет чудовищные слухи собственного сочинения по всему монастырю. Разумеется, все это моя идея, и слухи, желанные, как всякий запретный плод, распространяются быстро, ширятся,

обрастают новыми красками и разлетаются повсюду, как семена одуванчика.

Основное огорчение мне доставляет Жюльетта. Пожалуй, то, что она обнаружит, кто такая на самом деле Нечестивая Монахиня, было неизбежно, но все же меня это несколько тревожит. Дурочка, как мне донесли, — ее подружка, и Жюльетта к ней очень привязана. Чего не скажешь о самой дурочке, ее легко прикупить за любую безделушку, при том что в молчании ее можно не сомневаться. Но если Жюльетта раскроет все мои замыслы...

Глупо, конечно. Перетта — примитивное создание, недоразвитое, в ней сообразительности не больше, чем у дрессированной мартышки. Мне не сразу удалось укротить ее — в сущности, пришлось потратить пару бессонных ночей в крипте, чтобы излечить ее от дурацкой боязни темноты, — но теперь она липнет ко мне с преданностью спаниеля, подставляет скругленные ладошки, ждет угощений. Имею крайнее искушение, когда уберусь отсюда, прихватить Перетту с собой. Я бы стольким премудростям мог ее обучить. А Жюльетта... но о Жюльетте думать мне нельзя. К воскресенью она познает мое вероломство во всей его глубине, и тогда уж никакой надежды на прощение для меня не будет. Перетта же дело другое. При ее невежестве она все удивительно быстро схватывает. Ловкость и увертливость дается ей шутя. Она может неслышно, как тень, проскользнуть в спальню, и ни единая душа при этом не проснется. Она бежит быстро, как ветер, лазает по деревьям, точно белка, способна свернуться комочком и спрятаться в крохотной щели. Можно было бы даже обучить ее плясать на канате. Безднадежно искать в ней подобие Элэ, но, возможно, усердно поработав...

Можно выкрасить ей личико ореховым соком и выдавать за дикарку из Канады. На этом можно неплохо заработать.

Да, Перетту пощадить можно, остальных не стоит жалеть.



10 августа, 1610

Конечно, после того, что я увидела в лечебнице, я поспешила разыскать Перетту. Это было утром, после Часа Первого. Мы все отправились к своим обязанностям чуть позже обычного, так как аббатиса уединилась со своим духовником, и мы сочли, что в режиме вышло некоторое послабление. Как и ожидала, я нашла Перетту в хлеву, где мы держали скот. Она прихватила с собой немного черствого хлеба, и за ней по пятам носились куры, утки и рябые цыплята. Перетта вопросительно уставилась на меня.

— Перетта!

Она улыбнулась светло, радостно, указывая на птиц. Вид у нее был такой счастливый, такой невинный, что мне как-то сразу расхотелось заговаривать про то утреннее столкновение. Но все же я взяла себя в руки.

— Бог с ними, с курами, Перетта. Я видала тебя сегодня рано утром в лечебнице.

Она взглянула дерзко, склонив набок голову.

— Я видала, как ты претворялась Нечестивой Монахиней.

Перетта издала ухающий звук, заменявший у нее смех.

— Это не смешно. — Я положила руки ей на плечи, развернула лицом к себе. — Может случиться большая беда.

Перетта покрутила подбородком. В чем-то она достаточно сообразительна, но стоит начать фразу словами «может», «могло бы», «возможно», и она тут же теряет интерес.

Я говорила медленно, терпеливо, используя простые слова, которые она знала.

— Перетта. Послушай. Скажи мне правду. — Она улыбнулась, но было непонятно, поняла она или нет. — Скажи, Перетта, сколько раз ты уже... — Нет, так не пойдет. — Перетта! Ты раньше тоже играла в эту игру?

Она кивнула и радостно заговорила.

— А скажи, это отец Коломбэн попросил тебя сыграть в эту игру?

Снова кивок.

— А... отец Коломбэн не сказал, зачем ему, чтоб ты в нее играла?

Тут возникла загвоздка. Перетта слегка задумалась. Потом повела

плечиком и протянула мне грязную ладошку. В ней лежало что-то маленькое, коричневое. Кусок сахара. Она опустила глаза, лизнула его, осторожно спрятала обратно в карман.

— Сахар? Он дает тебе сахар, когда ты играешь в эту игру?

Перетта снова повела плечиком. Затем, нащупав что-то на шее, она вынула крохотный медальон, который на моих глазах пару недель тому назад забрал у нее Лемерль. Теперь медальон висел на шнурке, Кристина Чудотворная улыбалась с яркого эмалевого диска.

И снова я продолжала медленно, настойчиво:

— Значит, Перетта, ты играешь в игру для отца Коломбэна. — Перетта с улыбкой перевела головку справа налево. Медальон сверкнул в луче солнца.

— Но зачем ему, чтоб ты в это играла?

Полоумная девочка пожала плечами, поворачивая медальон в руках, ловя солнечный лучик. Я с трудом сдерживала нетерпение:

— Все-таки, Перетта, *почему* он тебя попросил? Он не сказал, почему?

Снова недоуменный жест. Казалось, жест говорил: какая разница, если он дает сахар и всякие сладости? Я легонько встряхнула ее:

— Перетта! То, что ты делаешь, скверно.

У нее появилось озадаченное выражение, она отрицательно замотала головой.

— Очень скверно! — повторила я с легким нажимом. — Ты не виновата, но все равно это очень скверно. Отец Коломбэн поступил дурно, заставив тебя в это играть.

Перетта недовольно скривила губки и сделала жест, будто хочет вырваться. Я удержала ее.

— Ты помнишь Флер? — внезапно спросила я. — Ты помнишь, что они увезли отсюда Флер?

Возможно, она забыла? Прошел уже почти месяц после исчезновения Флер, и Перетта вполне могла позабыть про свою маленькую подружку. Мгновение она хмурила лоб, потом вдруг по-особому подняла руку вверх, так она обычно обозначала девочку.

— Это ведь отец Коломбэн увез отсюда Флер, — сказала я. — С виду он очень ласковый, он дарит тебе подарки. Но поверь, Перетта, он дурной человек, и я должна знать, что он задумал!

Я опять произнесла это слишком громко; волнуясь, я сжала ее плечо. Ее взгляд потух, и это означало, что я слишком поспешила; что все потеряно.

— Перетта, взгляни на меня!

Но поздно. Перетта уже меня не слушала. Она перевела взгляд на кур. Негодуя на себя за поспешность, поворачиваясь, чтоб уйти, я видела, как она, вытянув вперед руки, присела в пернатом окружении, окунувшись по пояс в белое, бурое, рябое, золотистое, зеленовато-красное оперение кудахчущих птиц.



11 августа, 1610

Весь вчерашний день я пыталась поговорить с Лемерлем, но он избегает меня, мне же никак нельзя привлечь к себе внимание. Прошлой ночью дверь его оказалась заперта, света не было. Возможно, он был в лечебнице, но туда я зайти не осмелилась. Клемент по-прежнему, как сказала мне Антуана, внятно говорить не может, и периоды летаргического сна чередуются у нее с бессонницей в неистовом полубреду. В такие моменты ее надо держать, прижав к матрацу, иначе она может покалечиться. Она нередко рвет на себе рубашку, оголяется, с силой толкает бедра вверх, словно под демоном-любовником, оседлавшим ее. В такие моменты она обычно визжит и стонет в диком восторге или царапает лицо в припадке отвращения к себе. Лучше ее привязывать, хотя она молит, чтоб ее развязали, бьется головой из стороны в сторону и весьма метко плюет в каждого, кто подходит близко.

Меня к ней не пускают. Антуану тоже убрали из лечебницы, но Виржини осталась и ухаживает за одержимой Клемент. Все это Антуана рассказывает мне со злорадным удовлетворением: Клемент, как видно, обезумела, и уже, верно, разум к ней не вернется. Так утверждает Виржини. Антуана рассказывает, глазки сузились, злобные. Она напросилась помогать в лечебнице, стирает одеяла, варит бульон для безумной, куда, можно не сомневаться, добавляет очередную порцию ипомеи.

Прелестная Клемент утратила всю свою прелесть, говорит Антуана уже по-иному, вкрадчиво: личико теряет красоту, она то и дело раздирает его ногтями; волосы выпадают, на голове проплешины. Меня тянет зайти к Клемент, хотя бы успокоить или сказать, глядя прямо в ее обезображенное лицо, что в этом нет моей вины...

Что это изменит? Рука Антуаны травит ее этим зельем, но зелье ведь дала ей я. И поступила бы точно так же, повторись все сначала. Лемерль, хитро держась в стороне, это понимает. Вновь открыл он во мне черную бездну, открыл мою темную суть, то, на что я оказалась способна в глубинах своих.

Ведьма не имеет права на жизнь.

Эти слова произносил Джордано на своем родном древнееврейском, в котором *ведьма* означает *отравительница*.

Что бы сейчас сказал Джордано о своей ученице...

12 августа, 1610

Как и ожидалось, у меня все идет по плану. Мать Изабелла по-прежнему покорна — пока. Большую часть времени проводит в молитвах, неприметная в своем разбредшемся стаде. Доступ к Клемент ограничен, ибо даже мне не всегда удается подпаивать девчонку, и ее бредовое состояние ухудшается с каждым днем.

Я же между тем нагоняю на свою ученицу страхи некоторыми познаниями и чушью, почерпнутыми мной из разных книг, как священных, так и нечестивых. Под видом успокоения ее страхов я мастерски подпитываю их всякими небылицами и выдумками. Наш мир полон ужасов: сожжения, отравления, колдовство и злые чары — так это зовется, и отец Коломбэн это знает, и он отлично умеет воплотить все эти ужасы наяву. Жизнь, полная разнообразия, не может не послужить отличным подспорьем для такого рода обманов; в конце-то концов разве не познакомился я на одном из вечеров у мадам де Севинье с Жаном Бодэном, знаменитым законником, хоть и был изрядно утомлен его пространными рассуждениями. Остальное я заимствовал из великих придумок истории. Из Эсхила, Плутарха, из Библии... Клемент и сама не подозревает, что демонические имена, которые она выкликает в своем бреде, по большей части не что иное, как забытые имена Бога, обретшие новую жизнь в виде богохульств в ее истерзанном сознании.

Моя ученица много дней почти не спит. Глаза запали, покраснели. Рот бледен, точно шрам. Порой я вижу, как она следит за мной, думая, что я не замечаю. Интересно, подозревает ли она. В любом случае, вмешиваться поздно. Одной порции ипомены, получаемой Клемент, было бы достаточно, чтоб подавить зреющий бунт моей ученицы, но я прибегну к этому лишь в случае крайней необходимости. Пусть бунт внезапно обрушится на Арно. Положит конец его надеждам. Как неизбежность.

По иронии судьбы моя ученица единственное для себя утешение и отраду видит теперь в предстоящем воскресенье, с нетерпением ожидая Праздника в честь Пресвятой Девы. Теперь, когда наш монастырь утратил еретическое название Мари-де-ля-Мер, мы можем рассчитывать в нашем плачевном состоянии на благоволение Богоматери. По крайней мере, Изабелла так думает; и молится с удвоенным рвением. Я меж тем занят

нашей духовной защитой, готовлю множество латинских заклинаний и обеспечиваю ладан в огромных количествах. Чтоб никаким дьявольским силам не проникнуть в наш монастырь в сей священный день.

Жюльетта явилась ко мне в мое жилище ранним утром. Я подозревал, что она может прийти, и был готов. Приподнял голову от скопища книг, встретился с ней взглядом. Она казалась такой надменной в свежем крахмальном льняном плате, снаружи ни единого локона, чтобы смягчить абрис бледного, застывшего лица. Это по поводу Перетты, устало сказал я себе; мне надо соблюдать осторожность.

— Жюльетта? Неужто солнце встало? С тобой ко мне ворвался свет!

По выражению ее лица я понял, что сейчас не время для лести.

— Оставь! — Голос был резок, но скорее, по-моему, от нетерпения, чем от злости. — Ты должен оградить Перетту от всего этого. Она не понимает, как это опасно. Ты сам рискуешь, если ее разоблачат! — Я продолжал молчать. — Послушай, Лемерль, разве ты не видишь, что она совсем ребенок!

Ага, вот в чем дело. Материнские чувства. Я сделал попытку увильнуть.

— Изабелла не слишком здорова, — сказал я вкрадчиво. — Пока она отдыхает у себя, я могу устроить так, чтоб ты — и Антуана — смогли улизнуть ненадолго. Отнести корзинку со съестным, скажем... бедному рыбаку и его семье?

Мгновение она смотрела на меня с жадным блеском в глазах. Потом качнула головой:

— Как это похоже на тебя, Лемерль, — сказала она устало. — Ну, а что же будет здесь в монастыре во время моего отсутствия? Очередное видение? Очередная служба с танцами? — Снова качнула головой. — Я знаю тебя, — тихо проговорила она. — Ничто не бывает у тебя просто так. Тебе потребуется что-то взамен, потом еще что-нибудь, потом...

— Милая, — перебил я ее, — ты заблуждаешься в отношении моих намерений. Я предложил это, заботясь только о тебе, ни о чем больше. Ты, Жюльетта, для меня не опасна. Теперь и ты влипла не меньше, чем я.

Она вскинула подбородок:

— Я?

Но в глазах ее я прочел страх.

— То, что ты молчишь, уже доказывает твою вину. Ты ведь узнала Нечестивую Монахиню. А про историю с колодцем ты что, забыла? А про отравление Клемент? Ну, а что касается данного тобой обета целомудрия...

Я специально заставил эту фразу повиснуть в воздухе.

Она молчала, щеки у нее пылали.

— Ты уж поверь, — продолжал я, — обвинение в колдовстве можно предъявить тебе за любое из этих прегрешений. А время, когда ты могла мне чем-то навредить, мы уже упустили. Ни одна живая душа не поверит ни единому обвинению в мой адрес.

Она понимала, все так и есть.

— Я незыблем, как скала, — сказал я. — Как якорь во время шторма. Я вне всяких подозрений.

Наступила долгая тишина.

— Надо было мне вовремя воспользоваться случаем, — сказала Жюльетта.

Резкий тон не соответствовал ее взгляду; в нем я даже уловил восхищение.

— Ты бы не посмела, милая.

Глаза ее говорили, что и это она понимает.

— Перетта оказалась мне в последнее время весьма и весьма полезна, сказал я. — Она проворна — почти так же, как и ты, Жюльетта, — и она сметлива. Знаешь, она ведь тогда спряталась в крипте, когда вы впервые лицезрели Нечестивую Монахиню. Пока вы там рыскали, она все время там пряталась, схоронившись за одним из гробов.

Жюльетта вздрогнула.

— Но уж если ты так переживаешь за нее, что ж, может быть... — Я изобразил некоторое колебание. — Хотя нет. Нет, Жюльетта, она пока мне нужна. Я не могу отказаться от нее. Даже ради тебя.

Она ухватила наживку.

— Ты сказал, «может быть»...

— Нет, невозможно!

— Ги!

— Да нет же! Лучше бы я этого не говорил.

— *Прошу тебя!*

Ее просьбам я всегда не в силах был отказать. Возбуждающая сладость, случается редко. Я нарочно тянул, чтобы продлить удовольствие.

— Ну, хотя, если...

— Что?

— Вот если бы ты согласилась вместо нее...

Так! Ловушка захлопнулась, мне даже показалось, будто я слышал щелчок.

Какое-то время она обдумывала мои слова. Она не глупа. Она

оценивает возможности для маневра. Но тут еще ее ребенок...

— Флер вовсе не увозили на материк, — кротко сказал я. — Я поселил ее в семье всего в трех милях отсюда. Ты могла бы повидаться с ней хоть через час, если только...

— Больше никого травить я не стану, — отрезала Жюльетта.

— В этом нет необходимости.

Она начала сдаваться.

— Если я соглашусь, — спросила она, — ты клянешься, что оставишь Перетту в покое?

— Разумеется!

Я горжусь своим умением делать честные глаза. Изображать правдивый, открытый взгляд человека, который в жизни никогда не передернул ни единой карты и не утяжелял игральные кости. Поразительно, но после стольких пройденных лет это срабатывает.

— Три дня, — поспешил я заверить ее, чувствуя сопротивление. — Всего три дня, до воскресенья. И все прекратится. Обещаю.

— Три дня, — как эхо, повторила она.

— После этого Флер вернется к тебе навсегда, — сказал я. — И все у тебя будет по-прежнему. Ну или... если хочешь... можешь уехать со мной.

Глаза ее блеснули — упреком или страстью, я не понял, — но она промолчала.

— Разве это уж так немило тебе? — спросил я осторожно. — Снова отправиться в странствия? Снова быть Элэ, вернуться в свою прежнюю жизнь? — Я понизил голос почти до шепота. — В которой ты так нужна мне?

Она молчала, но я чувствовал, как что-то в ней смягчилось, едва, но мне этого было вполне достаточно. Я провел пальцами по ее щеке.

— Три дня, — повторил я. — Что может произойти за эти три дня?

Надеюсь, достаточно много.



12 августа, 1610

Как и обещал Лемерль, Флер ждала меня милях в трех от монастыря. Лачуга солевара, почти вросшая в землю, с крышей, крытой дерном, стены, покрытые белой штукатуркой, скрыта от глаз зарослями тамариска. Я, должно быть, сотни раз проходила мимо и ее не замечала. За лачугой лохматый пони щипал траву; рядом — деревянная клеть, где копошилось полдюжины кроликов. Вокруг солончаковые канавки образовывали нечто вроде неглубокого рва, в нем на привязи — пара плоскодонок; на них подплывали к полю. У самого края воды в камышах застыли цапли; в длинной сухой траве стрекотали цикады.

На этот раз Лемерль меня не сопровождал, понимая, что бросить Перетту я не смогу. Вместо себя в качестве стража он направил со мной Антуану, глядевшую хитрым прищуром соучастницы из-под пропитанного потом плата. Неужели мы с ней одного поля ягода? Отравительница и убийца, рука об руку, как неразлучные подруги.

Я жадно прижала Флер к себе, как будто хотела, чтоб мы слились в одно, чтобы больше никогда не разлучаться. Кожа у нее нежная, загорелая, неправдоподобно темная под выгоревшими на солнце волосами. Она стала пугающе хороша собой. На ней ее красное платье, теперь ставшее ей немного коротко, на коленке свежая ссадина.

— В воскресенье, — шепчу я ей в ухо. — Если все будет хорошо, я приду сюда в воскресенье. Жди меня в полдень здесь, у зарослей тамариска. Никому ни слова. И чтоб никто не узнал, что я приду.

Конечно же Лемерль обманул меня. Возвращаясь после встречи с Флер, я почувствовала по тяжелому запаху ладана и горящих свечей, что он снова принялся за свое. Снова во время мессы были пляски, лихорадочно поведала мне сестра Пиетэ, еще неистовей, чем прежде; в ответ на мои расспросы, она рассказала, как все пришли в экстаз, что в нее саму вселился дух сладострастия, поведала про вопли и звериный вой, издаваемый несчастными, которых повергли на колени полчища демонов, вырвавшихся наружу в ярости перед Святым Причастием.

Со слезами на глазах Пиетэ рассказала еще и про сестру Маргериту, как несмотря на все свои моления она не смогла удержаться и пустилась в пляс, и плясала, пока не содрала ноги в кровь, и про отца Коломбэна, как он

очищал огнем нечистый воздух, как боролся с силами зла, пока вдруг сам не пал на колени в стремлении повергнуть их в прах.

Мать Изабелла сейчас при нем, рассказывала Пиетэ. Едва дьявольское наваждение стало покидать честное собрание, едва монахини силой его голоса стали освобождаться от своего безумия и начали поворачиваться друг к дружке в изумлении и растерянности, отец Коломбэн, закатив глаза, пал на колени, страницы *Ritus exorcizandi*^[59] посыпались у него из рук. И тут начался общий переполох. Потерянные, охваченные паникой монахини толпой кинулись ему на выручку, убежденные, что он сам поддался силам Тьмы.

Но он просто выбился из сил, пояснила Пиетэ. К облегчению монахинь, отец Коломбэн сумел сам подняться на ноги, с обеих сторон поддерживаемый верными овцами своего стада. Воздев дрожащую руку, он объявил, что нуждается в отдыхе, и позволил перенести себя в свой домик, где он отдыхает и по сей час в окружении книг и предметов святости, обдумывая новые пути, как избавиться от злосчастий, обрушившихся на нас.

Видно, спектакль получился отменный. Наверное, это лишь репетиция к премьере, которая состоится в воскресенье, но отчего Лемерль подстроил это снова в мое отсутствие? Может ли быть, что, несмотря на все его бодрые заверения, он опасается, что я могу что-то обнаружить? Может ли быть, что есть в его спектакле некий акт, который Лемерль хочет скрыть от моих глаз?



13 августа, 1610

Альфонсина публично признана одержимой. До сих пор считалось, что в нее вселилось пятьдесят пять демонов, но отец Коломбэн клянется, что гораздо больше. Ритуал изгнания нечистой силы не может быть завершен, пока каждый демон не будет назван поименно. Стены его домика увешаны списками, к которым он все время добавляет все новые и новые имена. Также и Виржини побледнела и спала с лица, и несколько раз видали, как она ходит мелкими кругами вокруг огражденного стеной сада, что-то бормоча себе под нос. Стоит сказать ей, чтоб остановилась и передохнула, она поднимает взгляд, полный ужасающей невозмутимости, лепечет «нет-нет» и снова продолжает свое бесконечное кружение. По слухам, еще немного, и ее тоже объявят жертвой нечистой силы.

Сегодня Мать Изабелла не выходит из своих комнат. Ее одержимость Лемерль отрицает, но с такой малой долей уверенности, что многие из нас уже убеждены в обратном. Рядом с часовней поставили жаровню с горящими углями, по верху мы разбросали ладан из святилища и всякие отпугивающие нечисть травы. Пока это предохраняет нас от очередных нападков. Другая жаровня поставлена перед лечебницей, и еще одна у монастырских ворот. Пока запах свеж, он приятен, но очень быстро он становится кисловатым, и воздух, уже наполненный духотой, повисает пыльной завесой в раскаленном белом небе.

Что касается видения, то Нечестивую Монахиню видали дважды сегодня и трижды вчера, раз в дортуаре, дважды в крытой аркаде и еще пару раз в саду. Никто пока что не отметил, что Монахиня значительно прибавила в росте, и никто и внимания не обратил, какие крупные следы оставляет она в огороде. Возможно, теперь такие мелочи не представляют для нас большого значения.

Остаток дня мы провели в праздности, примерно так, как было после смерти старой Матушки-настоятельницы. Мать Изабелла хворает, Лемерль читает мудрые книги, и, лишенные направляющей руки, мы снова впадаем в привычное состояние, с нарастающей тревогой и страхом возвращаемся мыслями к событиям прошедшей недели. Наш никем не управляемый корабль несет на скалы, и мы не в силах его остановить, и только распространяем сплетни, да лихорадочно присматриваемся каждая к себе.

Сестра Маргерита драит уже начисто вымытые полы дортуара, стирая в кровь колени. Потом начинает с усиленным рвением отмывать свою же кровь, пока ее не отправляют снова в лечебницу на осмотр. Сестра Мари-Мадлен лежит на кровати, хнычет, жалуясь на зуд между ног, который не утихает, сколько ни расчесывай. Антуана покинула пределы лечебницы — теперь там содержалось уже четыре страдальцы, привязанные к кроватям, и шум от них, утверждает она, сводит ее с ума. Она потчевала меня ужасающими подробностями, вне всякого сомнения щедро приукрашенными для пущего эффекта. Вопреки себе самой я слушала.

Сестра Альфонсина, говорила Антуана, тяжело больна. Дым от жаровни не только не прочистил ей легкие, но, пожалуй, еще усугубил ее состояние. Сестра Виржини считает это признаком одержимости, ибо у несчастной кровохарканье значительно усилилось, несмотря на заботы Виржини и постоянные посещения Лемерля.

Что до сестры Клемент, докладывала Антуана, вот уже три дня она отказывается от еды и почти не пьет воду. Она так ослабела, что едва двигает рукой, лежит, уставив остекленевший, невидящий взгляд в потолок. Шевелит губами, но все без толку. Смерть будет ей желанным избавлением.

— Скажи, Антуана, что она тебе сделала? — невольно вырвался у меня вопрос. — Какое зло причинила она тебе, что ты так ее ненавидишь?

Антуана взглянула на меня. Внезапно мне вспомнился тот единственный миг, когда она показалась мне красавицей: густая копна иссиня-черных волос, высвободившаяся из-под платя, округлые розовые плечи, мягкая линия шеи, — в тот момент, когда Лемерль потянулся за ножницами. С тех пор она неузнаваемо изменилась. Лицо будто высечено из базальта, бесстрастное, безжалостное.

— Тебе никогда этого не понять, Огюст, — сказала она с легким презрением. — Ты по-своему старалась быть со мной добра, но тебе не понять.

Мгновение она пристально смотрела на меня, упершись руками в бока.

— Куда тебе! У тебя это всегда ловко получалось. Мужчины, глядя на тебя, находили для себя то, чего хотели. Привлекательное. — Она улыбнулась, но улыбка не осветила, а скорей погасила ее лицо. — Я же вечно была ломовая лошадь, жирная квашня, слишком тупая и глухая к их насмешкам, слишком добродушная в глубине души, не способная их за то возненавидеть. Для них я была не более чем кусок мяса, подходяще теплая, чтоб мимоходом ощупать; пара ног, пара сисек, губы да круглый живот — вот и все. А для женщин всегда оставалась дурехой, не способной удержать мужика, такой тупой, что даже...

Она резко оборвала себя.

— Какая мне была разница, кто отец, — продолжала она, помолчав. — Даже имени не спросила. Ребенок был только мой и больше ничей. Никто даже не заподозрил, что у жирной квашни внутри что-то есть. Пузо у меня всегда было круглое. Сиськи всегда налитые. Я думала, рожу, и никто не узнает; возьму и схороню, чтоб никто не отнял. — Внезапно ее взгляд сделался жестким. — Кроме него я в жизни ничего не имела. Он был целиком мой. И он нуждался во мне, ему было все равно, толстуха я или дуреха. — Она взглянула на меня. — Тебе должно быть известно, как это, в одиночку. Не воображай, что я поверила в твою сказку, Огюст. Дура — дурой, а сразу смекнула: из тебя такая же богатая вдовушка, как из меня. — Она улыбнулась без злости, но и без особого тепла. — Есть ребенок, неважно — был отец, нет ли. И никого, чтоб подсказать, как быть дальше; ну, а если и нашелся, разве б ты послушала? Ведь так?

— Так, Антуана.

— Мне было четырнадцать. У меня был отец. Братья, тетки и дядья. Все сразу решили, что со мной можно не считаться. Они все решили сами, я и слова сказать не успела. Сказали, что я не сумею позаботиться о своем ребенке. Сказали, перед людьми стыда не оберусь.

— И что же?

— Хотели отдать ребеночка моей кухне Софи. Меня даже не спросили. У Софи уже своих было трое, хоть ей всего восемнадцать. Чтоб она моего воспитала вместе со своими. А скандал скоро все позабудут. Посмеются и только. Надо же! Жирная дуреха ребеночка заимела! Ах ты, Господи, кто ж отец-то? Или слепой?

— И что же?

— Взяла я подушку, — задумчиво и негромко проговорила Антуана. — Положила своему ребеночку на головку. Сыночку своему, на его нежную, темную головку. И ждала. — Она улыбнулась с диковатой нежностью. — Никому он не был нужен, Огюст. Он был единственное, что у меня в этой жизни было. Иначе для себя сохранить его я не смогла.

— А Клемент при чем? — проговорила я почти шепотом.

— Я все ей рассказала, — ответила Антуана. — Мне показалось, она другая. Думала, поймет. А она посмеялась надо мной. Она, как все... — И снова улыбка, и снова на мгновение перед глазами возникла темная ее красота. — Но это все пустое, — сказала она с некоторым злорадством. — Отец Коломбэн пообещал...

— Что пообещал?

— Это моя, только моя тайна, — замотала она головой. — Моя и отца

Коломбэна. Не собираюсь тебя в нее посвящать. Скоро, кстати, и сама узнаешь. В воскресенье.

— В воскресенье? — Меня затрясло от нетерпения. — Антуана, что он тебе сказал?

С нелепым кокетством она склонила голову набок:

— Он мне обещал. Все те, кто смеялся надо мной... Все, кто выставял меня на посмешище, накладывал на меня епитимью за чревоугодие... Не будет больше измышательств, не будет позора для бедняги сестры Антуаны, дурехи сестры Антуаны. В воскресенье возгорится пламя.

Сказав это, она умолкла и, не сказав больше ни слова, сложила на груди руки и с леденящей душу ангельской улыбкой отвернулась.

14 августа, 1610

На рассвете она нашла меня в часовне. На этот раз я был там один. Там сладковато пахло ладаном после ночной службы, скудный свет просачивался сквозь пелену висящей в воздухе пыли. В сладостных мечтах я на миг прикрыл веки, мысленно вдыхая жаркий дымный чад и вонь паленой плоти... Нет, монсеньор, на сей раз не моей. Не моей!

Как они у меня запляшут! Эти рясы, эти девственницы, эти ханжи! Что за спектакль получится! Какой захватывающий, дьявольский финал!

Ее голос вывел меня из грез, от которых меня почти потянуло в сон. Что ж, уже три ночи я не смыкаю глаз.

— Лемерль!

И в беспамятстве узнал бы я этот голос. Я открыл глаза.

— Моя гарпия! Ты неплохо потрудились для меня. Должно быть, с нетерпением ждешь завтрашней встречи с дочкой.

Три дня назад, возможно, этот прием бы и сработал. Но сейчас она пропустила мои слова мимо ушей, стряхнув с себя, как собака с шерсти воду.

— У меня был разговор с Антуаной.

А! Жаль. Давно подозревал, что моя пухлая последовательница не слишком тверда. Похоже на нее, сболтнуть, не задумываясь о последствиях. Ах, Антуана, такая верная прислужница, но без особого царя в голове.

— Да что ты? Уверен, беседа с нею тебя обогатила?

— Вполне. — Блестки в глазах вспыхнули. — Что происходит, Лемерль?

— Ничего, что могло бы вызвать твое беспокойство, моя Крылатая!

— Если ты замышляешь причинить кому-то зло, я не позволю тебе этого сделать.

— Стал бы я лгать тебе?

— Разумеется, стал бы.

Я повел плечами, воздел кверху руки:

— Прости ей, Боже, ее обидные слова. Что еще сделать мне, чтобы ты мне поверила? Я сохраняю Флер в безопасности. Я уже ничего не хочу от Перетты. Я считал, что завтра ты сбежишь с мессы, подхватишь девочку и — в путь, пока я тут закончу все свои дела, и, может быть, мы встретимся

на материке и...

— Нет! — отрезала она.

Я начинал терять терпение;

— Тогда в чем дело? Чего ты еще от меня хочешь?

— Я хочу, чтоб ты объявил всем о приезде епископа.

Такого я не ожидал; что говорить, Крылатая моя, ты нащупала мое слабое место.

— Как, испортить такой сюрприз?

— Нам уже достаточно всяких сюрпризов.

Я провел по ее щеке кончиками пальцев.

— Жюльетта, все это уже не имеет никакого значения. Завтра мы будем пить вино из серебряных бокалов где-нибудь в Порнике или в Сен-Жан-де-Монт. У меня уже отложены деньги; мы можем начать все сначала, соберем новую труппу; все, что ты пожелаешь...

Но улестить ее было невозможно.

— Объяви на собрании капитула, — отрезала она. — Сделай это сегодня же вечером, Ги, или я сама это сделаю.

Что ж, теперь реплика за мной. Как ни приятно мне играть с тобою в паре, милая, но я никак не ожидал этого во время финальной сцены. Я обнаружил Антуану у колодца — это место так и притягивает ее с того момента, как была повешена Жермена, — и она тотчас отреагировала на сигнал, которого ждала всю последнюю неделю. Пожалуй, не так уж она туго соображает, как я считал, ибо лицо ее озарилось от явного удовольствия перед таким заданием. В этот миг она уже не казалась ни тупой, ни безобразной, и мне даже слегка стало как-то не по себе. Но она по-прежнему беспрекословно подчиняется мне, а это — самое главное. Она лишена угрызений совести и по крайней мере прекрасно понимает, что такое месть.

Нет, право, Жюльетта! Ты всегда была простодушна, несмотря на всю твою ученость. Должны ли мы что-либо кому-либо, кроме себя самих? Чем мы обязаны Создателю, восседающему на золотом троне и выносящему всякому свой приговор? Я *просил* его, чтоб он создал меня? Просили ли мы все, чтоб нас, как игральные кости, кинули в этот мир? Оглянись вокруг, сестричка! Что такое он для тебя сделал, что ты держишься за него? Кроме того, ты уже научена жизнью никогда не играть против меня; в конце концов я неизбежно выиграю.

Я знал, она будет ждать до самого капитула. И, зная это, нанес удар первым я, вернее, Антуана, не без помощи сестры Виржини. Как я слышал,

это было волнующее представление — прозорливость привела их к твоему тайнику, и там и было обнаружено припрятанное: карты Таро, яды и запачканный кровью *кишот* Нечестивой Монахини. Ты могла бы воспротивиться, но куда тебе против силищи Антуаны; по распоряжению аббатисы тебя отвели в погреб и заперли там до принятия решения. Мгновенно полетели слухи.

— Выходит, она...

— *Одержимая?*

— Ее уличили?

— Нет, не может быть, Огюст не...

— Я всегда знала, что она...

И общий вздох чуть ли не удовлетворения, взметнувшийся шепот — шу-шу-шу-шу-шу — со злорадством, с хлопаньем ресниц и потупившимися глазками — ну прямо как в парижском салоне! У этих монашек оказалось больше женских ухваток, чем у гарнизона светских жеманниц, использующих для завоеваний ложную скромность. Их желание источает запахи вялых лилий.

Мой голос прозвучал весомо:

— Выдвинуто обвинение! Если это окажется правдой, значит, мы... мы с самого начала пригрели на груди своей, в рядах своих содомскую блудницу.

Слова легли им на душу. *Содомская блудница*. Неплохая роль для *tragédie-ballet*^[60]. Я видел, как их всех корежит от едва скрываемого восторга.

— Она соглядатальствовала, высмеивала наши ритуалы, тайно состоя в сговоре с силами, которые стремятся погубить нас!

— Я поверила тебе, — сказала ты, когда я вел тебя к двери в погреб.

Ты плюнула мне в лицо, и вцепилась бы в него ногтями, если бы сестра Антуана не втолкнула тебя внутрь и не заперла накрепко дверь.

Я утер висок батистовым платком. Сквозь щель в двери на меня сверкали твои глаза. Невозможно было в тот момент сказать тебе, почему я тебя предал. Нельзя было объяснить, что это, возможно, единственное средство, которое сохранит тебе жизнь.



14 августа, 1610

Я даже растерялась вначале. Комната — кладовая, примыкающая к погребу, мгновенно превращенная в камеру, впервые со времени черных монахов, — была так похожа на погреб в Эпинале, что на миг мне показалось, не сон ли все последние пять лет; мой разум пытался подхватить, как рыбу на крючок, ускользающее сознание, подтягивая леску к себе, к себе, пока не вырвется на поверхность понимание: что это.

Одних карт Джордано достаточно, чтобы утвердить их в подозрениях. Теперь я уже жалела, что в свое время без должного внимания отнеслась к предостережениям карт: и к Отшельнику с его еле уловимой улыбкой и фонарем, прикрытым плащом; к Двойке Чаш, любви и забвению; к Башне в огне. Время близится к вечеру, и в кладовке темно, лишь на задней стене несколько узких полосок солнечного света из вентиляционных щелей; до них не достать, слишком высоко, да и в любом случае они слишком узки, о побеге нечего и мечтать.

Слез не было. Может быть, что-то во мне ожидало подобного предательства. Даже сказать не могу, чтобы щемило сердце или чтобы я испытывала страх. Эти пять лет выработали во мне душевное спокойствие. Невозмутимость. Я думала только о том, что завтра в полдень Флер будет ждать у зарослей тамариска.

Ныне помещение вернуло себе изначальное предназначение. Некогда черные монахи отбывали епитимью в таких камерах, лишенных солнечного света, пищу проталкивали им в небольшую прорезь в двери; здесь все было пропитано затхлым духом молений и греховности.

Я не стану молиться. Да и не знаю я, кому мне молиться. Моя Богиня — святотатство, моя Мари-де-ля-Мер канула в море. Здесь до меня доносится шум прибоя, его проносит через болота западный ветер. Вспомнит ли она обо мне, моя девочка? Не забудет ли с годами мое лицо, как храню я в душе облик своей матери? Может, она будет расти нежеланным ребенком среди чужих людей? Или, может, что еще того хуже, полюбит чужих, как родных, будет благодарна им и счастлива, что избавилась от меня?

Что толку теряться в догадках. Пытаюсь вернуть свое хладнокровие, но образ дочки не дает мне покоя. Щемит сердце, когда вспоминаю ее

прикосновение. Снова обращаюсь я к Мари-де-ля-Мер. Чего бы это мне ни стоило, обращаюсь к ней снова. Моя Флер. Доченька моя. Эта молитва не из тех, что принял бы Джордано, но все же это молитва.

Черные четки времени ведут счет бесконечным секундам.



14 августа, 1610

Наверное, я задремала. Темнота и шелест приборя убаюкали меня, и я слегка вздремнула. Передо мной зримо вставали Жермена, Клемент, Альфонсина, Антуана... Серебристое пятно змеиной кожи, шрам на плече Лемерля, его улыбающиеся глаза.

Верь мне, Жюльетта.

Красное платье дочери, ее содранная коленка. То, как она смеялась и хлопала в ладоши, глядя на бродячих актеров в пыльном солнечном свете тысячу лет тому назад. Очнувшись, я увидела, что полосы солнечного света высоко на стене побагровели, значит, солнце близится к закату. Я прикинула, должно быть, начинало вечереть. Чувствуя, несмотря ни на что, себя бодрее, я поднялась и огляделась. В комнате по-прежнему чуть пахло уксусом и соленьями, которые здесь раньше хранились. Посреди разбитая банка из-под пикулей, под ней на земляном полу еще осталось растекшееся пятно, приятно отдающее чесночным духом. Я оглядела пол, не блеснет ли где кусочек стекла, оставленный по недосмотру и в спешке. Но ничего не обнаружила. По правде сказать, я не очень понимала, что я с ним буду делать, если б оно даже и нашлось. Я содрогнулась при мысли, что на этом земляном полу моя кровь смешается с вылившимся из банки с пикулями уксусным раствором и алоэ. Я принялась ощупывать стены моей камеры. Они были каменные, из прочного местного серого гранита, в котором на солнце вспыхивают крапинки слюды, но во мраке он казался почти черным. Мои пальцы в полутьме нащупали какие-то короткие зарубки на камне, будто отметины, выдолбленные через интервалы в граните: пять полосок, затем аккуратная крестообразная выбоина, пять полосок, еще крест. Кто-то из братьев, должно быть, пытался таким путем отсчитывать время, покрыв полстены рядами вертикальных и перекрещивавшихся дней и месяцев своих.

Я подошла к двери. Она была, конечно же, заперта; тяжелые деревянные панели скреплены железными скобами. Люк, должно быть, служил для подачи пищи. Я прислушалась у двери, но не услышала ничего, что говорило бы о приставленном у дверей страже. В самом деле, к чему? Я под надежным замком.

Дневной свет таял, постепенно превращаясь в багровеющую мглу.

Глаза, привыкшие к сумраку, по-прежнему различали очертания двери, сумеречную бледность вентиляционных щелей, груды мешков из-под муки, брошенных в угол, уготовленных в качестве постели, деревянное ведро в дальнем углу. Без плата — его с меня сняли, когда вели сюда, а также сорвали крест с моего облачения, — я ощущала себя как-то непривычно, существом из другого времени. Но прежняя Элэ была стойкой и отличалась в подсчете времени той же быстротой, с какой моряк прикидывает возможность приближения шторма, а не ждала покорно, как пленница, часа своей казни. Несмотря ни на что, необходимо было собраться с силами, пустить их в ход, правда, каким образом, я еще не знала.

Странно, что никто не пришел, не заговорил со мной. Странней всего, что не явился Лемерль — для того, чтобы оправдаться или чтобы выразить свое торжество. Пробило семь часов. Восемь. Должно быть, сестры собираются к вечерне.

Не этот ли ход событий он задумал? Чтоб убрать меня со сцены, пока его роль — какова бы она ни была, — не будет полностью сыграна? Была ли я все еще ему опасна? И если да, то чем? Из раздумий меня вывело какое-то дребезжание за дверью. Щелчок: как будто открылся подглядывающий глазок, затем стук, что-то бросили внутрь и оно, шумно подпрыгивая по твердому полу, замерло. В глазке света не было видно, и я не услышала никакого голоса, когда металлическая задвижка снаружи снова задвинулась. Я стала ощупывать земляной пол в поисках закинутого предмета, и наконец не без труда обнаружила деревянную тарелку, с которой скатился кусок хлеба.

— Постой! — я поднялась с тарелкой в руках. — Кто здесь?

Молчание. Но не слышно и удаляющихся шагов. Значит, тот, кто пришел, стоит за дверью, ждет и слушает.

— Антуана, это ты?

Из-за металлического люка я различила женское дыхание. Пять лет, проведенные в одном дортуаре, научили меня распознавать сестер по тому, кто как дышит. Это отрывистое, астматическое не могло принадлежать Антуане. Я поняла, что это Томасина.

— Сестра Томасина?

Я угадала. Послышался тихий вскрик, явно приглушенный рукой.

— Поговори со мной! Расскажи, что происходит!

— Нет, я... — Голос едва слышен, тоненький всхлип из темноты. — Я не выпущу тебя!

— Успокойся, — зашептала я. — Я и не прошу об этом.

Молчание. Потом снова плачущим голосом:

— Что тебе надо? Я... мне не разрешено с тобой разговаривать. Мне нельзя... смотреть на тебя.

— А то что? — ехидно спросила я. — Я превращусь в муху и вылечу в дырочку? Или нашла на тебя бесенка и он вселится в тебя?

Она снова захныкала.

— Поверь, — сказала я, — если бы я была способна на такое, неужели я все время торчала бы тут?

Молчание. Она переваривала мои слова.

— Отец Коломбэн зажег жаровню. Демонам не пробиться сквозь дым. — У нее перехватило в горле. — Я больше не могу тут стоять. Я...

— Подожди!

Но было поздно. Я услышала, как шаги ее замерли в тишине.

— Черт подери...

Но все же для начала неплохо. Лемерль захотел меня упрятать, он перепугал беднягу Томасину до такой степени, что она даже не осмеливается разговаривать со мной. Что же такое он хочет скрыть? И от кого — от епископа или от меня?

Я принялась расхаживать по своей камере, заставляя себя съесть хлеб, принесенный Томасиной, хоть он был черств, да и голода я вовсе не испытывала. Я услышала, как прозвонил колокол к последнему ночному богослужению. У меня есть, возможно, часов шесть. Что делать? Расхаживая взад-вперед, я задавала себе один и тот же вопрос. Вырваться нет никакой возможности, пусть даже никто не сторожит меня снаружи. Помощи ждать не от кого. Никто не осмелится послушаться отца Коломбэна. Если только... нет! Если бы Перетта хотела прийти, она бы уже давно пришла. Я утратила подружку в тот день у хлева, ей дорожке Лемерль с его подачками. Это смешно, но именно она, как никто другой, сможет мне помочь. Тогда ясные глазки с золотым обводом были пусты, как у воробушка, безжалостны, как у ястреба. Нет, она не придет.

Как вдруг что-то заскреблось у двери. Тихо-тихо. И раздался приглушенный звук, будто соенок заухал.

— Перетта!

Луна вошла; сквозь вентиляционные прорези лился серебряный свет. В отблесках его на моих глазах чуть приоткрылась дверная прорезь, и я увидела в щели блестящие глазки Перетты.

— Перетта!

Радость накатилась с такой силой, что я едва устояла на ногах. Со всех ног я ринулась к ней.

— Ты принесла ключи?

Полоумная девочка замотала головой. Я придвинулась ближе к люку, так чтобы дотронуться до ее пальчиков сквозь щель. В лунном свете ее кожа казалась призрачно-сизой.

— Нет? — Я едва сдерживала волнение при всем своем разочаровании. — Перетта, где они? — Я старалась говорить как можно медленней. — Где ключи, Перетта?

Она повела плечами. Потом красноречивым жестом их выпрямила, правой рукой широко обведя вокруг своего личика: Антуана.

— У Антуаны? — с жадностью спросила я. — Ты говоришь, они у Антуаны?

Она кивнула.

— Послушай, Перетта, — я произносила слова ясно и четко. — Мне нужно выбраться отсюда. Мне нужно... чтобы ты... принесла ключи. Сможешь?

Она непонимающе смотрела на меня. В отчаянии я уже не могла сдерживаться, я громко взмолилась:

— Перетта! Ты должна мне помочь! Помнишь, что я тебе сказала... помнишь Флер? — Я уже плохо понимала, что говорю, в неукротимом желании достучаться до нее. — Мы должны предупредить епископа!

При слове «епископ» Перетта резко дернула головку в сторону и загукала. Я уставилась на нее:

— Ты знаешь про епископа? Ты знаешь, что он приезжает? Тебе отец Коломбэн об этом сказал?

Снова ухающий звук. Перетта расплылась в улыбке.

— Он говорил тебе, что... — Нет, не так надо спросить. Я постаралась подобрать слова попроще: — Завтра ты уже в другую игру играешь? Новая шутка? — От волнения кулаки у меня сжались, ногти впились в ладони, косточки затрещали. — Надо подшутить над епископом?

Полоумная девочка издала зловещий хохоток.

— Какая шутка, Перетта? Какая это шутка? Какая?

Но она уже отворачивалась от меня, видно, потеряв интерес, внимание ее переключилось на какую-то иную мысль или тень, или звук, головка повернулась на один бок, на другой, как будто подчиняясь неведомому ритму. Одна рука медленно поднялась, чтобы задвинуть засов.

Цок!

— Перетта, *прошу* тебя! Вернись!

Но ее и след простыл — ни единого звука, ни даже чуть слышного крика, ни взмаха рукой на прощанье. Уткнув голову в колени, я разрыдалась.



15 августа, 1610. Всенощная

Должно быть, я снова задремала, потому что, когда очнулась, лунный свет померк, превратившись в зеленоватую мглу. В висках стучало, суставы затекли и тело пробирало холодом, ходивший по ногам ветер повергал в дрожь. Сначала я потянулась руками, потом вытянула ноги, растерла пальцы, чтобы восстановить кровообращение, и настолько была увлечена этим занятием, что сперва даже не придавала значения сквозняку, которого прежде не чувствовала.

И вдруг увидала. Дверь была чуть приоткрыта, мглистый свет проникал в мою камеру. У входа стояла Перетта, приложив руку к губам. Я вскочила на ноги.

Она отчаянно прикладывала руку к губам, призывая меня ступать тихо. Показала ключ в ладошке, шлепнула себя по боку, затем изобразила неуклюжую походку Антуаны. Я беззвучно захлопала в ладоши.

— Умница! — прошептала я и пошла к двери.

Но вместо того, чтобы позволить мне выйти, Перетта отчаянно замахала руками, чтобы я пустила ее внутрь. Скользнув мимо меня, она захлопнула за собой дверь и уселась на полу.

— Нет, Перетта! — попыталась я ей объяснить. — Нам надо сейчас же уходить, пока они не обнаружили, что нет ключей.

Полоумная девочка замотала головой. Держа ключи в одной руке, другой она сделала несколько молниеносных движений. Потом, увидев, что я не понимаю, повторила их помедленней и с плохо скрываемым нетерпением.

Серьезное выражение лица, большой крест. Отец Коломбэн.

Крест крупнее. Быстрая веселая мимическая сценка: верхом на лошади, одной рукой поддерживает митру, чтоб от ветра не упала с головы. Епископ.

— Так. Епископ. Отец Коломбэн. Что дальше?

Она сжала кулачки и заухала с досады.

Толстая женщина, переваливающаяся походка. Антуана. Снова отец Коломбэн. Потом мимическое изображение сестры Маргериты, дергающейся в танце. Потом сложная мимическая картинка, как будто все время хватается за что-то огненное. Потом жест, которого я не поняла, руки

в стороны и будто готова взлететь.

Перетта повторила это с еще большим нажимом. И все равно я не поняла.

— Что это, Перетта?

Снова изображение полета. Потом молчаливая гримаска: показывает муки ада внизу, под взмахами крыльев. Потом снова жест с отдергиванием рук от огня, при этом Перетта понюхала носом воздух и сморщила носик, как будто от зловония.

И тут я, кажется, начала понимать.

— Это костер, Перетта? — неуверенно спросила я с растущей тревогой.

Перетта радостно заулыбалась, показывая мне сжатые кулачки.

— Он хочет зажечь еще один костер?

Перетта замотала головой и показала на себя. Потом указала на крышу, широкий жест, обвела монастырь, включив себя и всех, кто в нем. Потом снова поза полета. Затем она извлекла из-под облачения медальон с Кристиной Чудотворной и настойчиво принялась тыкать пальцем в чудотворную девственницу в кольце огня. Я смотрела на Перетту во все глаза, до меня наконец-то начало доходить.

Она улыбалась.



Заутреня

Теперь вам ясно, почему я не могу сбежать.

План Лемерля оказался куда более мерзок, куда более жестоким, чем я могла ожидать — даже от него. С помощью жестов, ухающих звуков, мимики и рисунков на земле, Перетта мне все объяснила, то и дело смеясь, то и дело в своей непосредственности теряя интерес, отвлекаясь на мерцающий кусочек слюды в граните или на выкрик ночной птицы за стенами. Она была такая простодушная, милая моя Перетта, моя мудрая дурочка; она совершенно не подозревала о жутких последствиях одолжения, которое Лемерль у нее попросил.

В этом состоял единственный его просчет. Он недооценил мою Перетту, считая, что она целиком в его власти. Но маленькая дикарка не принадлежит никому, даже мне. Перетта — как птица, которую можно научить, но невозможно приручить; стоит на миг перчатке скользнуть с руки, она ударит клювом.

Хотя бы сейчас я привлекла ее внимание. Я могу лишиться его в любой момент, но Перетта — мое единственное оружие в попытке измыслить свой собственный план. Не знаю, хватит ли у меня ума тягаться с Черным Дроздом. Но я уверена, я должна попытаться. Ради себя, ради Флер. Ради Клемент и Маргериты. Ради всех, кого он погубил, оболгал, сделал калеками, над кем надсмеялся. Ради всех тех, кого он пичкал желчью своей души, тем самым отравляя.

Возможно, я иду навстречу своей смерти. Я готова к этому. Если я справлюсь, это может стать гибелью для него. И к этому я готова.

*Первое утреннее богослужение*

Перетта снова заперла меня в моей камере. Просто потому, что пока это самое безопасное место. Надеюсь, что Флер все поймет, если мой план сорвется, — и надеюсь, что Перетта помнит свою роль. Надеюсь... надеюсь... Кажется, все теперь сошлось в этом слове, в этих трех хрупких слогах, весь крик одинокой птицы; на... де... юсь...

За стенами птичий гомон. Издали, хоть и тише, чем вчера, слышится шум прибоя, накатывающего на западный берег острова. Где-то вспенивающиеся буруны неустанно катят статую Мари-де-ля-Мер по ровному песку к берегу и обратно, полируя, размывая слой за слоем, и со временем ничто не напомнит, кем был этот базальт. Впервые в жизни я так остро ощущала время, — то, что нам осталось, его ход, его приливы.

Только что кто-то подергал дверь и, убедившись, что она заперта, удалился. Меня охватила дрожь при мысли, что было бы, если б Перетта ее не заперла. Мой завтрак — кусок хлеба и чашка с водой — был просунут в прорезь, и едва я подтянула его к себе, дверца тотчас захлопнулась, как от чумы. От воды исходил резкий запах, будто кто-то капнул туда нечистоты, и, хоть меня мучила жажда, к воде я не притронулась. В ближайший час станет ясно, оправдаются мои надежды или нет.

Если только она не забудет. Если Лемерль ничего не заподозрит. Если я еще что-то умею. Если мое копье попадет в цель.

Если...

Перетта, не подведи!

Первая утренняя служба

Уже с вечера сестры заняты приготовлениями к нынешнему утреннему празднику. Все обложено цветами, сотни высоких белых свечей зажжены в часовне, алтарь покрывает вышитая хоругвь, которая, как мне сказали, относится ко времени, когда черных монахов и в помине не было, и которую используют исключительно ради такого дня. Святая часовенная реликвия, фаланга перста Пресвятой Девы в золотой раке, выставлена на обозрение, так же как и торжественные облачения и одежды Пресвятой Девы. Новая Святая Мария облачена в голубое с белым одеяние, ну и, как водится, у ног белые лилии. Этот запах я учую за сотню шагов, несмотря на понаставленные перед всеми дверьми жаровни, в которых, несмотря на зной, курятся благовония и сандал, чтобы отгонять черные мысли. Помимо этого по стенам развешаны факелы, и повсюду приношения со всякими обетами. Пространство наполовину подернуто дымкой, и поэтому свет из витражных окон словно загустел, и в нем искрятся драгоценными камнями разноцветные блики.

Я тайно наблюдал с той стороны дамбы, как приближается кортеж епископа. Даже издали слепили глаза яркие краски — прискорбно, что он по-прежнему нуждается в такой пышности и показном блеске. Это свидетельствует о гордыне, с которой он и по сей день не совладал, что человеку духовного сана вдвойне не пристало. Ливрейная рать, позолоченная сбруя сверкает на солнце... Ничего, очень скоро я порядком подпалю вашу мишуру, но сперва мы с ним, он и я, исполним короткую сарабанду. Я так долго, с таким нетерпением ждал этого момента.

Ну да, он упустил отлив. Я это предвидел; неспроста я столько времени следил за передвижениями туда и сюда по этой дамбе. Он рассчитывал прибыть к нам вчера вечером, до вечерни, но на нашем побережье прилив меняет направление через одиннадцать часов. Правда, на той стороне имеется гостиница; удобно расположенная на такой случай. Должно быть, он в ней и заночевал, — вне всякого сомнения кляня чурбана, который ввел его со временем в заблуждение. Отлив начался в семь. Даю ему два часа, чтоб добраться до монастыря, уже все готово. Если повезет — и не подведет некая толика здравомыслия, — он прибудет как раз тогда, когда наступит пора начать мою маленькую комедию.

Не спорю, песенку Черного Дрозда в два счета можно оборвать. Но только не такому ряженому пугалу, как вы, монсеньор. Обещаю, уж этот спектакль вы демонстративно не покинете. Какая жалость, что моя Элэ не сможет присоединиться к нам в финале, но тут уж, я полагаю, ничего нельзя изменить. И все же очень жаль; она бы непременно его оценила.

Час Первый

Настало время; к моменту моего появления все уже собрались в часовне. Даже моих хворых бедняжек привели, чтоб поприсутствовали, — правда, на всем протяжении долгой службы им было разрешено сидеть и на колени вставать их не обязывали. Перетта, разумеется, отсутствовала, но на это особого внимания не обратили; ее появления и исчезновения всегда были спонтанны, и никто ее особенно не хватился. Отлично. Надеюсь, она запомнила свою роль. Крохотную рольку, но прелестную. Буду весьма огорчен, если она не сумеет ее надлежаще исполнить.

— Дети мои!

Как отлично я их выдрессировал; блестящими глазками сквозь пары ладана они смотрели на меня, как будто во мне едином их спасение. Мать Изабелла стояла справа от меня, близко от жаровни; в дымке ее лицо казалось пепельно-серым.

— Сегодня празднуем мы самый священный и самый дорогой нашему сердцу из всех святых дней. Праздник Святой Богоматери.

Гул пробежал по пастве, вылившийся в А-а-аххх! радости и счастья. Но сквозь гул различил я, как застучали по шиферной крыше первые капли дождя; наконец-то он к нам пришел. Это исключительно сочеталось с моими планами. Подумать только, до чего кстати в моем замысле явление грома небесного. Возможно, Господь обеспечит его к нужному времени, тем самым доказав, что и ему чувство иронии не чуждо. Но я уклонился. Вернемся же к Святой Деве, пока она не утратила всю свою свежесть. На чем я остановился?

— Богоматери, которая с небес взирает на нас в окружении темных сил. Святой Девы, которая утешает нас в дни невзгод, которая чиста, как голубь, как белая лилия, — красиво поешь, Лемерль, — прощение и сострадание которой безгранично.

А-а-ах-х-х! Не зря мы используем этот язык любви для совращения подобных глупых девственниц; амвонная риторика до неприличия сходна с риторикой спальни, подобно тому как наиболее любопытные разделы Библии перекликаются с бесстыдством античного мира. Теперь я играл на этом родстве слов, что было им прекрасно известно, сулило восторги, выходящие за пределы человеческих возможностей, безграничное

исступление любви в дланях Господних. Земное страдание — почти ничто, говорил я им, по сравнению с грядущими радостями: плоды Райского сада — тут у Антуаны даже слюнки потекли, — счастье бесконечного служения в Царствии Божиим.

Многообещающее начало. Я уже заметил, как сестра Томасина принялась нервно ухмыляться; рядом — лицо Маргериты конвульсивно задергалось. Отлично.

— Но сегодня не просто нам время возрадоваться. Сегодня мы начинаем свою битву. Сегодня мы в последний раз бросаем вызов Дьяволу, который принялся досаждать нам и досаждаёт до сих пор.

А-а-а-х-х-х! Вырванные из своих сладких мечтаний, сестры вздрогнули, затоптались на месте, как встревоженные кобылы.

— Я не сомневаюсь, что нынче мы победим силы тьмы. Но если случится худшее, мы еще раз сможем испытать силу нашей веры, укрепить свою душу. У истинно верующих, у кого хватит смелости удержать свою веру, всегда найдется благой выход.

Лицо Изабеллы искажено истовой решимостью. Взгляд то ли святой, то ли мученицы; на этот раз не стану ей мешать. Анжелика Сент-Эврё-Дезире Арно не привыкла, чтоб ей вставали на пути.

Однако снаружи уже доносится цокот копыт по дороге, и я понимаю, что враг мой близок; кстати, как раз вовремя. Выбор момента — великое орудие истинного артиста: точный выбор времени — как чуткий инструмент, который терпеливо приводит комедию или трагедию к целой серии кульминаций; неудачный выбор времени — дубина, убивающая мигом напряженное ожидание и сокрушающая и драматизм, и кульминацию. По моим подсчетам, у меня остается минут восемь-десять до пышного въезда Арно; вполне достаточно времени, чтобы состряпать встречу, которую он заслуживает.

— Мужество, дети мои, мужество! Сатана знает, что мы ждем его появления. Мы вместе взглянем ему в лицо, и мы крепко стоим теперь, объединенные нашей верой и нашим убежденностью, готовые выйти на бой. Дьявол предстает под тысячью разных личин: может быть красавцем и уродом, он может предстать мужчиной или женщиной, ребенком или диким зверем, может принимать облик влюбленного, властителя, и даже иногда облик епископа или короля. Скоро вы увидите его лицо, дети мои; уже приближается к нам Князь Тьмы. Я слышу звуки адских колес, грохочущих по дороге к нашему монастырю. Мы здесь, Сатана! Покажи нам лицо свое!

Редко публика — будь то при Дворе или в провинции, — бывала так страстно заворожена выступлением одного актера. Эти смотрели на меня

так, будто их души целиком принадлежали только мне. Пламя жаровен озарял мое лицо адским пламенем. Над нами колотил по крыше очистительный дождь; после стольких дней зноя и засухи он вызвал общий восторг. Все воздели головы к небесам, жадно уставились взглядами вверх, ноги самопроизвольно задвигались: моя *dea ex machina*^[61] была готова к выходу на сцену...



Приближался кортеж епископа. Я видела их, они уже были, наверное, на расстоянии полумили; уже слышалось фырканье лошадей и скрип колес кареты под дождем. Сопровождение было немалое, даже для епископа; по мере их приближения я разглядела две хоругви и догадалась, что епископ взял с собой еще одного представителя своего сана, а может быть и выше, чтоб вместе разделить семейный триумф. Я взглянула вниз на часовню и увидела, как Перетта, с резвостью, которая так прекрасно сказала при исполнении ею роли Нечестивой Монахини, снова нырнула в тень. Мне оставалось только верить, что она помнит все указания, полученные от меня. Глаза ее блестели, как у смысленной птички, но я понимала, что малейшее переключение внимания — на полет чаек, на мычание коров на болоте, на отражение цветных витражей на каменных плитах, — и все пойдет прахом.

Мое убежище высоко на колокольне, неподалеку от самого колокола, который свисает с железной крестовины из самой узкой части остроконечной крыши. Мое гнездилище весьма опасно, сюда можно забраться только по грубым лесам, возведенным работниками, чинившими крышу, но это единственное место, где я могу работать. Даже сейчас я ни в чем не могу быть уверена; это выступление не предварено ни единой репетицией, ни единым публичным выступлением. Здесь полутемно. Лишь скудный дневной свет облачного неба просачивался сквозь прорехи в крыше, внизу в пелене от курившихся благовоний расплывалось пламя свечей, — как россыпь светлячков в кромешной тьме. В своем облачении я сливалась с дымом; на голову наброшен капюшон, чтобы лицо не было заметно. Веревка — как надеялась я, достаточно длинная, — была трижды обкручена вокруг моей талии, конец утяжелял кусок свинца. Мое дыхание, казалось, заполнило все пространство, едва наступила тишина и Лемерль начал свое выступление.

О да, он был неподражаем. И он это понимал; хотя с моих высот

разглядеть его лицо я не могла. Но по голосу было очевидно, что он упивается собой. В стенах часовни его голос был слышен отовсюду. Они ловили каждое слово, и, поражая их, слова разлетались по всей глубине часовни. Все декорации соответствовали должным местам: жаровни, свечи, груды цветов, — суля рай или ад. Очень много зависит, поучал меня Лемерль в наши парижские дни, от мастерского выбора положения нескольких предметов простейшего реквизита: лилия в волосах или жемчужные четки в руке подчеркивали невинность даже у самой разнузданной шлюхи; нарочито выставленный напоказ кричащий эфес шпаги у пояса отобьет охоту обидчика — пусть даже в ножнах вовсе шпаги нет. Люди видят то, что хотят увидеть. Потому-то он и выигрывает в карты, потому-то сестры так и не узнали, кто прячется под личиной Нечестивой Монахини. Таков его стиль: искусство и сбивание с толку. И хоть я видела тюки, разбросанные вдоль по стенам, хоть уже чуяла запах масла, которым он поджигал солому, догадывалась о том, что под каждой скамьей разбросаны масляные тряпки, но сестры были слишком слепы сейчас в этом дыму и парах ладана, чтобы все это заметить, они видели лишь эту сцену и это представление, к лицезрению которого так старательно их готовили.

Но я... с моей выгодной позиции мне было видно все. Благодаря Джордано я знала кое-что про механизмы и запальные устройства; дальше оставалось лишь пораскинуть мозгами. Достаточно, пожалуй, одной умело запущенной — скажем, с кафедры, — искры, и все вмиг произойдет. И тогда, как сказала Антуана, *и возгорится пламя*.

Надо быть предельно осторожной, твердила я себе. Важней всего выбрать точный момент. Мне казалось, я разгадала его замысел; теперь оставалось молиться, что это именно так. Пока он полностью не продемонстрирует все свои таланты, действовать он не начнет; искушения слегка покрасоваться он не упустит никогда. Тщеславие — его слабость. Он превыше всего лицедей, и без зрителей он не может. Вот тут-то, как надеялась я, и постигнет его крах. И я ждала, закусив губу. Вот шепот пробежал по собравшимся: наконец появился долгожданный епископ.

ooo

♠

Вот он. Явился точно после моей реплики. Тут неплохо бы музыку, подумалось мне. Музыка великолепно поднимает настроение, придавая необходимый пафос и драматичность вяло текущему спектаклю. Не скажу, что нынешний протекает вяло, но я считаю, что вкрапление латыни всегда выигрышно; кроме того, это слегка потянуло бы время, предоставив возможность Арно спокойно проследовать внутрь. Итак, Псалом тридцатый. По моему знаку паства, шаркая ногами, поднялась со скамей.

«*In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum: in justicia tua libera me*»^[62].

Я заметил, как вздрогнула Маргерита при звуках латыни. Клемент замотала головой, скалясь во весь рот.

«*Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me*»^[63].

Разумеется, Клемент никогда не блистала способностями в познании латыни; возможно, теперь латынь в ее мозгу вызывала картины наших ночных свиданий, оживляемых поочередно то отваром Жюльетты, то ловким пособничеством моей тайной иглы. Так или иначе, но она принялась возбужденно раскачиваться, все сильнее и сильнее по мере произнесения псалма. Стоявшая рядом Томасина включилась в ее движения, начав неловко переминаясь с ноги на ногу.

«*Esto mihi in Deum protectorem, et in dominum refugium: ut salvum me facias*»^[64].

Беспокойство уже передалось к Виржини, которая, воздев голову, бессмысленным взглядом уставилась ввысь. При имени Господа она тихонько пискнула и сдавила пальцами грудь. Пиетэ хихикнула. С удовлетворенной улыбкой я ожидал неизбежного, между тем Арно со своей небольшой свитой был уже у главного входа в часовню.

Запах ладана был густ и мускусно любовоострастен — что, надеюсь, возмутило его привередливый нюх! — и сливался с запахом женской плоти. Уж хотя бы этому, подумалось мне, я их научил, хоть эти перемены в них вызвал: теперь их пот пропах, даже *вонял* их страхами, их желаниями. Я им кое-что в них приоткрыл; если угодно, некий тайный сад (видите, Соломон по-прежнему вдохновляет меня!), наполненный алчностью к земным радостям. Надеюсь, он сам учует этот запах, прежде всего исходящий от его племянницы, его драгоценнейшей племянницы, гордости всего семейства. Надеюсь, что он задохнется от этого запаха.

Ага. Как раз вовремя. От вони монсеньор слегка насупился, деликатные ноздри затрепетали. Поднес к лицу надушенный платок, как бы вновь обретая прежнее благожелательное выражение. По моему знаку —

который одновременно был сигналом Перетте, — хор грянул сладкоголосо, правда не слишком стройно, Псалом десятый — *In Domino confido*^[65]. И улыбка вернулась к нему, отработанная, как и моя, но куда менее достоверная. Сквозь выпевающийся псалом я различал их голоса, вернее, их общий голос, голос-утверждение, демонический глас, который я в них пробудил.

Я отступил на шаг. Благодаря теням и дыму от жаровен мое лицо было частично сокрыто. Как бы то ни было, Арно меня не узнал, он вошел в часовню в сопровождении архиепископа. Он был явно недоволен увиденным, но псалом прервать не посмел. Позлащенные глазки смущенно стрельнули на архиепископа, на физиономии которого застыла маска негодования.

Я почувствовал, как под кафедрой сестры забеспокоились, легкое, едва заметное движение рябью скользнуло по толпе, будто сухие листья под ветром. Я специально позаботился, чтобы Томасина, Виржини и Маргерита и еще кое-кто из наиболее восприимчивых сели в первых рядах; блестящими, испуганными глазами они тщательно разглядывали приезжих, пока те неторопливо двигались через толпу к алтарю.

Мне оставалось произнести лишь одно слово, и ловушка захлопнулась.
— Добро пожаловать!



Я увидела: началось. Одна подняла голову, за ней другая — на мгновение я решила, что они поняли, кто приехал. Но глаза были пусты. Еще одна голова поднялась, руки взлетели вверх в порывистом восторге, и смятение охватило всю паству, точно огонь, метнувшись от одной сестры к другой. Псалом сбился, замолк, заглушаемый выкриками, мольбами, заклинаниями, бранью. Пляшущая месса прибавила в мастерстве с того момента, как я впервые наблюдала это зрелище. Столпотворение новым пышным цветом распустилось навстречу этому гостю, вышагивая, пританцовывая, кидаясь на колени и с наглым бесстыдством вздымая подолы... Еще немного, и остановить их будет уже невозможно. Руки вились в дымном чаду. Лица взлетали вверх, тотчас окунались вниз, потонув в отчаянных криках. Одежды рвались, сбрасывались. Виржини, вечно готовая быть впереди, принялась бешено кружиться, юбки взвивались выше колен.

Епископ совершенно опешил. Представшее перед ним было настолько

невероятно и неожиданно, что он, как замороженный, все еще пытался среди криков и всеобщего хаоса углядеть картину триумфальной встречи, которую ему обещали. Стоявшая у жаровни Изабелла смотрела на него, отсветы пламени освещали ее лицо, но ни шага не сделала навстречу. Застыла, упершись сжатыми кулачками о стену кафедры, и, по мере усиления гвалта, рот у нее открывался все шире и шире.

Из тени выступил Лемерль:

— Добро пожаловать!



Подобным моментом невозможно было не насладиться. Попробуйте себе только представить: величайший отпрыск рода Арно, справа полуобнаженная монашка, слева исступленно хохочет другая, и вокруг — весь этот адский цирк, это дикое зверье рычит, визжит, мычит, как в самом низком и непристойном балагане!

На мгновение я испугался, что он не узнает меня, но он остолбенел от ярости, не от растерянности. Глаза расширились, как будто хотели меня поглотить; рот раскрылся, но оттуда не последовало ни звука. От неистовой злости его раздуло, точно лягушку из басни. Потому и голос, который наконец вырвался, удивительно напоминал кваканье:

— Это *ты*? Ты *здесь*?

Даже и сейчас он еще не все понял. Как? Неужто *это* и есть отец Коломбэн Сент-Аман, тот, с которым он состоял в переписке? Этот проходимец каким-то путем занял место представителя священного сана, а монахини, монахини... Но монахини-то как раз его и признают! Руки тянутся именно к нему, в мольбах, в молитвах. Даже Изабелла, бедная девочка, так сильно подурневшая за последнее время, — какое болезненное, тревожное личико, — даже и она глядела на этого проходимца, как на избавителя, слезы серебрились на ее маленькой прыщавой щеке, а рука уже тянулась вперед, к некоему предмету, спрятанному за кафедрой...

Он по-прежнему смотрел на меня, как бы не веря своим глазам, и это замедляло общий ход событий. Это меня не устраивало. Я сделал знак Изабелле отступить, а Перетте, которая, должно быть, все еще таилась подальше от глаз, занять свое место.

Арно уставился на меня так, будто один из нас не в своем уме:

— Ты — *здесь*? Как ты посмел? Как ты *посмел*?

— О, я смею поступать как мне вздумается. Так и вы сказали во время одной из наших встреч.

Тут я повернулся к сестрам, которые в любопытстве позабыли все свои восторги и теперь заворуженно пялились на нас.

— Не предупреждал ли я вас, что за благородным лицом может скрываться отвратный лик? Тот, кто стоит перед вами, совсем не таков, каким себя выставляет.

Толпа подалась вперед, я остановил их мановением руки. Ливрейная охрана уже была оттеснена от своих хозяев. Архиепископ оказался отрезан — впрочем, я с удовлетворением отметил, что с места, где он стоял, он мог все отлично видеть, — епископ один стоял между мной и паствой.

Не верьте никому, кто скажет, что эта игра не стоит свеч. Чем дольше оттягиваешь удовольствие, тем оно слаще. Теперь я увидел страх в его глазах, — легкий, ибо он до сих пор как будто не верил глазам своим, но страх его возрастет. Позади епископа раздался чей-то вопль, кто-то рухнул. Паства снова заволновалась, пришла в движение: скоро эта рябь снова обратится волной. Я снял с себя крест за кожаный шнурок, поднял его перед собой. Затем положил его — как бы невзначай, — на край кафедры и приготовился к финалу.



Должно быть, сейчас, подумала я, должна появиться Перетта. Я почувствовала, как голоса внизу притихли: в его речи возникла легкая заминка, которую никто, кроме меня, не заметил. Я могла бы оценить выбор момента: некоторое затишье, во время которого должна в последний и самый кульминационный момент появиться Нечестивая Монахиня. В отличие от меня, однако, он не все ставки делал на Перетту. Она была не основным звеном в его замыслах, просто неким художественным штрихом, без которого он мог бы преспокойно обойтись. Конечно, ему будет жаль, если она не появится; но, надеюсь, что это у него не вызовет особого подозрения. Он понимал, что Перетта слишком неуправляема, полагаться на нее невозможно. Я же была готова рискнуть собственной жизнью, отчаянно надеясь, что это не так. Епископ наступал, разъяренный до предела, забыв о всяческой предосторожности, обо всем вокруг. Он был высок, даже выше, чем Лемерль, и с моего насеста, когда поднимался по ступенькам к кафедре и плащ колыхался за его спиной, казался похожим на птицу, на черного журавля или черную цаплю. Дым от жаровни ел мне

глаза, капли дождя затекали за шиворот, но я должна была видеть это противостояние. Я должна была, прежде чем сдвинуться с места, убедиться, должна была четко осознавать, что иного пути, кроме избранного, у меня нет.

Их голоса гулко раздавались внизу, лишь слегка искажаясь под самыми сводами колокольни. Звонкий — Лемерля и хрипловатый от изумления и праведного гнева — епископа, отдававшего приказание своей охране, которые они сумели бы исполнить, лишь пробив себе путь сквозь толпу ошалевших монашек.

Пока еще выступать мне не время. Лемерль стоял слишком близко к жаровне, и, почувствовав себя в западне, он мог поджечь запал и запустить в ход чудовищный поток пламени. Не опаздываю ли я? Неужто мне придется беспомощно наблюдать, как Лемерль осуществляет свое мщение?

В этот момент, как бы в ответ на мои моления, епископ поднялся на кафедру и одновременно, как по велению чуда, Лемерль отступил от жаровни. Теперь пора, подумала я, пора — и, быстро пробормотав заклинание, чтоб не дрогнула нога, и шепотом проговорив молитву святому Франциску, Повелителю Птиц, я схватила обеими руками за веревку и швырнула ее вперед прямо в дымную пелену.



— Отец мой, я тронут! — я понизил регистр, чтобы мой голос не слишком разносился по часовне. — После нашего последнего свидания я бы вряд ли надеялся на столь теплую встречу.

За моей спиной за происходящим с побелевшими губами следила Изабелла. Перетта меня подвела — жаль, хотя особой трагедии нет, — но вот сейчас настал момент истинного испытания. Сможет ли Изабелла доиграть свою роль до конца? Удалось ли мне ее сломать, или она взбунтуется против меня? Должен отметить, неизвестность меня несколько возбуждает. Кроме того, полагаю, мой путь к бегству прикрывает Антуана. На этот счет я могу позволить себе несколько расслабиться.

— Я вижу, вы горите нетерпением! — Не слишком оригинально, но вполне соответствует сценарию. — Я покончу с вами раз и навсегда!

Ах, как неразумно он повел себя в моей игре; его эмоции выдавали его с головой, это вам любой картежник скажет; с жадной прибить меня в посеребренных глазах он, как позлащенный бык, наступал на меня. Сначала я был убежден, он вот-вот меня ударит. Правда, я моложе и

проворней его, да и не рискнет он своим положением ради неловкого удара. Даже сейчас, по-моему, он продолжал считать, что это всего лишь шутка неслыханной наглости. Ему слишком мешало присутствие Изабеллы и в данный момент уж совсем нежелательное присутствие архиепископа, чтобы осознать мои глубинные мотивы.

— Этот человек — не священнослужитель! — произнес он дрожащим от гнева голосом, обращаясь к сестрам. — Он самозванец! Шут, заштатный актеришка!

Полегче, отец мой! Я докажу тебе, что я значительно опередил свой век.

— Возможно ли такое? — спросил я с улыбкой. — Разве не более очевидно, что именно это гнусное существо в митре и есть истинный самозванец?

Общий хор подтвердил мне свое согласие, хотя несколько несогласных в массе все же нашлось.

— Поистине в этих стенах кто-то из нас обманщик, — продолжал я. — И кто может сказать, кто он? Неправедный священник или неправедный епископ? Да *все ли* тут праведны? Сможет ли кто со всей честностью назвать себя праведным? Скажите, отец мой, — спросил я епископа уже вполголоса, — праведны ли вы? Более ли достойны вы носить это облачение, чем лицедей, или развратник, или человекообразная обезьяна?

И тут он кинулся ко мне, этого я ждал и со смехом увернулся. Но это была его уловка; вместо того чтобы наброситься на меня, он подхватил серебряный крест, который я забыл на краю кафедры, и с победным криком потряс им.

Но триумф его был скоротечен. Внезапно с криком боли он выронил крест и поднес к глазам руку, где уже начали вздуться белой пеной пузыри. Элементарный ход: оставленный вблизи жаровни металл быстро нагрелся так, что к нему невозможно было притронуться. Но здравый смысл давно покинул моих впечатлительных сестер, и с первого ряда взметнулся крик, в считанные секунды докатившись до задних рядов:

— Крест! Он не смеет дотронуться до Святого Креста!

— Что за нелепость! — епископ старался перекрычать общий гвалт.

— Этот человек — самозванец!

И толпа подалась вперед, выползая из-за скамей. Стража была слишком далеко, помощи ждать не приходилось, и монсеньор приготовился было вскинуть кулаки, но вовремя одумался и, сжав зубы, опустил руки.

— Весьма благоразумно, — сказал я ему, расплываясь в улыбке. — Стоит вам тронуть меня хотя бы пальцем, начнется столпотворение.



С первой же попытки веревка зацепилась. Я услышала глухой стук, едва свинцовое грузило закинуло веревку на балку лесов. Я потянула веревку — она держалась крепко. Отлично. Времени на дополнительные проверки и предосторожности не было, я как можно крепче затянула веревку на ржавом крюке у себя за спиной. Она оказалась натянута не так, как я привыкла, но на большее уже не было времени. Я скинула с плеч плащ, сбросила через низ коричневый балахон, скрывавший меня, и встала на узкую площадку в одной белой сорочке. Обмотанный вокруг головы кусок голубой материи скрывал мои слишком узнаваемые волосы. Мгновение ужаса: уже слишком поздно, слишком много времени ушло, я упаду, я упаду! — но едва сверкающий плащ Крылатой Дивы, до которого я уже столько лет не притрагивалась, покрыл мне плечи, мне вдруг сделалось радостно.

Высоко подняв голову, босыми пятками удерживаясь на канате, раскинув в стороны руки, Элэ величаво шагнула во тьму.



Я вмиг узнал ее. Не верите? Моя первая, моя лучшая ученица — мое единственное высшее достижение в жизни, — как мог я ее не узнать! Даже без привычных крыльев с блестками, в прозрачном плаще, с головой, повязанной платком. Я узнал ее грацию, ее уверенную поступь, ее стиль. Я первый увидал ее. Секундами позже ее увидели и остальные. Даже при всем моем изумлении и растущем прозрении я испытал на мгновение чувство гордости — как же, ведь это моя Элэ, все смотрят только на нее с завистью, с замиранием сердца.

Ведь мог бы предвидеть. Такая выходка в ее духе. Интересно, что разбудило в ней подозрительность к моим замыслам, — чистый инстинкт, возможно, этот проклятый ее инстинкт, побуждающий во всем мне перечить, уязвлять мое самолюбие — и даже в тот момент, когда она обречена на провал, все равно в отваге ей не откажешь.

Я смотрел на нее снизу, под углом, и не разглядел на ней предохранительной лонжи. В тусклом мерцании свечей ее фигура кажется мглистым, теплым, туманным видением, будто подсвеченным внутренним светом. Отдаленные раскаты грома со стороны моря служат ей

вступительной барабанной дробью.

Из припадочной толпы несется крик:

— Смотрите! Вон, наверху! Смотрите же!

Все повернулись, и поднялись вверх головы. Взметнулись голоса, сначала беспорядочные, потом стихающие до благоговейного шепота, едва белое видение заскользило вниз в туманном воздухе.

— Мать Мария! — взвыл какой-то голос из глубин паствы.

— Призрак Жермены!

— Нечестивая Монахиня!

Фигура под вуалью остановилась на миг в своем воздушном полете и изобразила крестное знамение.

Тишина, благоговейная тишина воцарилась снова, едва она подняла руку.



— Дети мои! — Мой голос прозвучал откуда-то издалека, слова гулко отдавались в чреве башни, я едва узнавала их. Слышно было, как стучит дождь по деревянным филенкам всего в пяти футах от моей головы, и откуда-то с моря доносилось рычание грома.

— Дети мои, узнаете ли вы меня? Я Сент-Мари-де-ля-Мер!

Голос, которым я выговаривала эти слова, был глубок и раскатист, как у трагических актеров в ту парижскую пору. Трепет, точно дыхание ветра с моря, пробежал по сестрам.

— Мои бедные, обманутые дети! Вы стали жертвой жестокого обмана!

Лемерль следил за мной. Я прикидывала, когда же наступит момент, и он поймет, что игра проиграна; и что он будет делать тогда.

— Отец Коломбэн не тот, за кого себя выдает, дети мои! Человек, который стоит перед вами, — жестокий самозванец. Он вовсе не священник. Обманщик, и его истинное имя мне известно.

Общие взоры устремлялись от мужчины к парящей в воздухе женщине, от парящей женщины к мужчине... Тишина воцарилась невыносимая. И тут Лемерль поднял глаза прямо на меня, и я увидела вызов в его взгляде.

Ну что, повоюем, Гарпия?

В немом вопросе не было злорадства, просто глаза блеснули предвкушением игры, возгоревшейся до белого каления страстью игрока.

Я кивнула едва заметно, но я знаю, он понял.



Гром по сценарию. Повезло тебе, Жюльетта. Он мог ведь причитаться и мне.

Спросил себя: она ждет, что я дам деру? Ждет, что я укроюсь в тени? Как бы не так. И все же мне до смешного радостно, что моя ученица решилась переиграть своего наставника в его собственной обманной игре. Она глядит на меня сверху вниз, моя прелестная хищная птица, и мы понимаем друг друга без слов. Вопреки самому себе, вопреки опасности, я сыграю в твою игру, настолько мне не терпится узнать, хорошо ли я тебя выучил.



Толпа — только лица, рты настежь, как будто ждут с неба манны небесной. В небесах быстро надвигалась гроза; вот дождь перешел в град, который гремит по филенкам, точно игральные кости. Хоть крыша частично заслоняет меня сверху, но она в плачевном состоянии, и я с холодком внутри понимаю, что единственной градины, попавшей прямо в меня, может быть достаточно, чтобы выбить из равновесия и опрокинуть вниз. Не на это ли он рассчитывает? Я думала, что он хотя бы опровергнет мое обвинение, но он как будто выжидает, словно вынашивает какой-то новый план...

И стоило мне это осознать, я чуть не сорвалась с каната. Конечно! Даже со своей выгодной позиции, когда все раскрылось передо мной, я, как и все остальные, была сбита с толку. Я так увлеклась созерцанием Лемерля, что едва заметила притаившуюся в его тени Изабеллу. Лишь сейчас, обозрев эту небольшую сцену, я полностью поняла его замысел. Изабелла сама и была этим запалом. Он вовсе не собирался сам запаливать костер, он хотел увидеть лицо епископа, когда его племянница пожертвует собственной жизнью, и кто знает, сколько еще других последует за нею в отчаянной попытке вступить в бой с Дьяволом. Лемерль вселил в нее эту отраву; одно его слово может привести ее в действие. Теперь до меня дошел смысл повторяющихся служб, постоянные упоминания таких святых великомучеников, как святые Агата, Перпетуя, Маргарита Александрийская, или же святых чудотворцев, таких, как Кристина Чудотворная, которая сквозь пламя невредимой вознеслась к небесам.

Мне уже представилась эта картина: в тяжелом, промасленном облачении она занимается пламенем вмиг, точно летняя пожухлая стерня. Я слышала, что подобное случается на сцене, во время балета, когда тюлевая пачка чуть касается перегретого стекла у рамп, и огонь принимается с акробатической ловкостью перескакивать с одной танцовщицы на другую, превращая каждую в факел, запаливая волосы, взмывая под самый потолок подрагивающей башней огня и дыма. Целые трупы актеров сгорали в считанные секунды, рассказывал Лемерль, который однажды сам это видел, но — Боже ты мой! — какое яркое зрелище!

Я поймала на себе ее взгляд, когда, очнувшись, я вспомнила о ней. Надо действовать крайне осторожно: недостаточно просто прервать краснобайство Лемерля или освободить сестер от дурмана пляски; недостаточно даже и поставить под сомнение личность отца Коломбэна, поддержав обвинения епископа против него. Надо убедить Изабеллу, и только ее. Вопрос только в том, насколько серьезно она успела переродиться.

— Святой Мари-де-ля-Мер не существует!

Она как будто прочла мои мысли. Окружившие ее сестры ждали сигнала, а Лемерль смотрел на свою ученицу с улыбкой игрока, у которого на руках главные козыри.

— Как я уже сказал, — произнес он невозмутимо, — среди нас есть по крайней мере один обманщик. Кто бы это мог быть? Кому веришь ты? Кто никогда не тебе лгал?

Изабелла взглянула на меня, потом снова на Лемерля.

— Я верю вам, — тихо сказала она и потянулась рукой к жаровне.



Веревка слишком слабо натянута. Я сразу это заметил. Только что она поменяла позицию и покачнулась, вцепившись большими пальцами ног в едва видимую веревку, чтоб удержать ее от раскачивания. И что теперь, моя гарпия? Через десять секунд все вспыхнет ярким пламенем. Отважная попытка, Жюльетта, но поздно, слишком поздно. Мне, если признаться, жаль тебя до боли, но это твой выбор. Должен сказать, я и не предполагал, что ты способна меня предать, хотя мудрый человек должен предвидеть любую случайность. Ты слетишь со своего насеста прямо в пламя, птица моя. Пожалуй, уж лучше такой конец, чем жизнь с подрезанными крыльями на птичьем дворе среди гусынь.

— «*Vade retro, Satanas!*»^[66] — прозвучало сверху.

Рука Изабеллы дрогнула в дюйме от горящих углей, даже этого могло быть достаточно, если б внезапно подуло ветром из боковых дверей. Чертова Антуана. Я же приказал тебе, что бы ни случилось, не покидать своего места. Как бы то ни было, девчонка дрогнула, невольно подняла глаза кверху, внимая извечному гласу всевышнего. Ах, какой подлый удар, Жюльетта! Используешь мое же оружие против меня? Но достаточно ли оно надежно? И, признав за собой первенство, продолжишь ли ты игру или свернешь ее?

— Дьяволу также ведома своя латынь, — негромко напомнил я Изабелле. И стал очень медленно отходить к боковым дверям, где стояла другая жаровня. Мудрый человек всегда меняет ставки, и если не загорается один запал, следует на всякий случай иметь запасной. Но у боковых дверей стояла Антуана, прикрывая мне мощным телом путь, и я увидел, что и она не сводит глаз с мнимой Пресвятой Девы и что на лице ее застыло странное выражение.

— Послушайте меня все вы! — снова заговорила Крылатая, и я уловил хрипотцу в ее голосе. — Отец Коломбэн вам лгал. С момента своего появления он беспрестанно лгал и смеялся над вами. Вспомните проклятие кровью! То была всего лишь краска, красная краска, которую он запустил в колодец, чтобы навести на вас страх. А Нечестивая Монахиня? Это же... — Тут она осеклась, поняв свой промах, я же, усмехнувшись, принялся декламировать ритуал изгнания нечистой силы:

— «*Precipio tibi, quicumque es, spiritus immunde...*»

— Взгляните на его плечо! — воскликнула мнимая Мария голосом Жюльетты. — Пусть покажет вам знак Пресвятой Девы на левом плече!

Время, милая, время! Если бы чуть раньше решилась произнести эти слова, ты бы нанесла мне ощутимый удар. Но время знаков и символов уже позади. На этой стадии нам требуется что-то более примитивное, так чтобы щекотало нервы.

— Назови имя свое! — с улыбкой сказал я ей. — Назови имя свое, ведь никто здесь не верит, что ты Богоматерь.

— Перед вами Ги Лемерль, он бродячий актер, он...

— Я сказал: назови свое имя! — Снова рука Изабеллы заскользила к жаровне.

— Во имя Отца!

— Он задумал все это ради мести...

— И Сына!

— Против епископа Эврё!

— И Святого...

Сейчас коснется, рука ее всего в дюйме от углей, уже задымился длинный рукав...

— Епископа, *своего родного отца!*

Удар был так неожидан, что я едва устоял на ногах. Сестры вокруг меня оцепенели. Изабелла в изумлении уставилась на меня; лицо епископа обмякло от потрясения. Ливрейная стража вновь принялась проталкиваться сквозь толпу, хватаясь за висевшие на боку мечи. Но моя Элэ не унималась:

— Признайся, Лемерль! — выкрикнула она. — Ведь это так? *Так?*

Боже, думал я, как она великолепна. Какой талант пропадает в захолустье, ей могли бы рукоплескать все театры Парижа. Я изобразил в подтверждение легкий кивок, затем повернулся к епископу, который смотрел на меня с выражением боли и ужаса.

— Ну, святой отец? — спросил я с улыбкой. — Разве это не так?



Буря бушевала уже почти над самыми нашими головами. Сквозь прорехи в крыше я видела, как она приближается, со стороны низин надвигалось адское черное цирковое столпотворение. Внезапно свечи внизу будто разом притухли от ворвавшегося внутрь из-под дверей холодного ветра. Толпа внизу шумно всколыхнулась, запульсировала, как боль в зубе. Взгляды перебегали с епископа на священника, со Святой Девы на епископа. Лодыжку у меня заломило от напряжения, от долгого стояния в одной позе. Я чуть переступила с ноги на ногу, чтобы унять напряжение.

— Ну? — почти ласково спросил Лемерль. — Так или нет?

Наступило молчание. Теперь до меня дошло, как умело воспользовался Лемерль моим вмешательством. Если епископ отвергнет обвинение Святой Девы, тогда он признает самозванство Лемерля и Изабелла подожжет запал. Если согласится, то будет публично разоблачен в присутствии архиепископа, своей свиты и всей паствы женского монастыря. Но одно обстоятельство не учел Лемерль, хотя я пока еще не знала, как именно, — да и стоит ли — им воспользоваться себе во благо. У боковых дверей, почти невидимая в дыму жаровни, стояла сестра Антуана, набычившись, словно приготовившись к бою.



Пожалуй, я должен быть тебе благодарен, моя Жюльетта. Откуда ты узнала, ума не приложу — возможно, это колдовство. Но какой дивный случай вынудить его исповедоваться! Пожалуй, мой план был более драматичен, — ты же знаешь, я обожаю огонь, — но я мог бы догадаться, что ты попытаешься защитить это жалкое стадо, тех, кого ты именуешь сестрами. Что ж, милая, поступай, как знаешь. Пусть живут себе и дальше — если ты считаешь, что это жизнь. В любом случае, справедливость восторжествовала.

— Я жду, святой отец?

Арно медленно кивает.

Раздалось общее: *А-а-ах-х-х!* Как будто рухнул с высот карточный домик.



— Это ложь! — сказала Изабелла.

— Нет, милая. Это правда.

Не сводя с епископа глаз, Лемерль внезапно распахнул свое облачение и сбросил его наземь. Из толпы сестер взвились крики. Под сброшенной сутаной Лемерль был в облачении для верховой езды: в сапогах со шпорами и кожаном жилете, выставлявшем на обозрение левое предплечье с клеймом. Это был Черный Дрозд прежних дней. Он стоял перед толпой и улыбался, как бы в завершение спектакля, и именно в этот момент яркая молния с треском расколола небо, внезапно озарив его белым сиянием. Толпа заголосила так, что я уже не в силах была это выдержать. Их вопли, как волны прибоя, цеплялись мне за ноги. На мгновение я взглянула прямо вниз, и внезапно мир накренился подо мной. Я почувствовала, что вот-вот задрожит левая икра, чуть подрагивала мышца, и если не унять дрожание, веревку из-под меня выбьет и я кувырнусь вниз.

Я поняла: именно этого ждет Лемерль, видимая небрежность сбрасывания одежд была столь же хладнокровно просчитана, как и весь его замысел. Один против шестидесяти при равных шансах — даже он мог бы не рискнуть вступить в игру, но если я сорвусь...

Я снова переступила, нервно ощущая и провисающую веревку, и все эти белые чепцы под собой, бдящие, точно чайки, в этом безбрежье глаз.



Еще секунд десять, и она сорвется. Еще десять секунд, все глаза прикованы к белой фигуре в воздухе. Чуть отклонится — летящее тело, и вот уже разбитое на мраморных плитах, — как раз достаточно мне времени, чтобы определить, куда бежать. Если не выйдет, придется прибегнуть к оружию. Каждая из этих сестер, возможно, увязалась бы за мной, но я бы предпочел в качестве заложницы Изабеллу. Шпага, лошадь, бешеная скачка в сторону материка. Я мог бы кинуть в ров трупик крошки, пусть ищет племянницу, но лучше попридержать ее рядом с собой. Уж я сумею найти в пути для нее применение, и каждодневно буду впиваться в ее плоть колючей проволокой своей мести. Не ради себя — нет, не тот случай. Но ради нее, Жюльетты, моей прелестной обманщицы.

Как мог я дойти до того, чтоб желать смерти моей Элэ! Он и за это тоже заплатит, увидите, и сполна. Паства слилась в единый хор. Единая нота — бесконечный, выпеваемый гласный звук их отчаяния — взлетает, падает вниз, снова воспаряет. Одни в смятении воют, другие царапают себе щеки. Но все взгляды теперь на ней и на мне, я смотрю на нее, она смотрит на меня. Переворот выигрышной карты — валет внизу, дама сверху — и наши роли в очередной раз могут поменяться. Даже стража застыла как вкопанная, не успев вытащить мечи из ножен, ожидая приказа, который так и не поступил.

ooo



Я понимаю тебя, Лемерль. Ты ждешь, когда я сорвусь. Чтобы выиграть время. Я чувствую, как ты хочешь, как сильно желаешь ты, чтоб я соскользнула, оступилась, чтоб веревка дугой откинулась в пустое пространство без меня, сверху донизу разрезая темноту до самого пола. Я чувствую, как ты мысленно сталкиваешь меня. Я уже вся промокла под дождем, едва вода из водостока хлынула в башню. Колокол, висящий от меня всего в трех футах, дробит свой звук на тысячи звучных капелек. Я не сорвусь — *я не сорвусь*. Но поток внизу притягивает меня, затекшие мускулы вопят о передышке. Мне кажется, что я уже долгие часы стою тут без движения.

Снова веревка дрогнула в ответ на произвольную судорогу. От неотрывных взглядов сестер темнеет в глазах. И все-таки я ни за что...

не...
должна...
упасть...



Я вижу, как все это происходит, с ясностью сна. Серией картин, каждая сопровождается блеском молнии и громом, ударяющим неподалеку — несколько раз, в быстрой последовательности. Она оступается, провисающая веревка ускользает из-под ног, она срывается — мгновение я вижу, как она широко взмахивает руками, обнимая темноту. *Удар*. Гремит гром, громче обычного, почти над самой головой. И долю секунды я почти убежден, что молнией ударило в самую башню... И в за ударом грянувшим мгновении темноты я слышу, как падает вниз веревка.

Я понимаю, что сейчас надо бежать, их внимание отвлечено. Но не могу; придется полагаться только на себя. Сестра Антуана охраняет выход. Опасное выражение на ее лице, но она явно слишком неповоротлива, чтоб послужить мне помехой. Стоило мне на нее взглянуть, как она двинулась в мою сторону. Лицо точно каменное; теперь вспоминаю, сколько силы в этих красных ручищах, про ее мясистые кулаки. И тем не менее она всего лишь женщина. Даже если повернулась теперь против меня, что сможет она сделать?

Сестры столпились кругом; верно, пьются на распластанное тело. Вот-вот начнутся крики, суматоха, и во время этой суматохи я и улизну. Сестра Виржини смотрит на меня, сжимая кулачки; рядом с ней сестра Томасина, прищурилась, глаза, как щелочки. Я снова делаю шаг вперед, и монашки взрываются кудахтаньем, словно переполошившиеся куры, даже не хватая ума попятиться. Я понимаю; мой внезапный страх — глупость. Смешно думать, что они хотят преградить мне путь; все равно что ожидать, будто домашний гусь может напасть на лису.

Но что-то повернулось не так. Их взгляды, которые должны быть прикованы к трупу на полу, наоборот, направлены на меня. Вспоминаю из детства, что даже гуси, если их раздражить, могут быть весьма воинственны. И вот теперь они пытаются встать у меня на пути, сестра Антуана вздымает кулак, от которого мне ничего не стоило бы увернуться, сцепив руки за спиной, но я к своему изумлению как подкошенный валюсь наземь еще до того, как меня поразил ее кулак. Что за чертовщина! Я поднимаюсь на колени, голова гудит от сильного удара в спину, но я

испытываю лишь что-то вроде изумления.

На полу тела нет.

Удар.

И башня пуста.



7 сентября, 1611

Бродячий театр Жана-толстяка, Карем

Есть воспоминания, которые не меркнут никогда. Даже в жаркие дни этой славной осени, в этом славном городке, что-то во мне все еще осталось там, в монастыре, во время дождя. Возможно, что-то во мне и умерло там — умерло или родилось заново, точно сказать я не могу. Во всяком случае, я, которая никогда не верила в чудеса, стала свидетельницей чего-то, меня изменившего — пусть не сильно, но навсегда. Может, в тот момент сама Сент-Мари-де-ля-Мер была с нами. Теперь спустя целый год я сижу здесь и почти верю в то, что так и было.

Я почувствовала, как веревка уходит. Свело мышцу, наверное, или совсем ослабло натяжение, или гнилая балка треснула. Помню миг отчаянного спокойствия, застывшего в блеске молнии, точно муха в янтаре. И, в последнем, отчаянном порыве потянувшись, когда в опустошенном мозгу лишь одна мысль — *если бы я была птицей* — чувствую, как пальцы тянутся, но ничего под рукою нет, ничего.

И вдруг прямо перед собой вижу: еле видная паутинка, веревка. Это прямо было чудо какое-то; падая, я чуть не упустила ее, но все же сообразила ухватиться. Правой рукой промахнулась, но инстинкты еще были живы, и я крепко уцепилась левой, на мгновение закачавшись в воздухе в каком-то дурацком неверии, — как вдруг увидала бледное личико в прорехе крыши, искаженное нетерпеливыми потугами изобразить мне губами какие-то знаки. И я поняла.

Перетта не бросила меня. Должно быть, она вскарабкалась на леса, оставленные работниками, и наблюдала за происходящим в дырки между филенками. Я подтянулась кверху — умение карабкаться по канату, как и балансирование на нем, забывается не скоро, — и выбросилась на скользкую крышу, как рыба на берег.

Некоторое время я лежала без сил, и Перетта обнимала меня, ухая от радости. Внизу под нами закипали звуки, непостижимые, как волны прилива. Мне кажется, я потеряла сознание; какое-то время я куда-то плыла, омываемая дождем, и запах моря щекотал мои ноздри. Больше я не взлечу никогда. Я это понимала; это был последний полет Крылатой Элэ.

Но вот Перетта потормошила меня легонько маленькой ручкой. Я

открыла глаза: передо мной быстро замелькали в мимическом рассказе ее руки. Лошадь; знак «скорее»; жест, каким она всегда изображала Флер. И снова. Флер, скачка, быстрее. Я села, голова у меня кружилась. Моя дикарка права. Чем бы ни закончилась драма Лемерля, оставаться здесь неразумно. Сестра Огюст также завершила программу последним своим выступлением, и я поняла, что, в конце концов, я об этом не жалею. Взяв меня за руку, Перетта молча повлекла меня к лестнице, которая по-прежнему стояла на своем месте в пятнадцати футах ниже по склону крыши. Казалась, Перетта совершенно не испытывает страха, она лазала по крыше с легкостью кошки, легонько балансируя на краю сломанного водостока, пропуская меня впереди себя. Капли дождя хлестали по лицу и барабанили по голове, гром громыхал над головами, точно камнепад в горах, примерно в ста ярдах стояло пораженное молнией и охваченное пламенем дерево, озаряя все вокруг слабым апокалиптическим сиянием. И посреди всей этой бури мы с Переттой хохотали, как безумные; мы хохотали от чистой радости перед дождем и грозой, от того, что мне удалось вырваться, и прежде всего — мы хохотали над выражением его лица, над выражением лица Лемерля, увидевшего, что ему не избежать беспримерной расправы от стаи разъяренных монашек...

Потом мне рассказывали, что сам он не сопротивлялся, лишь тупо твердил, что невиновен, и все продолжал в изумлении смотреть на то место, где меня уже не было. Как будто земля разверзлась под ним. Рассказывали, слова его утратили особое колдовство в столкновении с этим неведомым, куда более впечатляющим чудом. Конечно, им, должно быть, показалось, будто я растворилась в воздухе. Чудо, вскрикнул кто-то, чудо, и уже не было сомнений, что эта парящая в воздухе женщина была истинная Сент-Мари-де-ля-Мер, пришедшая, как в старых сказаниях, на выручку к своим дочерям.

Обнаружение загоревшегося от молнии дерева в ста ярдах от монастыря также воспламенило слухи о чудесном избавлении. Я слыхала, что теперь построили для Святой Марии Морской маленькую часовенку, что новую Марию вернули на материк и что перед монастырской часовней появилась новая русалка, настолько похожая на прежнюю, что почти не отличишь. Уже известно, что она обладает искусством целительства, и даже из Парижа приходят сюда паломники, чтобы поглазеть на то место, где она явилась глазам более шестидесяти очевидцев.

Епископ Эврё поспешил подтвердить легенду о Явлении, объявив Лемерля самозванцем и обвинив в многочисленных обманах и безнравственности. Чудесное появление лилии, эмблемы Святой Девы, на

плече обвиняемого было истолковано как явное доказательство истинности Явления Девы и одновременно его собственной связи с силами Тьмы, после чего его, подавленного и не сопротивлявшегося, взяли под стражу, чтоб судить мирским судом.

Невольно я испытала некоторое чувство печали. Я ненавидела его в прошлом, но с тех пор, мне кажется, я лучше его узнала, и если не простила, то по крайней мере стала понимать. Его, по слухам, увезли на материк, к реннскому судье для допроса. Ненадолго я наведалась в Ренн, видала то круглое здание, в котором его содержали, читала оповещение на дверях об его аресте. Там же объявлялось и о предстоящей над ним экзекуции — пожалуй, я узнала мстительную руку епископа в кое-каких деталях, и это явно превосходило по изобретательности и жестокости расправу над убийцей короля Равальяком.

Епископ и его племянница вернулись в Монтобан, родовое гнездо Арно. Судя по всему, Изабелла изъявила желание перейти к более скромному образу жизни, подальше от побережья, и вступила в некий почтенный монашеский орден, на сей раз в качестве рядовой монахини, и там, я надеюсь, она научится жить в мире и забвении.

Что же касается епископа, то с ним дело обстояло не так гладко. Хотя он заявлял, что его признание в церкви ложно, что произнес он его под влиянием страха, от последствий того случая он так и не сумел оправиться. Тайно распространялись слухи о его трусости; прежде открытые двери вежливо закрывались, дружеские связи обрывались, с амбициями пришлось распрощаться. До меня доходили сведения, что и он собирается удалиться на покой — под предлогом ухудшившегося здоровья — в тот самый монастырь, где аббатствовал его брат.

Что до меня, то в тот же день я покинула монастырь. Оставаться — означало подвергнуть себя аресту — кроме того, слишком много событий происходило там, и оно уже перестало служить мне родным домом. И я ушла, забрав с собой также и доброго коня Лемерля, вместе с деньгами и провиантом, обнаружившихся в притороченных к седлу сумках.

Я нашла Флер в условленном месте, сиротское выражение исчезло с ее лица, — да и было ли когда? — и мы припустили бегом через дамбу, всю дорогу подгоняемые приливом, и через три часа были в Порнике.

Не думаю, чтоб они старались меня отыскать. Епископ уже имел в руках виновника, а долгие выставлять напоказ позор своей Изабеллы ему явно не хотелось. Думаю, что он позволил мне затеряться, чтобы не знать всего того, что я могла бы рассказать, и к тому же нас уже отделял прилив и остров, и одиннадцать часов ожидания очередной возможности проехать по

дамбе.

Странствия с Лемерлем научили меня быть предусмотрительной. Я продала его лошадь, как давным-давно продала и мула Джордано, а на вырученные деньги купила себе фургон и мула. На наши деньги мы неплохо жили, Флер и я, останавливаясь у рынков в городках, чтоб закупить себе провиант, но в остальное время старались держаться подальше от больших дорог, опасаясь столкновения с людьми епископа. Неподалеку от Перпиньяна мы прибились к цыганам, которые, когда я поведала им свою историю, приняли нас, как родных. Мы проскитались с ними почти три месяца, пока не повстречали труппу итальянских бродячих актеров, которые согласилась взять нас обеих к себе.

С этого времени мы исколесили все провинциальные городки округи. *Commedia dell'arte* стала завоевывать популярность по мере того, как вернулась мода на итальянское, а выступая под маской, я могла теперь не опасаться, что кто-то узнает во мне Крылатую Женщину прежних времен. Мы с Флер счастливы в кругу своих друзей: Фьорелло, исполнителя Скарамуша, а также Доменико, который играет Арлекина. Флер играет на тамбурине и пляшет, а я в роли Изабеллы снова изображаю благочестие. То, что мне досталась эта роль — это имя — мне осознавать одновременно и смешно, и грустно до слез, так что зачастую я не могу отделить одно от другого. Маска скрывает мою улыбку, как и все остальное, и Бельтрам, глава нашей труппы, утверждает, что никогда в жизни не видал, чтоб Изабелла играла так проникновенно.

И все же иногда, — и много раз за последнюю зиму, — я спрашивала себя, не пора ли покончить со всем этим. Дощатый пол не так крепок, как земляной, и мысль о своем собственном участке земли постоянно преследует меня даже в нынешнее счастливое время. Флер нужно местечко спокойное, дом. Домик у деревни, очаг, утки и коза, огород... Возможно, жизнь в монастыре несколько притупила во мне вкус к странствиям, или просто я чувствую приближение зимы. Я втайне лихорадочно подсчитываю, сколько у нас денег, и обещаю себе, что еще до наступления зимы у меня будет свой домик, свой очаг... Флер бьет в тамбурины, смеется.

Больше года прошло с тех пор, как я покинула монастырь. Я по-прежнему вижу его во сне, а также подруг, которых я там оставила, и мою славную Перетту — как бы я хотела забрать ее с собой! В каком-то смысле я скучаю по монастырской жизни; мне не хватает моего садика с травами, того, как мы собирались в здании капитула, библиотеки, уроков латинского, долгих прогулок по отмелям к морю. Но здесь мы свободны. Кошмары Флер уже давно прекратились, и в этом году она заметно подросла, волосы

стали темно-бронзовые, но на концах все еще выгоревшие с тех пор, на островном солнце. И хотя порой меня печалит мысль о том, что она совсем скоро, в один прекрасный день вырастет, станет девушкой, совсем взрослой, для меня она по-прежнему милая Флер, своенравная, но доверчивая, полная открытой радости перед всем миром. На прошлой неделе посыльный, прибывший к одной трупке с севера, принес мне пакет. На нем стояло: *Жульет Систра Огюст, Танцорка*, выведено круглым почерком, мне не знакомым, и конверт был потрепан, явно пропутешествовал не один месяц, прежде чем мы случайно столкнулись с этой бродячей трупкой. На конверте не было адреса, но посланник сказал, что дала его ему монашенка из Бретани месяцев пять тому назад.

Я распечатала конверт. В нем был плотный лист бумаги, весь исписанный той же незнакомой мне рукой, и еще две газетные вырезки. Когда я разворачивала листы, что-то выпало из бумаг и покатилося на землю. Я нагнулась, чтобы поднять. То был маленький эмалевый медальон, так хорошо мне знакомый: на нем Кристина Чудотворная, творительница чудес, раскинула руки в кольце оранжевого пламени.

Я прочла письмо. Вот оно:

Дорогая Огюст!

Хоть бы письмо нашло тебя, каждый день молюсь, чтоб нашло. Я думаю а тебе и паминаю тебя в молитвах, тебя и Флор. За тваим садиком я гляжу, и Сестра Перпетуя тоже, она очинь хорошая, учит миня за ним хадить и за цвитами тоже. В том мое послушание. Типерь у нас новая Аббатиса Маргерит и при ней все ладно. Манастирь снова Мари-де-ла-мер и я очинь рада. Сестра Перпетуя учит меня грамоти. Она все терпит и не ругает что не сразу понимаю. Эта мае первое в жизни письмо, пожалста не ругай миня за ашипки. Паслала с камедиантами на празник Марди-Гра. Я люблю тебя Жульет и малышку Флор. Еще пасылаю вести пра Атца Коломбэна. Оно ведь не грех светло паминать былое. Бутте вы обе щастливы,

Твоя Перет.

Печатный текст, датирован сентябрем 1610. Ренн, Арестантская.

Непостижимая и полная ужаса колдовская история!

Августа двадцать первого дня в аббатстве Сент-Мари-де-ля-

Мер был задержан преступнейший чужодей, обвинен в злодеяниях, судим и признан виновным во всевозможных прегрешениях против Господа Бога и Святой Церкви. Под личиной святого отца обвиняемый Лемерль, он же Черный Дрозд, был изобличен в союзе с силами Тьмы, в сговоре с себе подобными в птичьем облике, в призывании сатанинских сил, в колдовстве и умерщвлении нечестивыми средствами святых сестер-монахинь, уличен в многочисленных отравлениях и подлом осквернении духа святого монастыря. Будучи допрошен, презренный, сознавшись полностью и чистосердечно во всех преступлениях, в которых был обвинен, открыто и гнусно похвалялся при этом своими проделками и отказался признать свою связь с Князем Тьмы даже под пыткой. Стража, приставленная охранять арестованного, поведала о необычных и жутких видениях в роковую ночь, когда его сообщники, принимая облик то птицы, то зверя, наведались к нему в темницу и говорили с ним всю ночь, склоняя лететь с ними прочь из каземата, однако тщетно. Пленника держали под крепким замком, сама темница была окроплена Его преосвященством епископом Эврё святой водой и заперта на три железных засова. В сентябре девятого дня на рыночной площади в присутствии епископа, судьи Рене Дюрана и всех жителей нашего города свершится правосудие. Во имя Господа Бога нашего, а также Его Величества Людовика Богоданного.

Второй печатный текст, датирован сентябрем 1610, Ренн.

История чудовищного и гнуснейшего явления

Сообщаем, что в сентябре седьмого дня в Ренне преступный и осужденный колдун Ги Черный Дрозд предпринял дерзкий и неслыханный побег из заключения в арестантском доме нашего города, войдя в сговор с духами и силами черной магии. В полночь, когда стража неусыпно охраняла преступника, к воротам приблизилась женщина в плаще и с факелом, приказавшая стражникам отойти, если не хотят предать пагубе души свои.

Когда стражники Филипп Легро и Арман Ньюйю потребовали от странной посетительницы назвать себя, под влиянием колдовских чар они вмиг лишились сил, и, несмотря на

молитвы и доблестное сопротивление, пали, точно одурманенные, на землю.

Поверженные, содрогаясь в праведном страхе, наблюдали они, как женщина посредством дьявольских ухищрений проникла в окружении всяческих бесов и им подобных в арестантскую, и хотя стража не вовсе лишилась чувств, силе непостижимой сатанинской магии воспрепятствовать никак не могла.

Вскоре после та женщина покинула арестантскую в сопровождении фигуры, завернутой в плащ, которою оказался Ги Лемерль, сбросивший затем с себя покровы со смехом и радостными восклицаниями. Тогда ведьма вместе с ним оседлала вилы, что валялись у стога с сеном, и оба взмыли на них ввысь, покрывая несчастных на земле насмешливыми криками; те же видали, как всяческие духи и им подобные в облике птиц, летучих мышей и сов сопровождали нечестивых в том полете. Монсеньор епископ Эврё объявил, что всякий, кто увидит того человека или его пособников, должен немедленно сообщить о том, а также о каждом подозрительном в округе, и чтобы ту ведьму привлекли к господнему и церковному судилищу. Каждому, кто сообщит, положена награда в пятьдесят луидоров.

По правде сказать, духов не припоминаю. Как и неистового полета на вилах. Несомненно, стража выдумала все это, чтобы избежать наказания. Что до моего участия, — да, Перетта, та женщина с факелом была я, — и этого объяснить я не в силах. И все же, как и тебе, мне легко и радостно, что он бежал. Возможно, это дань моей былой преданности, или жажда положить конец этому бесконечно долгому сну.

Я всегда подозревала, что алхимия Джордано когда-нибудь мне пригодится. Арестантская с ее толстыми стенами и решетчатыми окнами не вселяла в меня особой уверенности, даже при наличии пороха, но была удачно расположена, и с помощью запала, изготовленного из куска запального шнура, ведущего к начиненному взрывчаткой шарiku, я была уверена, что мой план сработает. Сначала я направилась к страже, разговорила с ними, предложила выпить эля, а попутно обшарила им карманы. Конечно можно было перерезать им горло, — прежняя Жюльетта вполне была на такое способна, — но мне хотелось по возможности этого избежать. Я уже насмотрелась в жизни всяких жестокостей, мне хватило. Как я и ожидала, стражники кинулись со всех ног бежать, едва рванул порох, и, судя по ретивости их бега, я решила, что вернутся они не раньше

чем минуты через две.

Лежавший на полу и прикрытый своим рваным плащом, Лемерль был еще полусонный, когда я вошла в камеру. Я сказала себе: лучше на него не глядеть. Просто оставлю ключи и факел, пусть сам выбирается, как может. Он потянулся, как проснувшийся кот, и я повернулась, чтоб идти, видно, испугавшись, что если не уйду, у меня снова уже не хватит смелости оставить его. Но было слишком поздно; он пробормотал что-то невнятное, вытянул руку, чтоб прикрыть лицо, и я, точно Орфей, оглянулась.

Конечно же, его пытали; я ожидала этого. Я знала, что бывает при допросах. Даже чистосердечное признание не принимается без применения пыток. Его лицо, слегка обращенное к свету, было сплошной маской из грязи и кровоподтеков. Поднятая рука — точно птичья лапа, все пальцы сломаны.

— Жюльетта? — Звук был непохож на шепот, непохож на человеческий голос. — Господи, что это — сон?

Я не могла ему ответить. Я просто смотрела на него, лежавшего на полу арестантского дома, и видела себя — в камере в Эпинале и в подвале монастыря — и вспоминала, как клялась, что вечно буду ему мстить, что он у меня еще узнает, что такое настоящие страдания. Внезапно с изумлением я поняла, что его страдания не приносят мне той радости, которой, как мне казалось, я ждала.

— Это не сон. Поспеши, если хочешь быть на свободе.

— Жюльетта? — теперь уже произнес он оживленно, несмотря на мучения, которые претерпел. — Господи, неужто колдовство и в самом деле возможно?

Молчи, приказала я себе.

— Моя Крылатая, — теперь я могла поклясться, что в голосе его звучал смех. — Я знал, что все кончится именно так. Мы всегда так много значили друг для друга.

— Нет! — сказала я. — Ты рожден для виселицы, не для костра. Такова судьба.

Он громко рассмеялся над моими словами. Пусть они подрезали ему крылья, но мой Черный Дрозд по-прежнему певчая птица. И я с изумлением осознала, как обрадовала меня эта мысль.

— Что ты медлишь? — резко сказала я. — Может, тебе здесь тепло и уютно?

Он молча воздел к свету скованные цепями руки. Я кинула ему связку ключей.

— Не могу. Пальцы...

В спешке руки меня не слушались, наверно, я причиняла ему боль, пока открывала замки. Но его глаза, не отрываясь, смотрели на меня, горящие и насмешливые, как всегда.

— Знаешь, пусть будет, как раньше, — сказал он, усмехаясь в предвкушении воображаемой победы. — У меня припрятаны кое-какие деньги. Можем начать все сначала. Элэ сможет снова взлететь. Забудь карнавал, забудь все эти встречи на рынке — твой трюк там в башне — это же *золотое дно*...

— Ты спятил! — Я в самом деле так подумала. Попытки, тюрьма, крушение замыслов, падение, унижение... До сих пор ничто не могло сломить его наглой уверенности в себе. Этого взгляда победителя. У него даже мысли не было, что ему можно отказать, что его можно отвергнуть. Я подняла фонарь, приготовясь идти.

— Ты же знаешь, тебе это будет в радость, — сказал он.

— Нет!

Я уже повернулась к двери. У нас в лучшем случае оставались считанные секунды до возвращения стражников. И, быть может, непоправимое уже произошло, и я в последний раз вижу его лицо в мягком свете фонаря, впечатанное в пламя; оно навеки запечатлится в моем сердце.

— Прощу тебя, Жюльетта!

По крайней мере он уже поднялся на ноги и шел за мной к спасению.

— Многие годы я скитался по разным дорогам, пытаюсь найти свой путь, но только сейчас я его нашел. Все те годы я стремился к цели, которая, как мне казалось, мне необходима, и она обернулась не более чем пустым капризом в погоне за дальним концом радуги; все те женщины, которых я желал, которыми играл и которых жестоко наказывал — за то, что они либо чересчур низкорослы, либо чересчур уступчивы, либо чересчур молоды, либо чересчур смазливы...

— У нас нет времени на эти разговоры, — отрезала я, стряхнув его руку с моего плеча. Но он не замолчал, и каждое произносимое им слово какой-то изощренной болью отзывалось во мне.

— Послушай, не отпирайся! Зачем же ты иначе пришла сюда за мной? Всегда была только ты, Жюльетта! Только ты. Неважно, любила ты меня или ненавидела, мы две половинки целого. Мы подходим друг другу. Дополняем друг друга.

Невероятным усилием заставляя себя не глядеть на него, я ускорила шаг.

— Упрямая! Неужели я недостаточно долго гнал за тобой? — Теперь в его голосе слышалась злость, даже некоторое отчаяние.

Я еще ускорила шаг. Фонарь уже осветил полураскрытую дверь арестантского дома. Я выбежала на холодный воздух. Я все еще слышала шаги Лемерля за спиной, спотыкающегося, чертыхающегося во тьме. Моя тень диким зверем бежала впереди меня.

— Ты дура! — теперь уже орал он, совершенно позабыв про то, что его голос услышат и другие. — Неужели ты не понимаешь? Жюльетта! Какие еще слова мне надо подобрать?

Я больше не могла этого слышать. Я не хотела это слышать. Я бежала вперед, в ночь, в ушах со свистом проносились мимо тишина, но как бы плотно ни прикрывала я уши, там, в глубине я все еще слышала его, чувствовала его призрака, отзвук его страсти.

Я бежала из Ренна стремительно, без оглядки. Только я одна знала, что убегала я от двух преследователей. Знаешь, Перетта, если и впрямь грешно радоваться, тогда мы грешницы обе, потому что жизнь без Лемерля вовсе мне не кажется жизнью. Я напишу тебе, мое солнышко, и пошлю письмо со следующим подоспевшим посланником. Ходи усердно за моими травами, только не выращивай больше ипомеи. Ромашка приносит сладкие сны, а лаванда — сладкие мысли. Я желаю тебе и того и другого, и еще всю ту любовь, которую ты заслуживаешь.

Эпилог

Все начинается и все кончается молитвой. Выглянув на мгновение из повозки на солнечный свет и увидев проплывавшие мимо меня алые фургоны, я чуть было не подумала, что это те самые бродячие актеры, которые приехали к нам в тот самый день. Всемирная труппа Лазарильо, Трагедия и Комедия, Дикие звери и Чудеса. Я говорю себе, довольно я всего этого насмотрелась. Но на их костюмах и блески, и меха, и кружева, и все это алое, и золотое, и изумрудное, и краповое, и пыльно-серое, и придыхание флейты, и звук барабанов, и маски, и ходули, и танцоры с жирной краской на щеках, и дорожная грязь — все рождает такой сладкий, такой чистый отзвук в моем сердце, что я приоткрываю шире оконце фургона и прислушиваюсь.

Флер уже там, ее голубое платье гордо развевается на ветру, босые ноги в пыли. Она визжит и хлопает в ладоши, когда пожиратель огня изрыгает пламя прямо на солнце, акробаты крутят сальто, перескакивая с одних плеч на другие, Жеронте плотоядно поглядывает на скромницу Изабеллу, Арлекин со Скарамушем сражаются на деревянных шпагах, украшенных разноцветными ленточками.

Флер увидела, что я гляжу. Помахала мне, и я заметила в ее руке что-то белое, то ли платок, то ли клочок бумаги. Вот она говорит со Скарамушем — он высокий, прихрамывает на левую ногу, волосы схвачены сзади лентой, — он что-то шепчет ей на ухо и как будто улыбается своей длинноносой маской. Флер слушает, кивает, потом бежит ко мне, белый предмет — теперь я ясно вижу, это листок бумаги — трепещет в ее руке. Она откидывает парчовую занавеску, нагретую солнцем, та слегка приминается у нее в пальцах. Теперь я вижу, что это не письмо, а программка. Я читаю:

Le Théâtre du Phénix^[67]

представляет

La Belle Harpie^[68]

Пьеса в пяти действиях

Под строчкой курсива изображена крылатая женщина, волосы буйно развеваются, она стоит на верхушке башни, в то время как толпа зевак смотрит снизу в изумлении. Над рисунком, как геральдическое

украшение, — горящая птица над лилией и выведен девиз, от которого я долго не могу отвести глаз:

И несть конца моей песне.

И тут невольно меня разбирает смех. Кто бы мог сомневаться. Этот феникс над лилией, уже никакой не черный дрозд, а птица, возрожденная из пепла... Его отвага не знает границ, его наглость не знает предела!

Флер смотрит на меня слегка в испуге.

— Ты что, плачешь, мам? — шепчет она. — Тебе грустно?

— Да нет, — говорю я, утирая глаза. — Просто солнце упало на листок, спит.

— Тот человек в маске сказал, чтоб я тебе дала, — говорит дочь неуверенным тоном. — Сказал, что будет ждать ответа.

Ответа? Я медленно придвигаюсь к окну. Приглядевшись, я вижу ту же геральдику, выведенную золотой краской на панели фургона, стоящего напротив: *Le Théâtre du Phénix*. Актеры по-прежнему увлеченно разыгрывают представление, играют краски, пламенные, пурпурные, изумрудные и багровые. Только Скарамуш неподвижен, неярк в своем черном камзоле, взгляд направлен на мое окно, выражения глаз не видно под маской.

— Он сказал, что уедет, если ты скажешь, — говорит за моей спиной Флер. Потом, так как я не отвечаю: — Почему бы тебе не позвать его к нам? Он сказал, что приехал издалека, сотни миль проехал, чтобы тебя повидать. Разве учтиво прогнать его прочь?

Пауза, долгая, как вечность. Флер смотрит на меня невинными глазами, не без любопытства.

— Да, — произношу я наконец. — Пожалуй, неучтиво.

Мое сердце вторит актерским барабанам. Дыхание учащается. Небольшая голубая фигурка бежит по траве в сторону бродячего стана. Скарамуш наклоняется к ней, слушает, что она говорит, быстро подхватывает ее на руки, вздымает вверх. Издалека доносится ее счастливый визг. Осторожно усадив ее обратно в траву, он снова поворачивается, указывает на караван, на карлика в бархатном камзоле, сидящего на ступеньках с мартышкой на коленях... Потом его взгляд вновь возвращается ко мне, невидимый за маской, но все равно невыносимо жаркий.

Я испытываю отчаянное желание побежать к нему навстречу, и одновременно такое же сильное стремление убежать подальше куда глаза

глядят. Я стою не шелохнувшись, чуть дрожа. Внутри все сжимается и кружится голова, чего я никогда не испытывала ступая по канату. Медленной, чуть небрежной походкой человек в маске направляется ко мне. На полпути по траве он снимает свой камзол, забрасывает на плечо. Солнце играет на отметине высоко на его левом плече, она серебрится на солнце. Потом он протягивает руку, на губах еле заметна улыбка, и этот жест одновременно и нежен, и насмешлив.

Из моего окна все это выглядит, как приглашение к танцу.

Выражение признательности

Огромная благодарность всем тем, кто так щедро поделился своим временем, усилиями и дружеской поддержкой, чтобы сделать эту книгу возможной. Благодарю Серафину, Принцессу-Воительницу; Дженнифер, Заокеанскую Воительницу; моего потрясающего редактора Франческу и всех своих друзей в «Трансуорлд»; Луизу Пейдж, чьи услуги превосходили ее обязанности; Стюарта Хэйгарта за другую великолепную обложку; Энн Рив, за ее организационный дар; а также мою семью и друзей, особенно Кристофера Фаулера, Шарля ле Лэна и Джульет Маккена, которые не позволяли мне свернуть с пути. Наконец, приношу благодарность своим торговым представителям, книготорговцам и книгораспространителям, которые продолжают свой невидимый тяжелый труд, чтобы обеспечить путь моим книгам на книжные полки.

notes

Примечания

«Поднебесный театр» (фр.) (здесь и далее примечания переводчика).

Крылатая (фр.).

3

Сестра ($\phi p.$).

Монастырь «Святой Марии Морской» (*фр.*). Полуостров «Черные Мустьеры» (*фр.*). Мустьерская культура — позднейшая культура раннего палеолита в Южной и Западной Европе, в Южной Азии, в Африке. Название говорит о древнейшей истории описываемых в романе земель.

«Любовь отшельника» (фр.).

Еще! (*фр.*) (равноценно крику «Бис!»)

Матушка Мария (*фр.*).

«Господи, помилуй!» (лат.)

Кишнот — головной убор, встречающийся у французских католических монахинь, как правило, на северо-востоке Франции; передняя белая крахмаленная часть вытянута вперед, напоминая клюв.

«Не целуй, не целуй!» (англ.).

Цистерцианцы, члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 году, с XII века, после реорганизации ордена Бернаром Клервоским, стали называться бернардинцами.

Здесь — общее собрание членов монашеского ордена.

Le merle — черный дрозд (фр.).

«Театр „Факел“» (*фр.*).

Балет «Большая пастораль» (*фр.*).

«Балет-травести» (*фр.*).

Комические балеты (*фр.*).

Театр «Большой карнавал» (*фр.*).

Театр «Курица в котле» (*фр.*).

Господи, помилуй... (*греч.*)

Неприятности (*фр.*).

«Радуйся, Дева!», молитва Святой Богородице.

Гобоя (*фр.*).

Помилуй! (*фр.*).

Отец мой («святой отец») (*фр.*).

«Отче наш» (лат.).

Злой дух из древнееврейского фольклора, который часто принимает человеческое обличье.

В католических монастырях монахини принимали имена католических святых, нередко это были мужские имена, в монастыре понятие пола не акцентировалось. Наша героиня, видимо, была названа в честь святого Августина.

Пятая из семи канонических служб католической церкви, приходится на 3 часа дня, то есть на девятый от утра час.

Фигурные торты (*фр.*).

Гусиная печенка (*фр.*).

Дочь моя (*фр.*).

Сестра моя (*фр.*).

«Молот ведьм» (*лат.*) (1489 г.) — книга доминиканских монахов Шпренгера и Инститориса, долгое время служившая на Западе руководством по борьбе с ведьмами.

Всенощная.

«Благословен...» (*лат.*) — начало одной из частей католической мессы: «Благословен грядущий во имя Господне...»

«Господь с вами...» (лат.); «Агнец Божий...» (лат.); «...берущий на себя грехи мира...» (лат.); «Помилуй нас!» (лат.)

«О счастливая вина...» (лат.); «...которая удостоилась такого...» (лат.); «...великого Искупителя иметь» (лат.).

Вторая из семи канонических церковных служб, обычно приходящаяся на первый час от начала дня у католиков, то есть на 7 часов утра.

Третья из семи канонических служб, обычно приходящаяся у католиков на третий час от начала дня, то есть на 9 утра.

Последняя из семи канонических дневных служб у католиков.

Четвертая из семи дневных канонических служб, приходящаяся на полдень.

Каковое причастие благословенное ты, Господь, во всех нас...
(неканонический текст) (лат.)

Сие есть воистину Тело Мое... *(лат.)*

Ибо сие есть воистину чаша Крови Моей... *(лат.)*

Кромешный ад (*лат.*).

«Святой Богоматери Марии» (фр.). Слова *la mer* (море) и *la Mère* (мать, Богоматерь) звучат почти сходно по-французски.

Церковная скамья с приступкой для преклонения колен и пюпитром для молитвенника (*фр.*).

Абеляр, Пьер (1079–1142), французский философ, богослов и поэт. Трагическая история любви Абеляра к Элоизе закончилась уходом обоих в монастырь и описана в автобиографии Абеляра «История моих бедствий».

«Балета бернардинок» (фр.).

Изыди, Сатана! (*лат.*)

Кадило (фр.).

Моя вина, моя вина, моя тягчайшая... *(лат.)*

«Предупреждаю тебя, кто бы ты ни был, нечистый дух, и всех соратников твоих, что вселились в рабу Божию...» *(лат.)*

«И через таинство воплощения, страстей, воскресения и вознесения
Господа нашего...» (лат.)

«И через ниспослание Духа Святого и пришествия того же Бога нашего...» (*лат.*)

«Скажи мне имя твое и день, и час исхода твоего, подай какой-нибудь знак...» (*лат.*)

«Чтение Святого Евангелия от Иоанна» *(лат.)*.

«Обряд изгнания нечистой силы» (лат.).

Балет-трагедия (*фр.*).

Богиня из машины (*лат.*) — перефразировка известного выражения *Deus ex machina* (Бог из машины). Особый вид развязки в античных трагедиях. Неожиданное вмешательство божества, спустившегося на сцену при помощи машины и способствующего разрешению конфликта героев.

«На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек: в справедливости
своей освободи меня» *(лат.)*.

«Приклони ко мне ухо Твое, поспеши, чтобы избавить меня» (лат.).

«Будь мне защитою во Господе, домом прибежища, чтобы спасти меня» (*лат.*).

«На Господа уповаю...» (лат.)

«Изыди, Сатана!» (лат.)

Театр «Феникс» (фр.).

«Прелестная Гарпия» (*фр.*).